

K-1423744

В. СЕДУРОВ ❁ СКВОЗЬ МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ

ВАСИЛИЙ СЕДУРОВ

СКВОЗЬ
МАГИЧЕСКИЙ
КРИСТАЛЛ



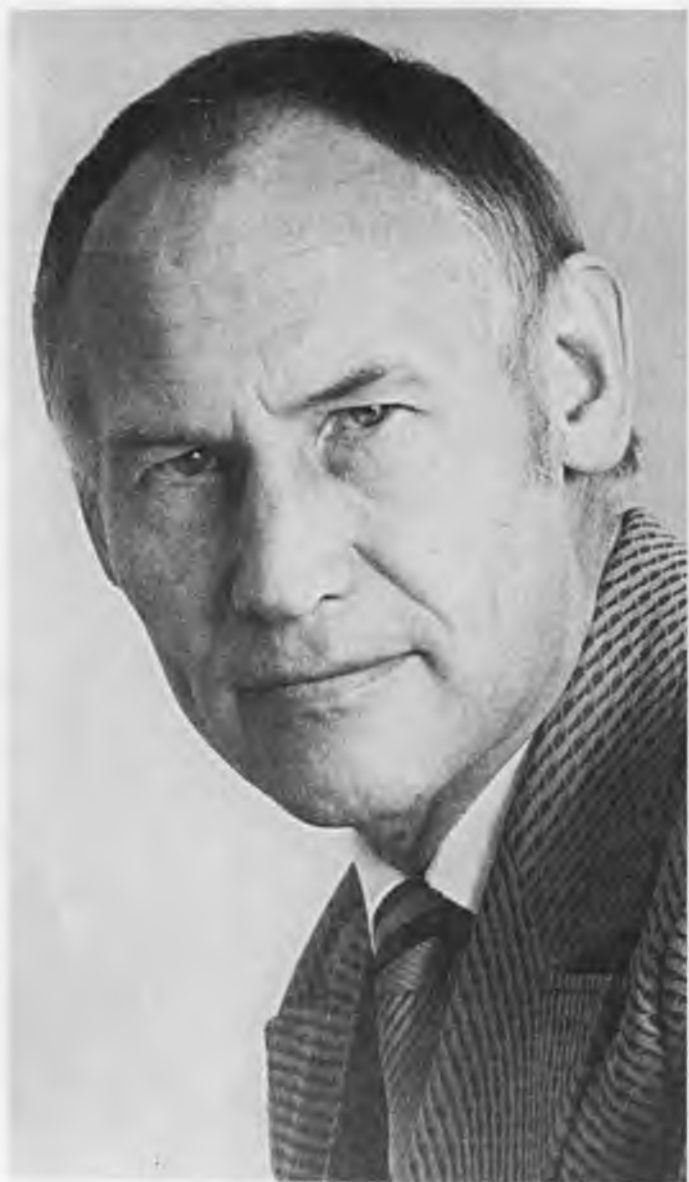
ПЕРВАЯ
ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ

В. СЕДУРОВ ❁

МЕСТНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

ВАСИЛИЙ ОБОТУРОВ

СКВОЗЬ
МАГИЧЕСКИЙ
КРИСТАЛЛ



ВАСИЛИЙ ОБОТУРОВ

СКВОЗЬ МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ

ПОЭЗИЯ
ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА
В ЕЕ ВЕРШИНАХ



И НП «ФЕСТ»
Вологда
2010

ББК 63.3
О-22

Издание осуществлено при поддержке
Губернатора Вологодской области В. Е. Позгалева
и Департамента культуры и охраны объектов
культурного наследия Вологодской области

Оботуров В. А.

Сквозь магический кристалл. Поэзия Вологодского края второй половины XX века в ее вершинах: [Фотографии/О. Кононенко, А. Кузнецова]. – Вологда: ИНП «ФЕСТ», 2010. – 248 с., вклейки с фотографиями.

В литературно-критический сборник вошло избранное из написанных критиком из Вологды Василием Оботуровым за 25 лет творческой деятельности книг, отразившее четвертьвековой период литературной поэтической жизни Вологодчины и ее лучших представителей – А. Яшина, С. Орлова, С. Викулова, А. Романова, Н. Рубцова, О. Фокиной.

СКАЗАННОЕ СЛОВО

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

АВТОБИОГРАФИЯ

Солнце брызнуло в глаза сразу, как распахнулась высокая школьная дверь, заиграло на веселых пестрых листьях высоченных тополей, и мальчишка зажмурился. Только теперь из-под белых ресниц выползла слезинка, за ней другая...

Подхватив рукой холщовую сумку, он побежал, боясь оглянуться: рядом, за тесовым забором, копала картошку мать.

– Чего поздно-то, Васютка?..

Он остановился:

– После уроков...

А вечером, мучительно сжавшись, он тшился прочесть что-то. «Ры... ро...» – и мать, недоумевающая, сердилась – было ей не до этого: всех-то четверо, старая бабушка да сама – шестая, и одной надо всех накормить, одеть.

Он был третий, старшие учились в этой же школе: оба бегло читали, поступая в первый класс. Вот, наверное, потому и Клавдия Васильевна ни разу не спросила парнишку, надеясь, что уж он-то читать давно умеет. А у него и букваря не было.

Мягкий растрепу-букварь все-таки нашли, и первые мучения скоро забылись. Уже через полгода учительница настойчиво советовала матери:

– Пусть поменьше читает...

А разве углядишь, если целый день за работой.

Тот день мне почему-то помнится с особенной отчетливостью, как и первая настоящая книжка, поразившая воображение, – «Кавказский пленник» Льва Толстого в серии «Книга за книгой». Конечно, были до нее какие-то другие книжки, но только в общении с этой родился новый читатель. Он вошел в мир, совершенно для него новый, и вдруг понял, что здесь ему все незнакомо и понятно, легко и тревожно, как на третьей большой канаве там, за деревней, где

ребята с ранней весны собирали кислицу, где в кустах, которым, кажется, и конца не было, – говорили, какие-то дезертиры скрываются...

То был трудный 1945 год.

Родился я в 1938-м, 2 июня, в пригороде Вологды, в семье рабочего-железнодорожника, крестьянского сына, в селе Говорово (с 1939 года – улица Говоровская города Вологды), – т.е. «меж городом и селом». Отца мало помню – умер он в 1943 году. Семью (четверо детей) воспитывала мать, работая на разных работах в подсобных хозяйствах пригорода, потом портняжко-надомницей, – ради свободного распоряжения временем, чтобы можно было следить за семейством. Жилось трудно и в послевоенные годы.

Страсть к чтению помогла одолевать голод.

С третьего класса вел читательский дневник.

Мать рассказывала: отец стихи пробовал писать, ей письма, – но ничего не сохранилось. Был он артист в Народном доме, уважаем. Приезжал из поездок, ночью садился за чтение и похихатывал порою, сердя мать и радуя. «Тихий Дон» в его чтении она запомнила. Старший брат – страстный книголюб. От них, наверное, и передалось, чтоб определить всю жизнь, вплоть до двоек и троек по математике и химии, несделанных уроков и ранней близорукости.

Школу окончил в Вологде и здесь же, в 1955 – 1960 годах, – историко-филологический факультет пединститута. Все эти годы книги составляли главное содержание жизни, а самым памятным событием стали поездки на уборку целинного урожая в Казахстан со студенческими бригадами.

Попытки писать – со второго курса, первый рассказ, наброски повести, первые рецензии, наброски статьи. Они копились, эти наброски, на разные книги по разным темам, чтоб никогда не стать ни статьей, ни рецензией. Застенчивость мешала сделать тот шаг навстречу опытному литератору, чтоб завершающие штрихи сделать... Даже человек такой был – В. В. Гура, в семинарах у которого я занимался в пединституте, но... видимо, всему свое время.

По распределению попал в Никольский район и направлен был не в школу, а в районную газету. Несколько позже избирался секретарем райкома комсомола, поработал и в школе – учителем и директором.

Работа в районных газетах, в школе и комсомоле дала знание жизни «в разных ракурсах», – в пределах одной деревни и целом районе, потом и области, колхозно-совхозных отношений, а позже – и производственных на современных предприятиях промышленности и строительства. Детальное знание глубинки – вот самое дорогое для моей будущей профессии, что вынес я из Никольска, а еще – близкое знакомство с А. Я. Яшиным...

Вернувшись в Вологду в 1964 году, работал в районной газете «Маяк», затем (в 1967 – 1969 годах) – редактором областной газеты «Вологодский комсомолец». В эти годы вполне определился мой интерес к литературной критике, и в 1969 году я был участником IV Всесоюзного совещания молодых писателей. К этому же времени относятся мои первые публикации в журналах.

В 1969 – 1971 годах я учился в ВПШ при ЦК КПСС и считаю, что знание общественных наук, полученное там, типов партийных работников дало много для меня как критика, помогло составить более широкий общий взгляд на действительность.

Первая попытка предложить рецензию в печать относится к весне 1961 года. «Ваша рецензия написана вполне профессионально», – ответили из «Литературной газеты», но что же сделаешь, ежели там решили, что не могут «уделить места для анализа романа Андрея Иванова «Время молодых»! Теперь-то я думаю, что юмор, с которым я принял ответ, оказался спасительным. Ведь и последующие ответы были такими же по существу, лишь отличаясь в вариациях.

Дебют состоялся во втором номере журнала «Север» в 1965 году. Только тогда почему-то впервые обратился я и в областную газету, – может быть потому, что раньше рецензия на книгу в областной газете была редкостью (и наша организация именно в эту пору начала набирать силу). С тех пор в областных газетах печатаюсь со статьями и рецензиями на темы современной литературы и театра регулярно. Постепенно укрепились и контакты с журналами. В «Севере» и «Молодой Гвардии», «Нашем современнике» и «Литературном обозрении» мои материалы публикуются систематически.

Большую роль для меня сыграли Всесоюзное совещание молодых писателей (Москва, 1969), где я записался в семинар В. К. Панкова, и семинары молодых критиков в Комарове (1971) и Переделкине (1973). Общение со старшими товарищами по профессии и сверстниками-коллегами помогло самоопределиться и, более того, перейти на самостоятельную литературную работу. Шаг этот оказался решающим, и уже 1973 год, в течение которого вышла треть моих журнальных публикаций, стал и годом выхода первой книги. Осенью этого же года закончил рукопись большой книги о современной поэзии, которую сдал в «Советский писатель». В члены Союза писателей принят в 1974 году.

С тех пор довелось мне поработать и в книжном издательстве (1974 – 1976), и ответственным секретарем Вологодской писательской организации (1980 – 1985) – ордела отнимали много времени и сил. Но главное теперь – литературная работа: на выходе уже седьмая книга (три из них изданы в Москве), опубликованы многие статьи в газетах и журналах. Кроме того, пришлось немало рецензировать рукописи для издательства «Современник», в котором являюсь членом редсовета, для своей писательской организации (всего более полутораста рецензий).

Прожито полжизни. Глобальные проблемы, которые обычно занимают литературную юность, отступили перед неизбежностью ежедневной специальной работы и тревожат уже не часто. Но тревожат, как сожаление о чем-то невозвратно утраченном... Остались просто большие проблемы, которые занимают всерьез и, думаю, надолго: «право на вечность», границы искусства в поэзии и прозе, лирика Яшина и Рубцова, движение современной прозы, образное сознание современной эпохи...

Женат, имею двоих детей, недавно стал дедом. Такова повседневность жизни литературного критика теперь и на будущее.

1977, 1988

ПРОЛОГ

Во мгле веков облюбовали музы этот обширный и малолюдный край, раскинувшийся от пределов олонецких до земли вятичей, предгорий Урала... Пусть не наше это слово – «музы» – равнозначного, кажется, нет в русском языке, в фольклоре, мифологии. Наверное, потому, что поэтичность дана была каждому живущему изначально. Не каждый, однако, ее постигал, но песни пел всякий и сказки не обходили никого.

Родная земля с негромкой прелестью природы, люди – в своеобразии бытового уклада их жизни, особенности исторического развития края, – все это стало питательной почвой поэзии. Отсюда если не сходство индивидуальных стилей, то близость проблематики, позволяющая вести речь о литературных традициях: фольклорных истоках и историзме, особенностях освоения современности средствами стиха.

Поэты-вологжане разных поколений представлены в этой книге. Очерки о них не биографические, и цели детально исследовать каждого поэта автор тоже себе не ставил. Любой из поэтов – Александр Яшин, Сергей Викулов, Александр Романов и другие – не избавлен от творческих издержек, которые могли бы стать предметом острой критики. Но гораздо важнее, думается, показать каждого в его самом интересном и своеобразном.

В каждом случае определенная, сквозная для поэта идея оказывается в центре внимания автора, что позволяет привлекать самый разный материал для сопоставления и выводов. Таким образом, очерки о поэтах-вологжанах становятся книгою об историзме в поэзии и ее демократических традициях, о роли фольклора в современной поэтике, о том, как поэзия видит и понимает современность. Короче, эта книга не только о поэтах-вологжанах, но и о традициях поэзии шестидесятых – первой половины семидесятых годов.

Для каждого человека степень родства с родной землей, со своим народом и его многовековой культурой – условие его духовной силы, а для художника – в особенности. Показать истоки творчества поэтов-вологжан, их место в современной поэзии, то есть раскрыть, какие эстетические и нравственные открытия сделали они, поэтически исследуя жизнь народа, – вот что было, в конечном счете, целью автора.

«...И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще не ясно различал» – писал еще молодой Пушкин в одном из лирических отступлений, открывающих тайну создания «Евгения Онегина». Показательно признание: «еще не ясно различал» – и это в мире стабильном и устоявшемся настолько, насколько ни до, ни после уже не бывало. А каково работать поэту в нашем за целый век расхристанном и изолгавшемся мире? И все-таки пишут «не по лжи», и магический кристалл самородного русского слова, явленного через волшебство лирики и картинность эпоса, не утратил своей самоценности.



Северо-Западное
книжное издательство
АРХАНГЕЛЬСК

1978





РОДИВШИСЬ ЗАНОВО...

ЛИРИЧЕСКАЯ ТРИЛОГИЯ
АЛЕКСАНДРА ЯШИНА



Просторно разметнувшись крутой излучиной под высоким берегом, Юг-река в конце лета мелеет, обнажая песчаные косы. Ивняки да ольшаники низко склоняются над водой, а вверх бегут, поднимаются молодые сосенки. Лес вдаль кажется бескрайним и таинственным, а здесь – светло и солнечно. И уютно пригрелся домик, желтея свежими рублеными стенами среди сосен и берез.

Впервые я побывал здесь, на Бобришном угоре, в августе 1963 года, когда хозяин избушки, Александр Яковлевич Яшин, еще и обжиться не успел. Обращенный окнами к реке, будто вглядывающийся в родимую даль, дом звал тоже осмотреться и прислушаться к вековой тишине. Яшин и его гость, Федор Александрович Абрамов, были немногословны и задумчивы – оба они переживали не лучшую пору в своей жизни. Но уютно и долго потрескивал в ночи небольшой костерок, разведенный поблизости от избы, под деревьями...

Александр Яковлевич любил это тихое местечко «в полчасе шаганья от деревни Блудново», и хоть гости, званые и незваные, частенько отрывали его от работы, он многое здесь написал, многое передумал. Еще накануне стройки. 13 июня 1962 года, А. Яшин записал в своем дневнике: «Угор этот влечет меня к себе и поныне... он – моя судьба... может быть, именно на нем суждено мне сложить и свои бранные кости». И снова, спустя пять лет, Яшин пишет о том же в стихотворении «Снег»:

Не о вечности грущу –
На земле мой век!
Все ж, когда умру, –
Прошу:

Схороните в снег.
В его светлой мерзлоте
На Бобришной высоте.

Он и в самом деле похоронить себя завещал там, на угоре.

СТАНОВЛЕНИЕ

При всем сходстве творческих путей, которое определяется временем, у каждого истинного таланта есть своя дорога и своя судьба. Мера самостоятельности и определяет в конечном счете масштаб дарования художника и значимость его произведений.

Примечательна жизнь в литературе Александра Яшина.

К двадцати годам, всего-то-навсего закончивший учительский институт (по нынешним меркам – два курса педвуза), еще не имея опытных литературных наставников, он издает первую книжку, пишет стихи, поэмы, рассказы. Ставши на путь приобщения к книжной культуре и мастерству, Яшин работает много и упорно, активно учится. Его новые стихи и поэмы становятся заметным явлением в литературе конца 30-х годов.

Войну Яшин прошел, как многие, корреспондентом и политработником, в то же время не оставляя стихов. А после войны – широкое признание, Государственная премия, книги – одна за другой.

Очень велик был риск стать таким, как многие. Но почему этого не произошло? Важно отметить, что А. Яшин нашел в себе силы понять цену внешнего успеха. И сам процесс переработки его представлений уже есть явление литературы, подлинной, высокой, драматичной. В новых условиях, которые определил двадцатый съезд, А. Яшин добился качественного перелома в себе и своей творческой работе.

Признанный мастер стиха Николай Асеев еще на пороге работы молодого Яшина в поэзии отметил его несомненную творческую одаренность. И все-таки тот мог остаться заурядным литератором, чей удел в потомстве – пылиться на полках книгохранилищ да время от времени упоминаться в работах историков литературы. Будущее художника всегда определяют время и склад его личности. Если во времени каждый отдельный человек властен относительно, то каким быть – целиком и полностью дело его ума и гражданской совести. Творческая судьба, которую в острейшей борьбе определяет сам писатель, выбирая пути и нормы жизненного и творческого поведения вполне сознательно, – такая судьба всегда особенно поучительна. Зерно драматизма, неизбежно прорастающее в этом случае, дает живительные всходы.

Такова судьба и Александра Яшина.

«Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать и опять начинать и опять бросать, и вечно бороться и лишаться»¹, – писал в одном из писем Лев Толстой накануне

¹ Толстой Л.Н. Полн. собр. соч., т 54. М., 1935, с. 74.

своего сорокалетия. И Александру Яшину, который бесконечно любил великого правдоискателя, пришлось пройти через сомнения и заблуждения, через ошибки и прозрения. Острая неуспокоенность, пробудившаяся в нем в ту пору, определила, по сути, весь последний период его жизни и творчества. Если раньше он, как представлялось, не знал неуверенности, то теперь, кажется, сомнения его не оставляют.

Не слабым слыву,
А в голос реву:
Туда ли плыву я?
Так ли живу?

К качественному перелому А. Яшин шел сам, медленно и постепенно нащупывая свою дорогу. «Томлюсь, окруженный пустыми вопросами, конечно, проклятыми, конечно, не модными, давно – бородатыми, и все – переходными», – снова пишет он в 1966 году в стихотворении, посвященном К. Г. Паустовскому. Пишет с какой-то иронией к себе, но глубоко серьезно: в его душе постоянно шла основательная внутренняя работа. Она не мешала ему, однако, быть внимательным к другим людям, и они тянулись к поэту, как на огонек.

Как создается, как воспитывается склад восприятия человека, открытого другим людям? Академик А. А. Ухтомский, физиолог, писал: «... он создается большим, чисто физическим насилием над собою, готовностью ломать себя без жалости; затем преданием от других, прежде всего от простого народа; наконец, детским отношением к миру как к близкому, интимно-любимому, уважаемому собеседнику и другу»; такой тип восприятия «удерживается лишь большим трудом, самодисциплиной, осторожным охранением совести», но и ценен – «люди льнут», так как он «оказывается необычайно чутким и отзывчивым к жизни других людей»¹.

Как-то удивительно точно эти, в известной мере общие, рассуждения отражают натуру Александра Яшина. Да, стереотип личности общественной, открытой был в нем заложен с детства, закреплен всем укладом жизни «на миру» еще в родной семье. Но, как часто бывает с деревенскими людьми, оставляющими родное без большого еще жизненного опыта, внешний успех «на городах» они оценивают как духовный рост, а их здоровая основа начинает гложуть. Годы и жизненные потрясения, которых немало выпало на долю Яшина, помогли ему понять свою ошибку. Тогда-то и произошла переоценка ценностей, и в ломке их складывался тот поэтический характер, который открывает лирическая поэзия позднего Яшина.

Думается, по-особому важной для формирования духовного облика Яшина оказалась близость с М. М. Пришвиным (в лице которого, кстати, и А. Ухтомский находит себе единомышленника, – и опыт этих двух,

¹ Ухтомский А.А. Письма, «Новый мир», 1973, № 1, с. 263

кажется, столь разных людей во многом помогает лучше понять своеобразие личности и творчества А. Яшина). Большой жизнелюбец, обладающий глубоким душевным опытом, Михаил Пришвин вошел в жизнь Александра Яшина в начале 50-х годов. Цикл коротких рассказов «Вместе с Пришвиным» написан поэтом спустя десятилетие, но он дает ясное представление об их отношениях, которые поначалу были, пожалуй, только внешними. Серьезных творческих переключек рассказы не обнаруживают, в них скорее отразилась та искренняя житейская симпатия, от зерна которой завязался прочный росточек в душе А. Яшина.

Характерен образ, завершающий эти рассказы-воспоминания: последняя тропинка в жизни Пришвина – в снегу за балконной решеткой на уровне шестого этажа – ширится дорогой «в гущу народную, к тем, кто работает на земле и в лесах, и сказки складывает, и песни поет, и на ком вся земля держится, – к людям, к людям. Бежит и разветвляется на много разных тропинок, таких же бесконечных и не похожих одна на другую».

«И кажется мне, – заключает Александр Яшин, – что по одной из этих тропинок, уже не по пришвинской, а по своей, иду я сам. И может статься, еще не поздно, я расскажу людям обо всем, что увижу и услышу на своей родной стороне...».

«Для любого поэта дороги места, где он родился и вырос, будь это дальневосточные сопки с их пышной растительностью или блеклые тундровые пейзажи в районе Архангельска и Северодвинска. Всю свою жизнь он будет воспевать их, и, что бы ни говорили, ни писали об этих местах другие, для поэта они всегда останутся самыми лучшими, самыми примечательными местами на свете. И это естественно: здесь ему посчастливилось родиться, здесь складывалась его судьба».

Так Александр Яшин говорил, выступая в Осетии в 1960 году, и мысли его выношены, проверены собственной практикой, начиная еще с военной поры. И одиночество душит, и болезни подступают, «когда я к отчему порогу две весны подряд не заглянул», пишет поэт позже в стихотворении «Ностальгия» (1948).

Тянет в край, где я родился,
К детству,
В ягодные мшистые места,
Где тайга с деревней по соседству
И угар от прелого листа.

И снова на Алтае в 1954 году:

Тянет в простор полей
С каждой весной упорней.
Все-таки на селе
Все мои корни...

Возвращение и стало не только возрождением, но и периодом мужественной зрелости, временем больших поэтических открытий, которое осознается А. Яшиным как второе рождение. Это не просто слова, не поэтическая метафора – за ними свежесть и новизна мироощущения, открывающая все, даже издавна знакомое, как бы сызнова, в ином свете, чем раньше. Уже по-новому узнавая привычное («Дом отцовский – как он был высок, а теперь смотрю – изба избою!»), поэт задумывается и о себе: «Отчий дом с годами в землю врос, или вырос я за эти годы?» Да, поэт вырос, но это рост нравственный, вызванный не высокомерием, а чуткостью к жизни народной, к народному мироощущению.

К миру, от рождения близкому, родному поэт идет уже не с чужими мерками, а с собственными. Уважая самоценный мир своей личности, ценя его как неперемное условие поэтического, вообще художественного творчества, поэт смог и подняться над неизбежной для каждого ограниченностью. В стихотворении «Только на родине» усилительные местоимения и выражают подобную ограниченность: «Да, только здесь, на севере моем, такие дали и такие зори...»; и уж, конечно, «нет нигде людей такой души и прямоты, и силы...». Поэт откровенен – это его умонастроение и душевное чувство, оно ему дорого, он верит в его истинность. Однако остановись он именно тут, мы бы говорили о провинциальной ограниченности, и только. Однако Яшин видит не только себя, но и других людей, а внимание к миру своей души помогает ему понять ближнего верно и создать глубокое по мысли и чувству стихотворение, найдя точную концовку. В ней единственное – мир одной души – сливается с общим, при этом не растворяясь, а обретая истинное значение:

Но если б вырос я в другом краю,
То все неповторимое,
Как чудо,
Переместилось, верно бы, отсюда
В тот край другой –
На родину мою.

Само по себе возвращение к родным истокам, конечно же, не гарантировало Александру Яшину нового качества творческой работы. Но поэт шел теперь к земле отцов человеком, сызнова многое передумавшим и о своей судьбе, и о жизни своих земляков. Шел, надеясь здесь обрести себе опору и стремясь быть необходимым, полезным своим землякам. Он знал уже свое предназначенье в этом мире:

Счастливым дар не на года
Дается
И не в одолженье,
Не для забав и развлечения.
А навсегда –
Со дня рожденья
Для непрестанного труда.

И происходит неповторимое, как чудо, – приобщение к отчизне, неповторимое, как чудо, – преобразование личности художника, неповторимое, как чудо, – явление поэзии истинной и совершенной, которой долго суждено волновать беспокойные души людские. А, наверное, сам писатель всей полноты своего огромного счастья испытать так никогда и не смог. Он собирал его по крохам, мучимый сомнениями, никогда не знавший успокоенности, накапливал и в стихах, и в прозе – для нас...

В последние десятилетия своей жизни Александр Яшин особенно часто жил в родных краях. Там, на берегу Юг-реки, вынашивались и писались многие его вещи.

Он вспоминал:

«Как это случилось – я сейчас и сам уже понять не могу. Вдруг представилось, что построить избу в лесу дело не трудное. Изба ведь из лесу, деревянная, а лес – вот он, строевой, сосна к сосне... Только бы колхоз согласился помочь. А как он может не согласиться: колхоз-то ведь «мой». Здесь я родился и вырос, и, кроме пользы, от меня никому ничего не было...

Представилось также, что изба эта на высоком берегу мне совершенно необходима: каждое лето я буду сидеть в ней и писать так, как никогда и нигде мне еще не писалось. Это будет рабочий домик поэта. Да что поэт – я решил, что именно здесь-то и смогу стать настоящим прозаиком. Давно уже задуман и выношен мною большой роман, – где же его писать, как не на Бобришном угоре, знакомом и родном мне с детства. Даже названия окрестных деревень здесь милы: Липово, Блудново, Сторожевая, Скочково, Осиново. А пожни какие кругом: Лебязье, Смиряжиха, Бобриха, Вязовики... Герои мои сами будут приходить ко мне на дом, в гости, это мои земляки, сверстники, бывшие однокашники – Горчаковы, Коноплевы, Цыпышевы, Мишеневы, Поповы, Поникаровы, Залесовы...»

От этой земли пришел Александр Попов – Яшин в литературу, с нею делил свои последние, не всегда отрадные думы...

Теперь писатель открыл себя настоящего и, хотя никогда не порывал с крестьянским корнем, почувствовал его с какой-то особенной значительностью. В рассказе «Угощаю рябиной» по поводу разницы в миропонимании между собой и детьми он пишет:

«Нет, дело не в возрасте. Дело в том, что я был и остаюсь деревенским, а дети мои городские, и что тот огромный город, к жизни в котором я так и не привык, для них – любимая родина. И еще дело в том, что я не просто выходец из деревни, из хвойной гухомани, – а я есть сын крестьянина, они же понятия не имеют, что значит быть сыном крестьянина. Поди втолкуй им, что жизнь моя и поныне целиком зависит от того, как складывается жизнь моей родной деревни. Трудно моим землякам – и мне трудно. Хорошо у них идут дела – и мне легко живется и пишется. Меня касается все, что делается на этой земле,

на которой я не одну тропинку босыми пятками выбил; на полях, которые еще плугом пахал; на пожнях, которые исходил с косой и где метал сено в стога».

В эти годы А. Яшин проникается глубочайшим сознанием ответственности писателя перед своей профессией, перед своим народом. Его представления отразились в дневниковых записях и стихах. 25 апреля 1958 года он писал:

«Чем больше всевозможных развлечений и забав, тем меньше сосредоточенности в себе и меньше творческой работы. У меня разболтанность появилась с приобретением «Москвича». Сейчас есть автомобиль, фото- и киноаппараты, телевизор, магнитофон, охота, собака, рыбная ловля и прочие увлечения... И нет писателя».

Работает А. Яшин в свое последнее десятилетие много, напряженно, но со срывами: недели и месяцы плодотворного труда сменяются длительными перерывами, изнурительными сомнениями. Да и просто-напросто создать обстановку, необходимую для творчества, – задача не из легких. А кто не мечтает о часах тишины и досуга, «во время которых вокруг тебя устанавливается понемногу ничем не нарушаемая своя собственная атмосфера, и в той атмосфере все жизненные явления начинают размещаться так, как они должны быть и суть для тебя...»¹. В домике на Бобришном угоре надеялся Яшин обрести душевное равновесие, без которого нет плодотворной работы.

В дневнике 21 ноября 1959 года он записывает:

«С возрастом к нам приходит потребность большей душевной сосредоточенности, когда для каждого нового стихотворения бывает необходим материал уже многих лет жизни, а не одного-двух дней. Для поэта наступает как бы заново своеобразно переходный возраст со всеми так называемыми проклятыми вопросами».

Писать в это время труднее, но радостней. Острее и глубже становятся чувства, любовь к родной земле и родному языку, острее ощущение причастности к жизни и делам своего народа и ответственности за все. Хочется быть предельно правдивым, я бы сказал – совестливее и искреннее перед самим собой и перед людьми, как на исповеди».

Как видим, поиски и сомнения Александра Яшина не оказались напрасными. Они определили его путь, образ жизни, нормы жизненного и творческого поведения.

Позже, 21 июня 1961 года, он писал в дневнике: «Раз поэзия – форма жизнедеятельности, то поэт прежде всего должен быть в своем творчестве самим собой, и это определит его форму, его творческое лицо». К этому времени А. Яшин окончательно сложился, не утратив способности к развитию, как своеобразная личность, как самобытный художник слова. Поэзия для него – не сочинение стихов, напротив – сочинительство вызывает его иронию:

¹ Толстой Л. Н. Собр. соч. в 20 т., т. 17. М., «Худож. лит.», 1965. с. 348.

К своему сорокалетию Александр Яшин был уже сложившимся, опытным поэтом, познавшим успех и славу. Его голос выделялся в нашей советской поэзии, и устойчивой была его репутация певца колхозной деревни. Он был современен, а традиция фольклора, своеобразно преломлявшаяся в стихах и поэмах, придавала им своеобразный колорит. И все-таки, думается, «Алена Фомина» – признанная вершина творчества Яшина – не вывела бы его к будущим читателям. Решающим в творческой судьбе писателя стал перелом в середине 50-х годов, в результате которого А. Яшин по-новому взглянул на явления современной действительности и на роль поэта в обществе.

«В сущности, после каждого более или менее крутого перелома жизни склад дальнейшего восприятия и опыта уже не тот, что был до сих пор»¹, – писал А. А. Ухтомский. Конечно, характер и склад личности А. Яшина не изменились коренным образом, но получили иную, четко осознанную направленность. От былого «розового» оптимизма не осталось и следа – пришло трезвое осмысление жизни, ее неоднозначности и противоречивости. Писатель предъявляет к себе максимальные требования, и это отражается в его стихах и прозе.

Лирика А. Яшина полностью избавляется от описательности – в ней остаются лишь настроения, диалектика живого чувства. На первый план выходит напряженная мысль, эмоционально пережитая, остро пульсирующая. Она не нуждается в украшениях, в орнаментальности, и это во многом определяет поэтику зрелой лирики Яшина. Новой поэтике не соответствует жанр поэмы, во всяком случае в том виде, какой имел место у раннего Яшина, – повести в стихах. Функция социального исследования переходит к прозе поэта, аналитичной и детализированной. Поэзия и проза А. Яшина, развиваясь параллельно, уточняют, дополняют и углубляют друга.

Личность художника оказывается решающим условием на новом этапе творческой работы А. Яшина. Он живо откликается на явления современности, и время, преломившись сквозь призму миропонимания художника, отражается его неповторимыми созданиями.

ПОЭТ И ВРЕМЯ В ЛИРИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ

1

Поэзия сама по себе становится для Александра Яшина предметом художественного исследования только в зрелые годы, в молодости лишь однажды. Посвящение «Илье Сельвинскому» (1939) носит явно прикладной характер, и можно говорить лишь о том, как молодой поэт понимал подготовку к большой творческой жизни. «Нет, не лишнее для певца – плечи грузчика, грудь бойца», – пишет он, зная силу и

¹ Ухтомский А.А. Письма, с. 263.

работоспособность своего старшего друга. Отметим и поэтичность натуры А. Яшина, который, рассказывая о морозных узорах на стекле, приходит к неожиданным поэтическим прозрениям:

Дивлюсь на стекло, поднявшись с рассветом,
И не дыша стою перед ним...
Не так ли читаем любимых поэтов:
Находим все,
Что найти хотим.

По-новому осмысливая пути лирического постижения мира, Александр Яшин отражает свои раздумья и в стихе. Однако заметим: в разнообразном лирическом наследии Яшина стихи о поэте и поэзии немногочисленны. Человек откровенный, он все-таки не торопится выплескивать свое сокровенное. Открытый и прямой, он тем не менее считал, что не все следует выносить на обсуждение публики и не обо всем можно сказать даже косвенно. Он звал взлеты и падения, но прямых раздумий о творческой судьбе мы у него не найдем. Там, где речь о себе, поэт предпочитает иронию, шутку. И он, конечно, прав: «искусство писателя состоит в том, чтобы написать о себе и не обнажиться»¹, – замечал М. Пришвин.

Чаще всего А. Яшин косвенно, метафорически, вторым планом передает свои мысли, нередко обращаясь к образам милой его сердцу природы. Отсюда ненавязчивость и убедительная сила лирических высказываний поэта, о чем бы он ни писал: о творческом ли своеобразии, о выборе тем или, скажем, и вовсе в «теоретическом плане» – о форме и содержании...

Потрунивая над условностью деления тем на важные и неважные, современные и устаревшие, А. Яшин пишет стихотворение «Соловей» (1966). Вот уж рядом он – всю весну, но писать о нем вроде неловко – и так тыщи лет пишут. А соловью-то что до этого? «Знай себе работает – поет». Так бы и поэту работать и поменьше мучиться над условностью каких бы то ни было ограничений – важно лишь найти свой голос. В пору, когда к стихотворству обращается множество людей, вопрос о своеобразии поэта особенно остр: нет поэта без своего голоса, неважно, силен его голос или негромок. Об этом стихотворение «Родничок» (1958), казалось бы, простенькое и в то же время вовсе не однозначное.

...родник осоки не колышет.
Затенен,
И надо замереть,
Чтоб его среди корней услышать,
Наклониться – чтобы взглянуть.

Но он живой, родничок, и способен утолить жажду, только вот «это чистое звучанье разобрать не каждому дано». Не так ли и в поэзии, в шумном разное ее голосов?..

¹ Пришвин М. Записи о творчестве. – В кн.: «Контекст, 1974». М., «Наука», 1975, с. 320.

Александр Яшин умел гибко и разнообразно пользоваться поэтическим словом и не терпел тех литературных споров, отзывающихся схоластикой, в которых богатство жизненных явлений выхолащивается. Впрочем, вот стихотворение «О форме и содержании» (1967), а говорится в нем о полевом цветке с нежным именем «василек», что любят в народе, что сам поэт знал с детской поры.

Я их собирал в овсах,
Как звезды,
Как луны синие.
Не раз любовался ими я
У девушек в волосах...
Мне памятны и венки
С их влажным благоуханьем...

Много добрых слов находит поэт по поводу простенького полевого цветка, признаваясь в том, что он «с детства любил васильки». Но... тут голос поэта утратил восторженность, зазвучал сухо и скучно: «но вот довели до сознания, что это же сорняки». И почти скороговоркой заканчивает стихотворение А. Яшин, не желая преодолеть сухости своей речи: «так разрешился вопрос в пользу содержания». А содержательность василька не исчерпывается тем, что он сорняк, – содержательна его прекрасная форма, и это всегда знал народ.

Известный советский писатель-фантаст Иван Ефремов однажды писал: «Когда мы поймем, что васильки и пшеница составляют единство, тогда мы возьмем наследие природы в добрые понимающие ладони». Как видим, тут до сознания «доводится» иная мысль, очень современная, с точки зрения экологии подкрепляющая традиционное народное представление о васильке. А торопливо решив вопрос в плоской одномерности, не стали ли мы беднее? – об этом побуждает думать А. Яшин всей логикой своего художественного размышления.

Никогда не был склонен А. Яшин раздражаться против «инакомыслящих» в поэзии – и все-таки однажды сорвался. Жестким полемическим запалом начинено стихотворение «Ваши успехи» (1964) – к спорам «новаторов» и «традиционалистов». Он позволяет себе лишь одно историческое отступление, напоминая те годы, когда

...рифмы своеобразные,
Не в меру личное слово
Воспринималось
как неприличие,
А местоимение личное –
Как посягательство на основы.

Храбрость и творческая дерзость задним числом малопочтенны, утверждает поэт, говоря об условности деления по признакам новиз-

ны стиха. Он не имеет ничего против лесенок и ассонансов (кстати, и сам умеет ими великолепно пользоваться). Поэту важно знать, что «это не суетность», он хочет видеть прочность связей «новаторов» с жизнью народа, со своим поколением.

Интерес к жизни народа, пристальное внимание ко всему, что есть в мире, для Александра Яшина – неперемнное условие поэтичности. «Рассказ о времени и о себе» – вот что такое стихи поэта, – писал А. Яшин в одной из своих статей. – Для истинного поэта и чистая поэзия существует лишь как поэзия чистой совести, честного сердца, ибо поэта невозможно представить в изоляции от общества, от общественной жизни, тем более в такое время, как наше¹.

Надо уметь ценить то, что мы имеем, зовет поэт и видит, что многие идут по жизни слепыми, ничем не огорчаются и ничему не радуются – безразличные идут. Об этом пишет Яшин в стихотворениях «Почему не удивляемся», «И так всю жизнь».

Для самого А. Яшина, как для всякого подлинного поэта, удивление – источник поэзии, ее начало. Конечно, грустно, если на твое чувство нет отзвука («И тоскливо мне одному, будто завтра конец всему»), ведь поэт – существо общественное. Но и не встретив немедленного душевного отклика, Яшин умел сохранить в себе радость ощущения новизны бытия, остроту чувств, какой дарит жизнь человека небезразличного. Умел сохранить и верил, что его поймут, и не уставал открывать во всем богатое разнообразие мира, даже в самом обыденном. И в этом обыденном неустанно и тревожно искал и себя и поэзию.

Вот, скажем, запись в дневнике 26 апреля 1958 года: «Эх, дороги! Ехали на рыбалку и не смогли проехать. Мне нужно было делать фильм, «служить искусству», но я человек действия: увлекся работой – машины вытаскивали – и забыл об искусстве, о поэзии, о своей цели. И так всю жизнь. Мне всегда казалось, что есть в жизни что-то важнее моей поэзии, есть еще какая-то другая цель, что все еще впереди». А в книге стихов «День творения» все же появилось стихотворение «И так всю жизнь», отмеченное датами: 1959-1968. В нем отразилась дневниковая запись и в деталях дорожное происшествие, и в творческом раздумье. «Гремели цепи, обрывались тросы... Тут было все: и мытарства, и труд, и смех, и грех...» Встав «со всеми вместе наравне в упряжку», поэт забыл про киноаппарат. Только позже пришло понимание, что следовало «не терять минут, снимать, снимать – такие люди рядом!» Увы, то, что рядом, не кажется достойным искусства.

И так всю жизнь,
Не устаем спешить
Куда-то вдаль,
В места большой охоты,
Чтоб где-то там
Какие-то красоты

¹ «Вологодский комсомолец», 1975, 13 июля.

Запечатлеть,
Воспеть,
Отобразить,

А под боком...
Да что тут говорить!

Впрочем, поэт не вполне прав в укоризне себе: отдав дань романтике дальних странствий, он успел многое рассказать о том, что под боком, дома, на родине делается. В неопубликованной автобиографии «О моих корнях» Яшин писал, что он знает «не только северную деревню, но писать больше хочется о тех местах, где я вырос, о своей заблудившейся в лесах деревне Блудново». Мотивы странствования, узнавания новых мест почти уходят теперь из поэзии Александра Яшина, отесняются страстью углубленного самопознания – это отразилось и в творческом поведении поэта: он подолгу живет у себя на родине. Нет, поэт не бежал сюда от жизни, напротив:

Нет, не в пустынь,
Не в пристань.
Лежебокам на зависть –
В Чистый бор, как на приступ,
Рядовым отправляюсь...

«В удивлении от сумятицы буден» поэт надеется «обрести птичье зрение, недоступное людям», верит, что здесь «душе станет ведом говор трав и лягушек...» Заметим, «первое дело», которого требует от поэта его служение, – бросить «заботы суетного света» для того, чтобы поднять внешние покровы, чтобы открыть глубину»¹, – писал А. Блок по поводу стихотворения А. С. Пушкина «Поэт».

Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
И широкошумные дубровы.

Александр Яшин, как видим, смело приобщается к этой высокой традиции. Он был готов к поэтическому подвигу: итоги подведены, выбор пути сделан. Человек с богатым общественным и боевым опытом, он всегда был активным строителем новой жизни: шел в деревни агитатором, будучи учителем; словом политработника помогал фронтовым товарищам и сам шел с ними в разведку; не только поэтически осваивал алтайскую целину, но и сел за рычаги трактора... Наконец, слово было его главным делом. И в словах для Яшина так же немислимо лукавить, как в любом деле. В дневнике 29 ноября 1963 года он пишет: «Нет правды и полуправды. Правды большой и правды маленькой. Все складывается из маленьких правд.

¹ Блок А. Собр. соч. в 8 т., т. 6. М. – Л., ГИХЛ, 1962, с. 163.

Неправда – тоже правда, раз она существует?»

Мысль Яшина пытлива и противоречива. И правда занимает его не сама по себе как абстракция: единой для всех на века правды не существует. Поэт ищет взаимопонимания с людьми, он пристально приглядывается к ним и живет в постоянном борении с собственными муками. «Через тоску, через муку, через смерть, через все препятствия сила творчества выводит одного человека навстречу другому»¹, – писал М. Пришвин. Своей тропинкой на пути к человеку-другу шел и Александр Яшин, всегда предельно искренний в самооценке и праведнически настойчивый в отстаивании своих убеждений.

Атмосфера правды жизни составляет существо творчества Александра Яшина в его последнее десятилетие, проявляясь в большом и малом. Припомним «Исповедь» (1958) – поэту стыдно стало за похвалы былыми охотничьими успехами. Но кто же не знает, что охотники прихвастнуть любят, чего тут особенно предосудительного, и стоит ли оправдываться?

Я сам себе верил при этом,
Впадая почти в забытье.
Как верят одни лишь поэты, –
И в том оправданье мое.

«Как верят одни лишь поэты...» А не о другого ли рода заблуждениях помнит поэт, не в них ли оправдывается?.. Я опять ступаю на шаткую стезю субъективных допущений, но «Алену Фомину» А. Яшин писал искренне, лишь после понял свое «забытье». А мог ли он, уважающий себя человек, прямо оправдываться в этом? Вряд ли, а вот косвенно – это в его натуре, когда речь идет о нем самом. И снова на охотничьем материале к этой же теме обращается А. Яшин в стихотворении «Медведя мы не убили...» (1965), надо полагать, припоминая историю создания рассказа «Две берлоги» и очерка «Вологодская свадьба», которые приняты были по-разному. «В журнале меня хвалили за правду, за мастерство», – пишет поэт, настойчиво подчеркивая: «Медведя мы не убили, не видели даже его», – и приходит к невеселому выводу:

Попробуй теперь скажи,
Что факты недостоверны,
Тебя ж обвинят во лжи.

А резонанс «Вологодской свадьбы» был совсем иной: правдивая и точная в любой детали и целой картине, она вызвала острое неудовольствие многих, усомнившихся в правдивости писателя. Вот и поди ж тут!.. Вопрос о пределах правды и формах ее выражения не мог не волновать Александра Яшина, – это один из корневых вопросов творческой деятельности. «Только поэт с кристальной душой может узреть поэзию в окружающих его явлениях, предметах и людях, – пишет

¹ Пришвин М. Незабудки, с. 181.

Э. Межелайтис. – Суд совести и размышления как бы очищают человека, делают его более ясным, честным, настоящим»¹. Но всегда ли доступно поэту быть прямым и честным до конца? Ведь жизненные противоречия сказываются самым неожиданным образом и сами по себе не разрешаются. Спору нет, кое-что зависит от поэта, он может активно влиять на действительность, но опять же, во всем ли и всегда ли? – а половинчатым быть не должен, иначе не сохранит себя как личность. В стихотворении из дневника «Про желтые листья» (1961 – 1964) А. Яшин вынужден ответить: нет, не во всем и далеко не всегда, и все-таки в нем глубоко, полно и бескомпромиссно выразилась гражданственность позиции поэта:

Я подбираю старательно
слово к слову:
«Речка – овечка – местечка...
дорогу – логу...»
А сенокосы
по речке Козловке
снова
Снег заметает.
Опять – ни скоту, ни богу...

Стихи, далекие от жизни трудового человека, не удовлетворяют поэта, стыдно писать такие стихи, стыдно уходить от вопросов, которые жизненно важны для односельчан: «Ладно ли?», «Что я могу землякам ответить на это?!» – горько восклицает поэт и будто поникшим голосом отвечает: «Я сочиняю стихи про желтые листья...»

Что же, уходит поэт от вопросов, молчит? А в молчании – гибель поэта, как об этом сильно и убедительно пишет Марк Максимов:

Когда немой молчит, – слышна
его мольба.

Когда труба молчит, – она
еще труба...

И лишь когда молчит поэт, –
поэта нет.

(«О молчании»)

В пору, когда волюнтаризм особенно остро и больно сказывался в жизни деревни, Александр Яшин и не мог ответить иначе: те, кто заявляли свою волю крестьянину, не дали бы и поэту быть услышану. Важно, что в стихах о желтых листьях поэт не скрыл за удобной благостностью строк суровой правды. Он не мог сказать всего, что его мучило, но и не прятал глаз от жизни, не обманывал своего читателя.

¹ Межелайтис Э. Контрапункт. М., «Известия», 1972, с. 281.

Он вполне разделяет тот пафос, который звучит, например, у Виктора Гончарова:

Я ненавижу ретушеров,
 Страшнее нету,
 Чем их работа –
 За деньги правду
 Сживать со света...
 («Я ненавижу»)

Орудя скальпелем, они плач ребенка превращают в улыбку, из негодяя делают родного, «они надеть готовы маску на всю планету». В этих стихах стремление к правде, пусть несколько прямолинейно выраженное, родственно Александру Яшину. Уже самой постановкой проблемы в «стихах из дневника» поэт давал ее позитивное решение, которое вскоре стало пробивать себе дорогу в жизнь. Поэт-гражданин в любое время остается гражданином, если он свято служит поэзии и народу.

Все, что дорого народу, что отражает его жизнь, – ценно и для поэзии. Позиция А. Яшина народна по существу – и в формах ее выражения ищет он адекватных средств. Ведь, по его словам, «образный язык писателя есть отражение строя его мышления»¹. Вот почему А. Яшин так настойчиво отстаивает своеобразие народного языка в стихотворении «Родные слова» (1962). В нем не эстетское любование словом, не стремление подобрать словечко пооригинальнее. В старых словах, к которым «приводила мать», отражается и важная грань мироощущения самого поэта, и опыт жизни народа – его бытовой уклад, психология. А как без этого наследства будущим поколениям жить? И нежелание поэта «уступать из вверенного наследства» хоть малую малость оправдано и заслуживает самого высокого уважения.

Цена духовное наследие крестьянского прошлого, Александр Яшин вместе с тем понимал, что возможностей сохранить его не так уж много, что иной век заметно обновил и речь народа, и поэт не отрекся от новизны в своей речевой практике – все средства хороши ради того, чтобы добиться взаимопонимания с людьми. Таково стихотворение «К тебе обращаюсь, душа моя!» (1964), написанное белым стихом в форме свободных размышлений. Белый стих открывает перед поэтом широкую свободу развития мысли, а поэтическая логика обеспечивает дисциплину свободно-го стиха. Поэзия повсюду, «как световые лучи и как радиоволны», утверждает поэт и, более того, уверяет, что и стихи, еще никем даже не почувствованные, существуют «как биотоки вселенной». Это определяет обязанность поэта быть приемником и пропускать «волны поэзии через свою судьбу, через свою душу». Это под силу поэту, если он не ослеплен своей славой и наградами, если он спо-

¹ «Вопросы литературы», 1967, № 6, с. 151.

собен мыслить и страдать. Боясь душевной косности, как заразы, А. Яшин берет на себя миссию, которую определил поэту двадцатый век.

Весь мир – поэзия.
И я обращаюсь к тебе, душа моя:
будь хорошим приемником,
чутким,
многодиапазонным,
всеволновым, как двадцатый век, –
приглушена одна волна,
переходи на другую,
чтобы ощутить поэзию
как биотоки людских сердец.

Сам А. Яшин так и поступал: не доходило до ушей и сердец увещание – он позволял себе издевку, невозможен прямой разговор – он высказывался шуткой. Вот в чем находит объяснение и многообразие его зрелой лирики.

Высока миссия поэта, и как быть ему при выборе нормы жизненного и творческого поведения? Сложный клубок противоречий круто свился в стихотворении «Я обречен на подвиг» (1966). Да, он обречен и «свой удел свободно не в силах изменить» – об этом А. Яшин говорит вполне серьезно и даже чуть торжественно, как заклятье: «...трудный жребий приняв как благодать, я о дешевом хлебе не вправе помышлять. Щадить себя не вправе...» Поэт серьезен, отчего споры о доблести и славе ему кажутся ничемными, – ноша высокого долга не оставляет в душе ни просвета, так что «даже погордиться собой охоты нет». Важно сознавать свой удел самому, но для каждого человека существует и поправка на окружающих. И тут, казалось бы, Яшин снижает тему долга – друзей не волнует, какие вериги надел на себя поэт: «Какое дело им, крещусь я троеперстно или крестом иным. Как рыцарь старомодный, я в их глазах смешон» – тут уже не просто безразличие, а оценка отрицательная.

«Да нужен ли мой подвиг? Ко времени ли он?» – с болезненной прямоотой поэт формулирует вопрос для себя, но концовка подтверждает, что он «свой удел свободно не в силах изменить», а самоирония становится защитной маской. Пусть и смешон, однако: «Земли не чуя сдуру, восторженно визжа, ползу на амбразуру, клинок в зубах держа».

Тему поэта, обреченного на подвиг, А. Яшин развивает в стихотворении «Рогатый Пегас» (1968).

Уже само по себе намерение древнего поэтического Пегаса заменить коровой, а поэта представить дояром – довольно забавно. Кстати, А. Макаров по поводу строчки «Корова росчерком од-

ним...» в стихотворении Е. Винокурова «Ода линии» как-то заметил: «Почему-то вызывает улыбку, может быть, потому, что самое полезное животное в поэзии не привилось»¹. У Яшина – прививается, он знает, о чем пишет. Сквозная метафора, развертываясь и конкретизируя, говорит о трудностях поэтической работы, но чуть иронически, с улыбкой. Не тая усмешки, А. Яшин последовательно ведет параллель: «То с пеной, со звоном идут слова. То приглушенно, едва, едва... А чуть запустил, нечасто дою, кричат: присушил строку и строю». И нелегко дается труд:

Косится,
Бычится
Рогатый Пегас.
У бедной сочится
Тоска из глаз.

Всю меру трудности поэтической работы и открывают последние строки: метафорическая тоска имеет вполне реальные причины, их знает поэт, мается ими – но вот говорить об этом всерьез не станет: характер не тот.

Впрочем, в стихотворении «Последняя глава» (1967) А. Яшин вполне серьезно говорил о жребии поэта, но, отвлекаясь от деталей своей частной жизни («По своей иль чужой вине так живу, как сквозь строй иду, что ни день – горю в огне»), писал, подводя уже очевидные жизненные итоги. Напряженная насыщенность жизни для поэта – это действительно его ежедневный чернорабочий подвиг и вместе с тем необходимое условие творческой активности. Нет ее – и Александр Яшин в тревоге: он власть этой тревоги испытывал постоянно, всегда.

Что-то мешает
Работать с охотой.
Все не хватает
В жизни чего-то.

Днем не сидится,
Ночью не спится...
Надо на что-то
Большое решиться!..

(«Лирическое беспокойство», 1961)

Постоянная неудовлетворенность, вечные ожидания – удел поэта. Его душевная жизнь не знает тайн, открыта читателю-другу. Без этого нет поэзии, и Яшин всегда прям, в каждой своей строке. «Откровенность – черта подлинного таланта, который беспокоится не о том, как бы повыгодней себя подать, а едино о том, чтобы

¹ Макаров А. Критик и писатель. М., «Сов. писатель», 1974, с. 65.

не поступиться в документальности мыслей и чувств»¹, – писал Василий Федоров, делясь раздумьями о поэтическом творчестве. И он безусловно прав. Только при условии полной откровенности (которая вовсе не означает неразборчивость и бесстыдство) поэт может рассчитывать на доверие, и это ясно сознавал Александр Яшин. А принятые с доверием, слова поэта «проявляют неожиданно могущество, – писал А. Блок, – они испытывают человеческие сердца и производят какой-то отбор в грудях человеческого шлака»². Такой силы искал и Александр Яшин, о чем бы ни писал – о природе или о человеке среди людей.

2

Стихи Александра Яшина о природе, так сказать, не самоценны, и поэт четко сознавал это. В одной из своих статей он писал: «Не надо забывать только, что картина природы дается через индивидуальное восприятие человека, и потому человек с его настроением и мироощущением все равно присутствует всюду, и там, где он не фигурирует ни с косою, ни с киркой». Меньше всего в пейзажах А. Яшина описательности, хотя поэт любовно рисует картины родной природы. Он не созерцатель, а деятель – человек остро мыслящий и глубоко чувствующий.

В любом из стихотворений, побудительным мотивом для создания которого послужили какие-то определенные явления из жизни природы, открывается личность поэта в ее широких и глубоких общественных связях. От явления природы – ассоциативным путем к общественной, социальной мысли, пусть не высказанной, к завершению стихотворения на том же материале природы – таков путь образного мышления А. Яшина во многих из этих стихотворений, поэтому их пейзажными назвать можно весьма условно.

Кажется, в стихотворении «Москва – Вологда» (1958) А. Яшин задался целью рисовать картину широкими, крупными мазками: «С каждым часом ощутимей север, остановки реже, гуще лес... Замелькали топкие болота с голубыми окнами озер, наконец – подъем за поворотом, и пошел густой сосновый бор, строевой, в косых лучах по поясу, золотом пронизанный насквозь...» Видите, не выдержал: бор увидел – и как заговорил о нем, с каким подъемом и радостным чувством, с каким ощущением простора: «Словно к морю вдруг пробился поезд, даже небо выше поднялось».

«Дома я!» – вот что определяет восприятие и настроение поэта. И мы это чувствуем с первых строк, потому что зрительные масштабные картины перебиваются тонкими нюансами узнавания родины...

¹ Федоров В. Уроки поэзии. – «Москва», 1973, № 1, с. 201.

² Блок А. Собр. соч. в 8 т., т. 6. М, ГИХЛ, 1962, с. 162.

Увлеченный прелестью родных пейзажей, поэт не упустит из виду и того, что свершено трудовыми руками человека. И все воедино сливается в эмоционально напряженный образ-настроение, определяющий в конечном счете всю его лирику:

Что кому,
А для меня Россия –
Эти вот родимые места.

В родных краях находит А. Яшин душевное успокоение и неизъяснимую отраду («О моей святыне», 1961). В большом городе станет он представлять, как шуршит листва и сопит медведь, как тетерева взлетают и тревожит невероятное: «Может, в родном краю давно иная жизнь: и птицы не так поют, и звери перевелись, и люди не те, и поля, и красота не та...» Ничего не избавит поэта от неизбывной любви: «...это моя земля, моя маета и мечта, мои святые места», – как заклинивание производит он. Напряженность чувств поэта находит себя в деталях, в контрасте города, где «ни нор, ни берлог, ни родничка у ног», с родимой сельщиной, в смене интонаций от взрывной, открывающей стихотворение («Больше не могу! Надо бежать...»), или брюзгливой (о городе), до затаенно счастливой в воображении и умиротворенной в концовке. И влечет поэта в родные края, и не смущает его суровая погода той поры, когда его друзья «тянут на юг, на юг, ближе к теплым лиманам – от морозов и вьюг». Далек от сарказма и осуждения А. Яшин, однако не изменяет себе: «Что же, у всех свое. Вижу, пора и мне. Только я хочу ближе к Печоре, к Двине, к родной стороне» («Пора и мне», 1964).

В общении с природой поэт переживает душевное обновление. Вот человек, «большой и сильный, как добрый бог», идет по родному краю («Босиком по земле», 1962). Спокойны картины, открывающиеся его взору, легко и просто ему в этом мире: «Птицы взвиваются из-под ног, зайцы срываются со всех ног. А я никого не трогаю...», «Я ягоды ем и траву щиплю, к ручью становлюсь на колени я...» И ничто не нарушает этого удивительного единства человека и природы.

Бреду бережком,
Не с ружьем, с батожком,
Душа и глаза – настезь.

Отсюда и чувство благодати, которое снимает в концовке впечатление наивной риторичности:

Бродить по сырой земле босиком –
Это большое счастье!

Не ложная экзальтация владеет поэтом, но ощущение себя хозяином в своем доме; в лесу ли, в поле – везде Александр Яшин чувствует себя по-свойски. Он, как крестьянин, умеет видеть, замечать приме-

ты и практически – в поведении – откликаться на предупреждения природы. «Надо воду слить из машины: ночью, верно, выпадет иней – подозрительно красен закат» («Сиверко», 1964) – вдруг отметит поэт тревожные перемены.

Не жадным потребителем благ природы живет А. Яшин, а благодарным хозяином, который и самую малость оценит. «Песня без слов» (1962) в который уж раз покажет нам поэта в лесу, и опять по-новому. «Пусть ни грибов, ни ягод в лесу», поэту все равно там по душе: «в шорохи трав и в шумы вершин вслушиваюсь не дыша», «до колдовского дна то озерцо полыхнет, то пруд» – природа живет и наделяет поэта своими скромными дарами. Там, в лесу, находит поэт отдохновение и вдохновение – большего ему и не надо: «Песню нашел, и она живет, сыщутся и слова».

Связь с миром природы предстает в стихах Александра Яшина как критерий нравственной и гражданской ценности человека. В этом убеждает, в частности, «Письмо в лесную газету» (1960), посвященное памяти Виталия Бианки, тонкого знатока природы. Справедлива наша гордость тем, что у нас в «чащах и рощах столько всяких пернатых – просто диву даешься». Но почему же так ироничен голос поэта? Потому, что мы в большинстве своем не знаем своего достояния и говорим о нем самыми общими словами: «как же фауна, дескать, как же, наше богатство, – на полях в перелесках, так сказать, птичье царство...» И Яшин развивает мысль, не щадя таких знатоков (а их много, они – это мы): «Стоит в лес углубиться – и уже как не дома: словно мы за границей– незнакомые лица, языки незнакомы». И цветы для нас – «трава» или «сено» и деревья – «роща», и не что иное.

Ну и не знаем – что за беда, подумаешь! «Только в убогом и легкомысленном жаргоне современных мещан неопределенное «это» выручает из незнания предметов: только эти люди умеют жить среди вещей без названий и спокойно смотреть на «дерево», «куст» или «злаки». Народ не терпит предметов, оторванных от действительности, поэтому произвольно он живет не среди деревьев, а среди дубов, буков, берез, а злаки должны быть или рожью, или пшеницей»¹. Настоящий поэт это всегда учитывает, и, например, Василий Федоров, говоря о стихах Дмитрия Ковалева, с уважением отмечает: «Сколько названо и описано цветов в тонких подробностях жизни и смерти!»². Так что А. Яшин не напрасно иронизирует, подумать есть о чем и в самом деле: не знаем – не любим – не бережем.

Ни за что не в ответе,
Словно малую малость
Нам на этой планете
Жить и править осталось.

¹ Парандовский Ян. Алхимия слова. М., «Прогресс», 1972, с. 133.

² Федоров В. Наше время такое... М., «Современник», 1973, с. 391.

Не хозяева вроде,
 Так добро свое губим.
 А гордимся природой
 И отечество любим.

Нет, вовсе не брюзжание за этими укоризненными строчками, а большая мысль о необходимости беречь свое родное (и, конечно, не только в природе!) – в этом истоки патриотизма. На простейшем житейском материале Александр Яшин поднимает тему высокого гражданственного звучания.

Опытный лесовик, заядлый охотник, А. Яшин был постоянен в своей привязанности к природе, но при этом связи становились с годами тоньше, живее – тут не могло не сказаться влияние Михаила Пришвина. Бывало, «шел в чапу – заранее взводил курок, на жатву брал дробовик с собой. Стрелял и коршуна и воробья, не разбираясь – друзья? враги?» – кается вроде бы поэт. «А ныне, – пишет он, – на ток хожу без ружья, катаюсь на озере без остроги». Нет нужды принимать в абсолют ни то, ни другое утверждение, – в них важна тенденция, психологический переход в новое качество, осуществленный в образной форме. Наговаривая на себя недавнего, поэт как бы помогает своему читателю следовать примеру исправившегося грешника, обещая очистительную ясность чувства.

Сам себя узнать не могу.
 Осинки в лесу зазря не срублю,
 В корнях родничок, что клад, берегу,
 На муравейник не наступлю,
 Люблю все живое,
 Живых люблю.

(«Люблю все живое», 1959)

Абстрактный вывод обретает силу интимного признания, поскольку вытекает из житейской практики, является следствием поведения: «Бывает легко на душе, когда случайно удастся жизнь сохранить птенцу, упавшему из гнезда». Радость внутреннего обновления и очищения была тем глубже, что знал поэт иные настроения, совершал иного, противоположного плана поступки.

В отношениях с природой А. Яшин не сразу нашел определенность и ясность. Был он в молодости заядлым охотником, доводилось ему совершать и опрометчивые поступки, осознанные позже. Границы поведения своеобразно отразились в стихотворениях «Зайчонок» (1956) и «Кулик» (1966), написанных, правда, уже в пору зрелости.

...Охотник, намаевшийся с утра, ничего не выходил, лишь «промок, продрог, валила с ног усталость... во все углы вползал туман – промозглый, неуютный». И тут – зайчонок, на котором охотник и сорвал «все зло от неудач, скопившееся за день». Все действие открывается как

давно миновавшее, как рассказ от третьего лица. И детали, выстроенные в ряд объективности, звучат самооправданием, а избавления от неловкости нет. Неизбывность и в эпитете «шалопутный» (зайчонок) и в укоризненной интонации, подчеркивающей нелепую бессмысленность случившегося, которая, хотя осознана до конца, но мучает и спустя годы.

Охотник помнит, хоть прошли года,
Глаза раскосые, подшерсток белый
И тот недобрый, стыдный день, когда
Его душой жестокость овладела.

Повторившись спустя многие годы, ситуация складывается уже совершенно иначе. Вот так же, «в болоте целый день ухлопав», увидел охотник кулика. Но взгляд поэта не выражает охотничьего азарта, напротив, он – сочувствующий: «Сиди, родимый, все в порядке, я просто не видал тебя». Бережность к лесным обитателям, ко всему живому, самая искренняя забота становятся нормой. Всякий раз по-иному это откроется в стихотворениях «Бабочка ожила» (1961), «Беличьи свадьбы» (1964), «Покормите птиц» (1964), «День творения» (1966) и многих других. Доброе слово или проявление заботы в них отражается как естественный импульс, без рационализма, как живое душевное движение.

Беличьи свадьбы будят несбыточные ребяческие желания – «летать бы по сосновым верхам и мне», только за грустную наивностью желаний – усталость поэта:

От земной суеты отрешиться,
От чужих отмахнуться забот,
Ни за что не болеть,
Ничего не страшиться,
Жить, как ветер в вершинах живет.

Такое желание – лишь выражение сиюминутного настроения поэта, а вовсе не цель. Ведь тут же, отмечая перемены в погоде, он вдруг затревожился: «Не погибли бы только под настом простодушные тетерева». Зима сурова ко всему живому, и Александр Яшин апеллирует к доброму в человеке. «Покормите птиц!» – с откровенной дидактикой зывает он и увещевает: «сколько гибнет их – не счесть», «разве можно забывать...» Он доказывает, как нетрудно быть добрым: «горсть зерна нужна, горсть одна – и не страшна будет им зима». Он учит человека предусмотрительности, и его неназойливый призыв звучит с мягкой настойчивой интонацией: «Приучите птиц в мороз к своему окну, чтоб без песен не пришлось нам встречать весну».

А вот с затаенным дыханием поэт наблюдает, как оживает бабочка, как, «мягкий слышав звук, прячется в тьму угла серый, как тень, паук» и как, «подмавав к окну, бьется она в стекло». Ожила бабочка

или только что родилась, но биение жизни радует поэта и определяет интонацию стихотворения: «Перестаю дышать, глаз не оторву, только б не помешать воскресшему существу!» С еще большей последовательностью подобное настроение сказывается в «Дне творенья». Нежно, проникновенно, не скрывая восторга и не боясь показаться сентиментальным, А. Яшин рассказывает о том, как помог родиться цыпленку, опоздавшему вылупиться из яйца, забытому курицей и обреченному на неизбежную гибель.

...я отошел в сторонку,
 Счастливый до умиления,
 До слез,
 До вдохновения,
 Как бог в первый день творения.
 Я жизнь сохранил цыпленку,
 Пусть хоть одну,
 Хоть цыпленку,
 Но – жизнь!..

В противоречиях, борении с самим собой достигнутое единство с природой волнующе, радостно, потому, скажем, весенний перелет птиц для поэта – «Добрый праздник» (1959). Округа, ожившая от птичьего пения, преобразилась в восторженных глазах поэта: «Сразу столько влюбленных, столько свиста и звона, что лесок обнаженный стал казаться зеленым». Гипербола даже таковою не кажется от приподнятости настроения, а Яшин идет дальше, уверяя, что лес «подался к селенью». Поэт хочет видеть и видит единство в радости природы, людей и себя среди них. Он углубляет олицетворение, когда в птичьем наряде замечает и вышивки, и белые фартучки, и красные галстуки, когда в оркестрах и хорах по холмам и увалам выделяет своих запевал и дирижеров. И, преисполненный незамутненной радости, поэт всем равно шлет свои пожелания: «Будьте счастливы, птицы! С добрым праздником, люди!»

Прозрачно ясные лирические стихи отражают, пусть в этом случае и опосредованно, глубокую внутреннюю мысль, убеждение поэта, его философию природы, реализованную в стихотворении «Не верю, что звери не говорят...» (1959). О, конечно же, поэт знает, что многие, очень многие примут скептически его утверждение! Ведь так привычно «делить всех в мире живущих на высших и низших». Но и относительность не сбросишь со счета, «порой и владыки разумом нищи». Вот поэтому поэт предупреждает: «Боюсь, чтоб кичливость не помешала нам постигать иные миры», – предупреждает и зовет быть внимательными к миру природы, в котором «так многогранно желание жить».

Поэту, близко познавшему жизнь природы, «только добрей и проще и человечней хочется быть», он с доверчивостью внимает всему живому. Отсюда сила его убеждения:

Не верю, что звери не говорят,
Что думать не могут певчие птицы,
Что только инстинкты у хитрой лисицы
И пчелы не знают, чего творят.

Философия природы А. Яшина в чем-то существенном перекликается с представлениями Николая Заболоцкого, который писал: «Я поэт, живу в мире очаровательных тайн. Они окружают меня всюду. Растения во всем их многообразии – эта трава, эти цветы, эти деревья – могущественное царство первобытной жизни, основа всего живущего, мои братья, питающие меня и плотью своей, и воздухом, – живут рядом со мной. Разве я могу отказаться от родства с ними? Изменчивость растительного пейзажа, сочетание листвы и ветвей, три солнца на плодах земли – все это так же близко мне, как улыбка на лице друга, связанного со мной узами кровного родства»¹. Свое родство с природой сознает и А. Яшин, но говорить о нем ему приходится теперь острее, не гнушаться публицистики и дидактики: ведь «могущественное царство» природы явно поутратило свои силы перед человечеством...

Всякий раз своеобразно пишет Александр Яшин о явлениях природы и ее обитателях, но во всем чувствуется отсвет его личности, поражает впечатление первоначальной свежести восприятия, казалось бы, уже недоступной зрелому человеку. За строчками его стихов не просто любование миром, а нечто большее – дума о людях. Природа в его стихах предстает очеловеченной, но это не только остатки стихийных анимистических представлений крестьянина. Древние представления ожили и заговорили в душе поэта, обогащенные рациональным опытом образованности. Это отражается в двуплановости образного решения стихов А. Яшина. Ведь, по словам А. А. Потебни, «всякий знак – многозначен; это есть свойство поэтических произведений»².

Казалось бы, сколько уже писали о березке, и Яшин не однажды писал – «Про березку» (1965), «Смерть березки» (1965) – и всякий раз свежо и непосредственно. Рассказывает Яшин о березке, но видится не только деревце, но еще и образ маленькой девочки и угадывается доброе отеческое чувство поэта:

Я ее видал и не парадной;
Не царевой гордой на кругу,
А нескладной,
Даже неприглядной,
Утонувшей по уши в снегу.

Не кудрявой,
И не золотистой,
Не расхожей – оторви да брось,

¹ Заболоцкий Н. Избр. произв. в 2 т., т. 2. М., «Худож. лит.», 1972, с. 347.

² Потебня А. А. Из лекций по теории словесности. Харьков, 1914, с. 139.

А совсем беспомощной,
 Без листьев,
 Голенькой
 И вымокшей насквозь...

Два-три слова («царевной», «расхожей», «беспомощной») проявляют подтекст, и то мягко, естественно, не нарушая цельности внешнего образа, а второй план тем не менее реально существует в стихотворении. И проникновенное сопереживание поэта берет за живое, и нельзя не верить его человеческой доброте. В другом стихотворении интонация того же сочувствия к березке, что не могла пробиться к солнцу сквозь гущу хвои, звучит жестче, поскольку уступила березка в жизненной борьбе, «отдалась соседям на милость». А утрата связей с землей – мысль ведет к обобщению – оказывается условием гибели. Стихотворение обретает философский характер: отдельное в природе осознается в связях с целым. И в том, как «равнодушно сомкнулась хвоя, не почуяв чужой беды», – прозрачная мысль о зависимости одного от множества и укоризна поэта. Второй план создается уже иначе, нежели в первом случае.

Удивительна одушевленность образа птицы в стихотворении «Тетерев» (1959), причем против реальности Александр Яшин абсолютно ни в чем не погрешил. «Тороват, неотразим, лукав, словно первый парень на селе» – так и о человеке писать можно. А далее в поведении птицы уже и настроение схвачено: «Он бродил среди цветов и трав, от своих удач навеселе». Упивается своей неотразимостью тетерев:

Оглядел окрестный березняк
 И к тетерке на сучок подсел –
 Расфранченный,
 Дураком дурак...

Тут уже поэт с грубоватой откровенностью и сожалением говорит, как, допустим, сказал бы о знакомом или даже близком ему молодом человеке, и поясняет промах тетерева: «Сел он против моего ствола, а тетерка чучелом была». И кому из молодых людей даже и с «тетерками» не случалось опростоволоситься! Впрочем, я позволяю себе совершенно вольное прочтение стихотворения А. Яшина. Он пишет зарисовку с натуры с точностью натуралиста-естествоиспытателя. Но таково восприятие поэта, что в птице нельзя не почувствовать живые стремления, характер и разумную мысль, – пусть тетерев и «дураком дурак», но не бессмысленны же все его действия!

Свое единство с природой неизменно чувствует А. Яшин, но приходит к ней не первобытным дикарем, а человеком с развитым социальным опытом, и сам вполне понимает это, и умеет использовать в творческих целях. «Можно сознательно искать в природе явления, соответствующие явлениям в душе человека, – писал М. Пришвин, – и это будет путь не только заправки искусства, но и знания (здорового знания, потому что в природе содержится только чистое и

здоровое)»¹. Общественный опыт А. Яшина во многом определяет его восприятие природы и отражается в стихах как второй план, как подтекст, который во внешнем рисунке порою и не проглядывает во все. Тем своеобразнее такие его вещи, как, например, «Всполошились над лесом вороны...» (1958) и «В тайге» (1963 – 1964).

...В лесу человек, и это нарушает привычную жизнь чащи: вороны, как водится, первыми подняли шум, «лис, на что осторожный, тоже выглянул из-за пня», «мокрогубый телок, похожий на лосенка, появился», «белка цокнула над головой»... Но скоро мир, порядок и гармония восстановлены, – лесные обитатели легко и просто уживаются с пришельцами, если за ними не идет беда...

Ну разлегся, и что же такого?
 Может, здесь и жизнь для него.

Впрямь – живу!
 О вчерашнем, зряшном
 Позабыл в родной стороне.
 Значит, я не такой уж страшный,
 Если звери идут ко мне.

А вороны?..
 Да ну их к богу!
 Я ж в своем, не в чужом бору.
 Пусть кричат, поднимают тревогу –
 Я от карканья не умру.

Так бы это и осталось картинкой вторжения человека в лесной мирок, если б напоминание «о вчерашнем, зряшном» не поднимало иной пласт жизненного опыта поэта. А концовка, сохраняя вполне прямое значение, обретает теперь второй, не менее важный для Яшина смысл.

Подобный прием использует поэт и в другом случае, рассказывая о нашествии мошкар: «Не съедят до поры, так с ума сведут. Это ж самосуд!» И гнев и невыносимость положения человека, атакованного со всех сторон, психологически выверены: «Лучше в пекле, в аду, бедовать буду, чем такой надо мной на земле вой!» Кстати, первое название этого стихотворения, созданного в пору безудержной критики «Вологодской свадьбы», более точное – «Гнус», но и прямолинейное, потому, надо полагать, поэт и отказался от него. Гордый и не склонный к нытью, А. Яшин никогда бы не позволил себе жалобы ни в стихах, ни в разговорах. Однако настроения той поры могли косвенно отразиться в стихах, иначе с чего бы ему, лесовику и охотнику, на гнуса пенять...

Разумеется, вовсе ни к чему в каждом стихотворении А. Яшина искать подтекст, второй план. У него вполне доставало непосредственности, чтобы просто видеть и радоваться увиденному. Интересно

¹ Пришвин М. Незабудки, с. 317.

заметить, что чаще рисует поэт картины зимы и весны, лето и осень – крайне редко. Влюбленными глазами видит А. Яшин родные картины и стремится каждого заразить своим настроением. А подтекст... «Только из текста рождается подтекст, – очень точно заключает Лев Озеров. – Забота о подтексте есть прежде всего забота о тексте, о глубине и многоплановости поэтического образа, выраженного в слове»¹. И если образ природы дает А. Яшину возможность «второго прочтения», если настроение и жизненные обстоятельства не позволяют ему отвязаться от какой-то наболевшей мысли, тогда подтекст естественно и просто рождается в его стихах.

Очарование зимнего пейзажа поэт хочет внушить читателю-другу в стихотворении «Лесные дуги» (1962). Он знает своего городского читателя, к нему обращается и поясняет маленькую тайну природы. Дуги над дорогой, которых «много, как над Москвой-рекой мостов», – это деревца, уступившие натиску метелей и снегопадов: «от напряжения белы», тонкие стволы сгибались. Впечатление тяжелой борьбы исчезает в притихшем после метели лесу, когда он «неистово красив». Деревья присмирели до поры до времени, но не сдались.

...Всюду дуги, дуги, дуги –
Снегами стянуты концы:
Чуть тронь –
И вскинется упруго,
И запоят колокольцы.

Тайна открыта, но лесная сказка не утратила своего обаяния. И хотя поэт знает – и мы с ним вместе, – что «не медведи дуги гнули, не леший, не лесовики», он идет «под эти чудо-своды почти испуганный, немой». В нас приобщение к прекрасному уже оставило свой след, а поэт словно продолжает свой путь по лесу – «После снегопада» (1962): идет, радуясь неизъяснимой прелести открывающихся картин, помогая деревьям освободиться от снежной тяжести. «Лес поднимает вершины – вскидывает головы и разгибает спины», и красота заснеженной тайги от вмешательства человека не меркнет, а сверкает по-новому свежо. Зимой лесная книга открыта для А. Яшина. Вот он читает следы на снегу, и складывается богатое по деталям и озорное по восприятию жизни стихотворение («Следы на снегу», 1966). Все оно как развернутая метафора: каждый обитатель оставляет в лесу свой искусный след – тут вам «вышивка гладью и крестом», а чьи-то следы «прошвой вшиты в белую гладь», тут лисьи цепочки, птичий бисер и «заячье плетенье, смех и грех: след с оформлением – к ореху орех». Для поэта нет тайн «на снежно-белом на тканом холсте», и все-таки он не устает удивляться и радоваться.

Не всегда радостные ассоциации приходят к поэту в зимнем лесу. Вот «Лес поседел от инея...» (1965), поседел, «закостенев от холода», но

¹ Озеров Л. Мастерство и волшебство. М., «Сов. писатель», 1972, с. 390.

ждет, что «ранней весной молодость снова к нему придет». В прямой параллели поэт переключается на свои переживания: «мне ничего похожего не принесет весна» – отсюда взволнованность интонации, трюга.

Все неозвратно:
Сильный ли,
Слабый ли человек,
Раз лишь прихватит инеем –
И седина навек.

Умеет А. Яшин видеть красоту природы зимней, но – противу весны – нет в ней открытости, откровенности. Зимой все деревья одинаковы, «по цвету, по звону схожи» – и мертвое не выделяется среди живых: «Наверное, только птицам зимой различать дано, в каком из них жизнь таится, какое гниет давно» («Мертвые деревья», 1964). Лишь в апреле станет ясно, что есть что: «живые оденутся в зелень, а мертвым тепло не впрок» – чем и хороша пора обновления всех начал, весна. А иногда зима представляется Яшиным как образ застоя («Глухая зима», 1966). Тягостна зимняя ночь, «долгая, как на полюсе», безжизненны селения – «почти нежилые, мертвые дома на краю земли», и представляется даже, что «до утренней зорьки не ближе, чем до весны». И ничем не нарушим этот удручивший застой: «Во всем городке ни звонницы и хоть бы один петух».

Образ весеннего обновления после зимнего застоя многомерен в лирике Александра Яшина. Тем-то и радостны для Яшина «Весенние ожидания» (1967) – в них надежда на перемены.

С терпением.
Со смирением,
Устав от душевных смут,
Друзья мои
Потепления,
Как манны небесной, ждут.
Вдруг что-то взывает, вспенится,
Как свет по земле пройдет...

Да, знает А. Яшин, перемены будут, но на этот раз радость не пришла, поэт поддался скептицизму: «А, собственно, что изменится, весна же не первый год?!» Тут А. Яшин словно бы оказался в позиции тех своих друзей, что от весны готовы ждать «откровений» да «изюминок» («Весна, куда ни кинешь взгляд...», 1958). Но поэт остался самим собою – он перевел стихотворение в другой план, в социальный, здесь-то он и не находит удовлетворенности: перемены приходят не так уж скоро и не так ощутимы, как хотелось бы.

Понимая сложность и несовпадение отношений людей к природе, поэт улавливает разницу и в стихах. Знакомые картины: «Что ни поток, то водопад, любая лужа будто озеро. Хоть на день каждый руче-

ек сравняться с речкою пытается»... Вроде бы и радует А. Яшина все это, но взгляд его остранен, он настойчиво повторяет: «как много раз подряд», «что нового? Да ничего! Все ежегодно повторяется...» Словно бы не его голос – и верно, поэт вспоминает скептиков: «Чем вас порадовать, друзья?» Вот на кого поправка, вот откуда полемичность. А поэт все-таки остается при своем, не рассчитывая на «откровения» да «изюминки»:

Все извечное...
 Но я готов с утра до вечера
 Сидеть у шумного ручья,
 Хоть и смотреть как будто нечего.

Заинтересованному взгляду природа сама в своих тайнах открывается. Прозрачной солнечной ясностью «Голоса весны» (1964) А. Яшина напомнят тютчевское «Весны гонцы», однако личное начало, как и обычно у Яшина, выражено острее. Ему обязательно нужен кто-то, чтобы разделить радость, – поэту и счастье одному ни к чему. «Я словно чуда жду в глуши: быть может, кто-то отзовется на музыку моей души», – надеется он.

Весну, пору надежд, А. Яшин любит с какою-то неодолимой силой. «Хочу весну!» (1959) – взывает он, и как он знает ее, во всех многообразных проявлениях!.. «Весна начинается с влажных вьюг, с прибавки неслыханной молока, с тоскливого ржания рысаков, с надрывного крика вороньих стай...» Чужая весна, «глухарь, заикаясь, точит тайгу», и даже луна «в отраженье речных глубин, как рыба, мечет икру в синеве»... Брожение в природе, и у человека «весна поднимает пену в крови» – он откликается на вечный зов:

Восхищенно руки тяну
 Туда, где цветенье,
 Туда, где свет,
 К весне моей, к счастью.
 Хочу весну! –

почти языческая радость человека, живущего с природой не в разладе, но вместе с тем и жажда свежести, обновления, особенно острая в человеке нашего столетия.

Лирика, связанная с природой, у Александра Яшина – явление сложное, неоднозначное. Поэт сохранил от крестьянского детства естественность и непосредственность восприятия природы, умение жить и ладить с ней. Природа для него мастерская, но и храм – тоже. Возвышенность чувств, связанных с природой, могла родиться только на удалении, на расстоянии. А вернувшись к земле и природе с опытом, обогащенным социальным знанием и книжной культурой, поэт владеет и более тонким, развитым, многомерным восприятием. Это восприятие художника со способностью совокупно выражать практическое, эмоциональное и рациональное.

Так и рождается пейзажная, условно говоря, лирика А. Яшина, сочетающая в единстве живую непосредственность картин природы с обобщающей мыслью – нравственной, философской, общественной. Сочетание совсем не случайное, ведь «чувство природы, которым обладают в большей или малой степени почти все художники слова, – замечал М. Пришвин, – легко может развиться в чувство народа»¹.

Образ природы в лирике Яшина гибок, подвижен, легко удерживает текст и подтекст, улавливая любые оттенки поэтической мысли. Но главное для поэта – мысль о текучести времени, которая неизбежно рождается уже в смене времен года и которую умеет выразить поэт в самых разных формах. Центральным в лирике природы А. Яшина закономерно оказывается образ обновления.

3

Загадка времени неизменно волнует Александра Яшина, но не как абстрактная проблема, нет. Время для поэта наполнено совершенно реальным, конкретным содержанием, в нем жизнь близких и собственная жизнь, изменения в окружающей действительности. Что происходит, как и почему? – создавая поэтический образ, А. Яшин ищет закономерности развития, изменения. Он сопоставляет, сравнивает и людей в их поступках, и явления в их повторяемости и новизне. В одних случаях поэт решает тему на простейшем житейском материале, в других – вглядывается в меняющийся облик родины. Иногда высказывает мысль об общественном развитии в динамических образах явлений природы, а то вдруг обратится к фактам истории. И во всем занимает А. Яшина деятельный человек, своими руками переделывающий мир, его тревоги и заботы. Чего он, беспокойный, добивается на своей трудной планете, в своей родной стране? – поэт вглядывается в лицо человека, в лицо времени.

Необратимость времени и на людях оставляет свой тяжелый след. Поэт «смущен и поражен», встретив женщину, в которую когда-то был влюблен: «Усталая, она не шла – брела. А уж какую сильною была!» Ему «стало жаль ее», но и она «голову склоня, участливо взглянула» – след годов и на нем неизгладим («Я встретил женщину...», 1958). И снова, спустя годы, звучит та же тема («Сказать или промолчать?..», 1966) – изменения родного лица оказываются поразительными: «Лишь пять коротких лет, – каких? – коротких пять, а целой жизни нет...» Вот почему время в его движении рождает тревогу, обостренную в новогодье, тревогу, которую хочется скрыть за грустной шуткой: «...А я на гулянке прямо места себе не найду. Уж не выпить ли валерьянки? Что-то ждет меня в новом году?» («Вот и все», 1958).

Поэт не питает напрасных иллюзий – «ни часа жизни не вернуть на-

¹ Пришвин М. Великое счастье творчества, из дневников. – «Лит. газ.», 1973, 31 янв.

зад, листок оторван – день навеки прожит» («В день рождения», 1955). Необратимость времени не радует, но и не удручает поэта – «лишь годы проходили бы даром!» Но в зрелом возрасте уже есть ясное представление о конце жизни, вынесенное из войны и хворей:

Все, кто болели, знают
Тяжесть ночных минут...

Утром не умирают,
Утром живут, живут...
Тени в углах растут,

Тяжесть с души спадет.
Утром не умирают –
Солнце начнет обход!
(«Утром не умирают», 1955)

От обобщения поэт идет к конкретизации, утверждаясь в добрых надеждах на трудный час. Да, он знает острую любовь к жизни, но не растительную – осмысленную. Человек потому и в ответе за каждый свой поступок, что время не бежит вспять и не оставляет возможности исправлять содеянные ошибки и замаливать зло.

Что бесконечно каяться?
Ведь снова
Жизнь не начать, не изменить былого,
Не замолить вины своей...
(«И я обманывал...», 1958)

Поэт не одинок в мире и живет надеждой, что его ошибок не повторит сын, – значит, жизнь продолжается. Вера в поступательное, доброе движение времени не оставляет поэта. Он верит в благотворность перемен, хотя знает, как не скоро они наступают и как нелегко происходят. В стихотворении «Заморозок» (1959) схвачен момент перерыва постепенности в развитии и возвращения к старому: «Едва раскрылись первые цветы, доверчиво оттаяла природа, как снова – вероломство, непогода, и холодом дохнуло с высоты». Для новых всходов это гибельно, зато сорнякам – отрада. Но такое – не навек: «Не задержат напора соков вешних».

И снова к той же теме возвращается А. Яшин спустя несколько лет в стихотворении «Вешние воды» (1963). Поэт рисует пока еще воображаемую картину, но как она реальна, как полна молодой силы и выразительности: «К северу, к югу – с ходу в сторону морей хлынут вешние воды...» И только последняя строка: «Хлынули бы скорей!» – говорит о том, что вся картина мощной обновляющей силы весны – лишь символ страстной надежды поэта на обновление, а не оно само еще...

Все это хорошо поймет тот, кто сам зачарованно наблюдал ледоход, пусть не на Волге или Енисее, а на самой что ни есть обыкновенной небольшой речушке...

Непрерывные изменения в природе – результат неутомимой работы времени, его скрытых сил:

Клин песчаный намывает
Под обрыв сосновый,
Удлиняет, уплотняет...
Где-то старый берег тает,
Нарастает новый.

(«Новый берег», 1966)

Нет, А. Яшин не станет бездумно отмахиваться от старого – напротив. Вот он рассказывает о дереве, пожелтевшем не в пору («Эко дело!», 1966). Мало ли невзгод и у дерева, но не безнадежно оно, может быть? Поэт размышляет, делает допущения: «Может, лишь отдыхает, не умирает оно...» Однако «уже все решено» – скоры люди на бездумные решения: «– Дерево? Эко дело! Лесу вокруг полно». Предположения о причинах заболевания дерева, симптомы недуга, сомнения в диагнозе («может... может...») – все зовет к обдуманности в решении. В этом и пафос стихотворения А. Яшина.

Хозяйским глазом крестьянина видит А. Яшин землю в пору весеннего обновления («На проталинах», 1956). «О вниманье к людям не по сводкам судим», – заметит поэт и, не стремясь живописать словом, прямо говорит об увиденном. Вот наскоро выкрашенные, «от дождя бледнее, плачут стены краскою клеевой, без клея»; вот «с темных крыш полезло ржавое железо»... Нет, поэт вовсе не из тех, кому все не любо и ничем не угодишь. Его позицию вполне почувствуешь в контрасте, завершающем стихотворение:

Черный снег как вымело.
Солнце

нам в угоду

Все орехи вывело
На чистую воду.

Но зато все ладное
Жарче засверкало
И еще наряднее,
Ненаглядней стало.

Может быть, вот это слишком интимное в данном контексте слово «ненаглядней» больше всего и говорит о любви поэта к родной земле, требовательном уважении к людям. В их трудовом коллективе поэт и себя сознает одним из работников, – об этом стихотворение «По свежему снегу» (1958). Просто отмечает поэт призывные гудки городских заводов, две-три неброских детали: «галки – дымком по всему горизонту» да хрустящий «под ногами сухой снежок». И вот в приметах утра вырастает волнующий обобщающий образ: «Еще не светает, еще не пригрело, еще не восход, но от тысячи ног на улицах словно бы потеплело». Привычно ощущение, что заставит спохватиться – «и мне

пора!» и наполнит радостью от сознания общности, единства с людьми: «Счастливое утро – со всеми вместе ложится мой след на свежем снегу».

В будничных свершениях сограждан, в ряду которых видит себя и поэт, преобразается родина: «Моря рукотворные шумят там и тут, отрогами горными плотины встают» («Все можем», 1958). Это вселяет веру в будущее, светлые надежды: «Все можем: мы молоды и все впереди...»

Образ обновляющейся земли, родины, осваивающей свои бескрайние пределы, создает А. Яшин в стихотворении «Бухта Находка» (1959). Поэт сближает конкретные детали, создавая впечатление безмерности пространства, а отмечая мгновения зарождающегося утра, передает ощущение времени и в нем – грандиозность свершений. «Город возник из планов и смет, – как он волнующе молод! – поэт как бы в единой формуле стремится схватить деяние и время. – Десять каких-то неполных лет, но это уже город...» А человеку и Земли мало, он заглядывает во Вселенную, не зная успокоения в своем поиске.

Жить на земле. Душой стремиться в небо.
Вот человека сладостный удел, –

как писал Владимир Солоухин («Жить на земле»). В отличие от многих в нашей поэзии, А. Яшин стихов о космосе не писал, «Обсерватория Улугбека» (1960) в этом смысле – исключение.

Увидена древнейшая из обсерваторий глазами размышляющего современника, для которого гигантские постройки Улугбека XV столетия «не в будущее – в прошлое глядят», хотя создавали их золотые руки мастеров, и лишь «обсерватория одна в грядущие века устремлена»:

В душе секстанта что-то есть от взлета
К неведомым космическим высотам,
Как будто здесь
До нас за сотни лет
Был агрегат для запуска ракет.

В обработке исторического факта, в характере его осмысления А. Яшин близок Леониду Мартынову. Поэт связует времена, оценивая свершения людей их целью. Научные и технические достижения не самоценны – и это имел в виду А. Яшин, когда высказывался по поводу наших космических успехов: «Любая победа, любой технический и научный успех имеют реальный смысл, когда они в конечном счете служат человеку, его благу...»¹ Поэт верил в благотворность технической цивилизации и в разумность человека, творящего ее, потому что открытой душой и мог сказать:

¹ Яшин А. Все можем! – «Лит. Россия», 1966. 11 февр.

Радуюсь обновлениям животворным –
Домнам,
Трубам, влитым в синеву,
Плеску волн на море рукотворном,
Лесосекам с грохотом моторным...
(«Москва – Вологда», 1958)

Надеясь на технические чудеса, Александр Яшин тем не менее поэтически приглядывался, а что там, на земле, в обыденности традиционных занятий, которыми едино пока жив человек?.. И видел поэт, что не все ладно. Надо полагать, со стыдом припоминая некоторые свои вирши послевоенных лет, в которых жизнь деревни представлялась в розовом свете, написал Яшин в 1956 году стихотворение «Показуха» в форме письма из родной деревни. В нем поэт практически начинал переоценку представлений. Былые заблуждения вызывают ироническую усмешку. Но нет в ней зла, есть горечь. Он одним из первых увидел явление, о котором общественность заговорит гораздо позже. Он не сразу был понят – таков удел первых. Но горечь непонимания в какой-то мере смягчалась тем, что здесь поэт нашел себя: пришла раскованность суждений о жизни, свобода высказывания о важном, а не о том, что лежит на поверхности явлений. Это уже глубина поэтического мышления, и не случайно ее обретение самим поэтом осмысливается как второе рождение, о чем говорит А. Яшин в стихотворении «По своей орбите» (1959).

Перемены в общественной жизни, наступившие резко, хотя и далеко не сразу, не одним актом, представляли собою качественный сдвиг, выраженный А. Яшиным предельно просто: «Легче дышится». Формула народная, а содержание ее глубоко захватывает различные пласты общественно-психологических состояний: «сам за все отвечать хочу», «боль чужую все глубже чувствую» и т. д. Все это выражается в чувстве абсолютной естественности бытия: «Так свободны мои движения, словно в первый раз от рождения по своей орбите лечу». Потому что:

Повзрослело мое поколение,
Вместе с ним повзрослел и я.

«Торжественное обещание» (1959) как бы развивает мысль, заложенную в предшествующем стихотворении. Необратимость перемен утверждает поэт в риторически вопросительной конструкции: «А разве кто сомневается в том, что Земля вращается, что время свое берет?..» Оттенок иронии поэт тут же отбрасывает перед закономерностью поступи времени: «дорогами преобразования ведет непреклонный век». И это обязывает быть чистым перед эпохой и людьми: «Бренчаниями фальшивыми, писаниями хвастливыми не разогреть сердца». Поэт декларативен и не скрывает этого, потому что за его декларациями – живое чувство, переболевшая страсть, которая убеждает в искренности поэта.

Движение времени отмечает А. Яшин в соизмеримости перемен вещного, реального мира, в который включен и сам поэт: косматую гриву распускает в поднебесье еще недавно мелкий лес, «изба избы» смотрится некогда казавшийся вековым отцовский дом («Чистый бор», 1962): «Отчий дом с годами в землю врос или вырос я за эти годы?» И оказывается, как бы не менялись вещи, человек подвижнее, и он определяет погоду века. Настойчиво повторяя, даже нагнетая иронически детали неизменности внешнего бытия, поэт утверждает торжество нового в сознании людей: «Те же избы, те же печи, так же полон рот забот, но совсем иные речи...» И Яшин с удовлетворением заключает:

Век не тот,
Не тот народ!
(«Век не тот», 1962)

Не тот народ, но А. Яшин не отмахивается от выработанных веками традиций, сформировавших основу характера современника, его трудовую нравственность. В «Молитве матери» (1967) как бы в едином порыве выразил А. Яшин святая святых народной нравственности, отсюда и жанровое, я бы сказал, определение – молитва... Проникновенные и простые слова зазвучали в свободном ритме страстной мольбы, рифма приувыла, чтобы не отвлекать от смысла суетной условностью, – тут Яшин приближается к форме, обычной для причетов:

Не власти прошу,
Не за деньги стою.
Вдохни, сердобольная, в грудь мою
Столько любви и силы,
Чтоб до могилы
На всю семью –
На мужа, на сына, на дочь мою, –
На каждый характер хватило...

Опыт жизни убедил поэта, что «только любовь раскрывает сердца, лишь перед ней отступает горе». Он видит в характере матери как главное – безграничность в любви к ближним, до самозабвения. Деятельная сила любви преодолевает все, а в ней находит А. Яшин одно из оснований народной нравственности, которую он глубоко ценит и уважает. Вот почему поэт не позволит себе по отношению к крестьянским обычаям и привычкам не только высокомерия, но даже снисходительности.

Есть заметная смешинка в стихотворении «Мы уже боялись» (1962), написанном в форме письма земляков поэту. Звали они его к себе, рассказывая, как много ягод да грибовросло. «Мы уже боялись: вдруг к войне», – простодушно обмолвились земляки. И это простодушье вызывает добрую грустную улыбку поэта. Он, пройдя фронты, иллюзий не питает и не осмеет забавные приметы земляков. И разве в наш тревожный век мы навсегда избавлены от опасности войны?..

Видя в их жизни новое, он порадуетя вместе с ними.

В Блуднове появилось радио –
Поет,
Играет,
Митингует.
И до чего всех это радует,
И как волнует!

(«В бору случилось невозможное», 1962)

Не столь уж значительное событие поддерживает веру поэта в завтрашний день своих односельчан, уверенность в том, что «жизнь идет не стороною: когда-нибудь, наверно, сбудется все остальное».

Сбудется, однако жизнь не проста и не все в ней совершается по формуле «раньше не было – теперь появилось». Противоречия не ушли из деревенской жизни – ни в хозяйственной практике, ни в социальном укладе. Они мешают нормальному ее ходу. И в «Стихах из дневника» (1961 – 1964), написанных в пору господства волюнтаристских методов руководства, Яшин так или иначе дает свою оценку явлениям жизни.

Внутренний контраст заключает в себе стихотворение «И стали мы пить чаек...», посвященное Н. М. Воронину, председателю колхоза «Каменный», что в Осинове, километрах в семи от Никольска. Поэт с теплым чувством перечисляет блага непритязательного крестьянского стола. Что ж, молока он

...выпил бы с удовольствием
стакан и другой горячего,
с коричневой жирной пенкой,
свежего,
не порошкового,
с душистым ржаным пирогом,
и шировеги отведал бы,
и рьжиков бы попробовал,
и клюквы бы надавил...

Но «дружбы мужской не замешивают на ягодах и на молоке», и вот идет разговор «о пропашных культурах, о том, как вести хозяйство в согласье со схемой и модой, не подрывая колхоза, как выстоять председателю меж двух, даже трех огней...» А каково положение председателя, инициатива которого подавлена администрированием, А. Яшин знал отлично. Где бы ни бывал, а особенно в родных краях, он везде встречался накоротке и с партийными работниками, и с руководителями хозяйств, видел будни односельчан. Постоянно бывал он на совещаниях в Никольском райкоме и на колхозных собраниях (подробными записями полны дневники Яшина, в них найдешь не только интересные реплики, схваченные в живой непосредственности, но и цифры, цифры...). Особенно много для познания жизни давали лич-

ные встречи, доверительные разговоры за полночь, когда самое сокровенное друг другу выкладывается и все сомнения и мучения находят отклик в душе заинтересованного, вдумчивого собеседника.

...Но и удивительно ли, что «скисает в горшке молоко», – эта строчка, завершающая стихотворение «И стали мы пить чаек...» разбита лесенкой, по слову, – до молока ли, если у собеседников душа о делах изболелась?! Писатель и председатель колхоза были друзьями и легко находили общий язык.

А, кстати, Яшин не только слушателем умел быть, но и деятелем: помогал своим землякам словом и делом. Интересное свидетельство его заинтересованности в жизни – статья «А ладно ли?» (1962) о проблемах руководства сельским хозяйством, опубликованная в свое время в «Литературной газете». Александр Яшин в ней тревожился не только о том, что администрирование наносит ущерб экономике колхозов и материальному благосостоянию колхозников. Поэта особенно волновали нравственные последствия грубых просчетов в управлении делами деревни.

В книге «Босиком по земле» А. Яшин, по словам Ал. Михайлова, «ищет материальную основу человеческой нравственности... Земля и человек на ней – такова эпическая основа поздней лирики Яшина»¹. Это справедливо – его лирика проникнута глубоким уважением к трудовому человеку, будничные тревоги и заботы которого исполнены для поэта высокого, непреходящего значения.

Задолго до света

ясно и жарко –

Я это вижу с улицы темной –

В домах польхают печки-пекарки,

каждая, словно домна,-

пишет А. Яшин в стихотворении «Топятся печи».

Кажется, это взгляд стороннего наблюдателя – «вижу с улицы», но разве с улицы почувствуешь, как жарко топят печи? Нет, взгляд со стороны только возбудил воображение и чувство поэта, и набрасывает он картину, виденную много раз, – отсюда точное знание подробностей, повторяющихся каждодневно в каждой избе, и потому особо для Яшина значительных, отсюда момент гиперболизации: печи «польхают... словно домна».

Поэт сам, не гостем видел в печи и эти чугуны картошки, и горшки с молоком и щами; собираясь на покос или на охоту, сам сживал за столом, на котором появлялись «хлеб в решетках, соль в солонках и черные чугунищи». И его радует «еда с парком, духовита», и оживление детей, и само собой вырывается светлое пожелание: «Доброе утро, добрые люди, приятного аппетита!» Поэт с ними вместе, разделяет их радости и заботы – вот почему каждый жест, каждое размеренно привычное, незначительное, казалось бы, действие исполнено для него важного устойчивого смысла:

¹ Михайлов Ал. Спешите делать добрые дела. – «Лит. газ», 1973, 4 апр.

Покушав
и крошки смахнув в ладошку,
Большак закуривает в охоту.
Уже бригадир стучит под окошком –
Пора на работу!

Разделяя радости хлебороба, А. Яшин пишет стихотворение «Хлеб-соль» (1964), в котором уже с первыми всходами предвкушает будущие дары хлебного поля:

Едва под дождем и солнцем рачительным
Иголки выбьются из земли,
А мы уже говорим почтительно
О травке об этой:
– Хлеба пошли!

Но ни с чем не сравнима пора урожая, когда на токах растут горы зерна и «люди добреют, и песни девичьи хватают за сердце». Восторг поэта находит выход в открытой патетике народного довольства:

О, корочка хрустящая!
Соль зернистая!
С каким торжеством из свежей муки
Пекут в деревнях караваи душистые,
Блины,
и шаньги,
и пироги.

Не мелкое счастье потребителя блинов, а горделивое чувство за свой народ, за свой крестьянский корень владеет поэтом. Выход на обобщение находит он в поговорке, особенно часто звучащей в пору сбора урожая: «Хлеб-соль – всему голова!» И, зная на практике справедливость народной мысли, поэт подтверждает: «Когда у страны закрома полны – сильны мы, и все у нас получается...»

От частного: «иголочки выбьются из земли», «о, корочка хрустящая!» – поэт идет к обобщению, умея выразительно и сильно сказать о важности труда хлебороба на земле, о его основополагающей роли. С тою же сердечностью, приветливостью развивает А. Яшин тему радости в стихотворении «Свежей выпечки» (1965). В нем, исходя из поговорки, из народной формулы, поэт нагнетает: «С пылу, с жару, с поду, с ходу – свежей выпечки хлеб народу». И будет перечислять с радостью удовлетворения: пироги и пышки, бублики и шаньги... И так вкусно сумеет сказать: «Из муки мелкомолотой, чисто просеянной шаньги желтые, будто листья осенние». Радость поэта выливается в искреннюю благодарность хлеборобу: «Спасибо сердечное, поклон особый тебе, моя сельщина, вам, хлеборобы!»... А какие – «чудо!» – пекутся пирожки и шаньги, «а главное – с любовью, а главное – повсюду». Живя нуждами и заботами деревни, уже от имени сельщины с чувством радушного хозяина поэт желает всем: «Ешьте на здоровье, добрые люди!»

Крестьянское существо яшинской души открывается в стихотво-

рении «Хлеб созрел» из цикла «Дунайские контрасты» (1961-1964). Там, в Румынии, поэт чувствует себя как дома – и вся-то разница, что «на привале вместо воды апельсиновый сок». А вид созревших хлебов и садов с налившимися плодами, синева неба – это близко А. Яшину.

Я с комбайнером на борозде,
Как с дружкой-земляком беседую.
Уважение к сельской страде
У меня родовое, дедово.

Отсюда и уважение к румыну-комбайнеру, что «как бог, стоит в полный рост», с таким привычным жестом «на ладони зерно разглядывая». И это ощущение Яшину знакомо: «А зерно течет вроде звезд промеж пальцев живой прохладой». Вот почему и возникает чувство родства: «и волненья у нас одни, и заботы, и думы схожие», – интернационализм поэта проявляется в живой взволнованности переживаний.

Циклы «Стихи из дневника» и «Дунайские контрасты» создавались одновременно. В них открывается, что одинаковые дела и заботы, единство чувств и настроений сближает людей, и это обнаруживает общие приметы быстротекущего времени. К ним внимателен А. Яшин, но более всего занимает его, как отражается время на характерах людей, в их психологии. Перемены в жизни ведут к изменениям в общественных настроениях и в индивидуальном поведении людей. Поэт настойчиво ищет взаимопонимания с ними. «Через тоску, через муку, через смерть, через все препятствия сила творчества выводит одного человека навстречу другому»¹, – писал М. Пришвин. Своей тропинкой на большом пути к человеку-другу идет и Александр Яшин.

НРАВСТВЕННЫЕ ИСКАНИЯ СОВРЕМЕННОГО

1

Путь поэта к людям не есть прямая, все веки на которой проставлены раз и навсегда, одни для всех, – к каждому находит он свою особую дорогу. Лирика Александра Яшина по видимости проста и, вместе с тем, неоднозначна. При этом она не допускает никакой двусмысленности в толковании: проста как жизнь и как жизнь многослойна.

Не прав ли М. Пришвин, когда замечает: «Реальная жизнь общества состоит во взаимодействии Я и Ты. Ты голоден – я тебя накормлю, ты одинок – я тебя полюблю, – вот действительные реальные основы общности»².

Старый мудрец, конечно, прав. Но он оставляет без внимания

¹ Пришвин М. Незабудки, с. 181.

² Пришвин М. Незабудки, с. 170 – 180.

моменты, которые для него, долго жившего и много передумавшего человека, сами собой разумеются. В действительности любая истина идет к нам сложнейшими путями и не всегда доходит. Ведь «бесценные вещи и бесценные области реального бытия проходят мимо наших ушей и наших глаз, если не подготовлены уши, чтобы слышать, и не подготовлены глаза, чтобы видеть, то есть если наша деятельность и поведение направлены сейчас в другие стороны»¹.

В стихах своей последней поры А. Яшин предстает как натура исключительно чуткая, отзывчивая, для которой внятны голоса многих. Его волнуют не только тревоги родных детей («Милое мое горе»), но и заботы «председателя осинового колхоза» («И стали мы пить чаек...»). И совсем далекие, незнакомые поэту люди вызывают его живое участие («Утренняя почта»):

Будто свежая щепка –
Письма по избе.
Но от каждого – тропа
К чьей-нибудь судьбе.
Рубят лес там и тут,
И щепка летит,
И со всех концов идут
Письма, полные обид...

Нет, поэт никого не обещает избавить от огорчений и не берется разрешить ничьих сомнений: он не всесилен и сам изведал тяжкую власть сомнений, а порою нуждается в утешении. И тогда он идет к мудрой крестьянке, своей матери («С матерью наедине»), у нее, сам большой и сильный, ищет поддержки:

Почему ты, мама, меня сильнее?
Иссохшая, старая,
а не больная.
Пахать бы мне землю, как ты пахала,
зимой ладить дроги, а летом сани
и не искать бы иного счастья,
бояться суетности, как заразы!
Ведь нет все равно ничего на свете
милей твоего немудрого крова.

Это святое чувство по-своему пережито, наверное, каждым человеком, в ком душа жива, поэтами – тем более. Вот Ярослав Смеляков раздумчиво и неторопливо, как другу наедине, рассказывает: «Добра моя мама. Добра, сердечна», – в ней всегда находил поэт негромкое участие и понимание. Трудно жившая и много поработавшая, готовая всегда отдать другому последнее, она до конца осталась самой собою:

¹ Ухтомский А. Письма, с. 254.

«Ведь видела виды, знала обманы, хулу, обиды, а не пошло ей ученье впрок...»/ С грустью вспоминает свои настроения последних дней войны Дмитрий Ковалев: «А думал я, что, как увижу мать, так упаду к ногам ее». Но увидев, убоился громких изъявлений чувств: «Окликнуть? Нет, так испугаю вдруг...»

Сохраненное навсегда уважение к матери – русской женщине-труженице – становится для поэтов нравственным компасом в житейском море, критерием их демократизма. Так же и для Александра Яшина: мать, старая деревенская женщина, накрепко связанная с миром, из которого вышел поэт, не мыслимая вне этого мира, – остается самым родным и близким человеком. «Почему ты... сильнее?» – задается поэт вопросом и даже немного страшится ответа, пожалуй, хорошо ему известного. Так же боится ответа и мать, когда приходит к ней за советом сын, который сам должен быть уже в силе. Что ж, слабости бывают и у сильных, знать их – значит уже наполовину одолеть.

Поэзия Александра Яшина – это постоянное бореие со своими слабостями, со слабостями человеческими, которые можно познать и одолеть лишь в общении с людьми – непосредственно или косвенно, в памяти или воображении. Старая поговорка «клин клином вышибают» – справедлива и тут. Яшину перемотать слабости помогает тот нравственный опыт, который вынес поэт из родившей его демократической среды, те уроки, которые усвоены с молоком матери – с младенческих лет.

В этом сближается Александр Яшин со своими современниками Смеляковым и Ковалевым, с Василием Федоровым и другими. Может быть, особенно созвучен Яшину Дмитрий Ковалев, многие стихи которого рождались «из житейской философии», немудрящей, но куда более убедительной и веской, чем книжное глубокомыслие иных авторов. Поэт понимает смысл таких «вещей», «близких каждому простому человеку, как земля, хлеб, мирная тишина, семья. Поэтому лучшие его стихи светятся земной радостью людей деревенского труда»¹. Не так уж важно, деревенского труда или городского, – важен принцип. И мы вполне разделим уважительное чувство Ярослава Смелякова к трудовому человеку («Не семена и не вразвалку...», «В защиту домино») и пафос поэта, когда он протестует против барски кичливого понятия «простой человек». Нам близки и горделивые строки Василия Федорова, полемические вначале, потом раздумчивые:

Скажут:
Хлеб – избитая тема.
Я иду и смеюсь над такими.
Я несую домой каравай, как поэму,
Созданную сибиряками,
Земляками моими.

¹ Лобанов М. Сердце писателя. М., «Сов. Россия», 1963, с. 170.

С добрым и тревожным вниманием присматривается к жизни своих земляков Александр Яшин. К их словам прислушивается он с пониманием и сочувствием, хотя не скроет порою и лукавой улыбки («Мы уже боялись...»). Поэта радует простая обыденность трудовой жизни односельчан («Топятся печи»), он чуток к переменам в их жизни и образе мыслей («В Блудново появилось радио...», «Век не тот»). Детальное знание родного ему мира делает для Яшина доступным все, что волнует трудового человека, где бы он ни жил, в чем убеждают, например, «Дунайские контрасты», навеянные поездкой в народную Румынию.

В отличие от Смелякова или Ковалева, Яшин не рассказывает о тех или иных людях, о том или ином событии, – его поэтическая мысль рождается не от характера или факта, но всегда – от явления. Ему, в отличие от многих «крестьянствующих» поэтов, нет необходимости подлаживаться под деревенский говор: нравственный опыт трудового человека – основа мирозерцания А. Яшина. В стихотворении «Хлеб-соль» нельзя не понять с первых строк искреннего уважения крестьянина к делу рук своих. А ведь поэт рассказывает попросту, сам от себя. Мы чувствуем за его словами и иной, вовсе не деревенский опыт, которым определяется публицистический пафос заключительных слов:

Когда у страны закрома полны –
Сильны мы,
И все у нас получается,
Сбывается все
От земли до луны.

Поэт настойчиво утверждает важность первичных забот трудового человека о хлебе как основе всей нашей жизни. Такое понимание органично для Яшина, как и многие другие черты крестьянской нравственности, скажем, трудолюбие, которое всегда почиталось одной из достойнейших добродетелей. «Глаза страшатся, руки делают» – говорит пословица. Ее не повторяет Яшин в стихотворении «Думалось, не прибраться...», но все оно дышит бесхитростной простотой житейской мудрости. В нем услышишь голос хозяйки, занятой обыденными домашними делами, почувствуешь ее удовлетворение: сору-то в избе «оказалось – маненечко, ладно, что принялась. Все оказалось в горсти, стоило лишь подмести!»

Человек, живущий в постоянном труде, знающий ему цену, приветлив. Но меняются условия быта, формы общения, и дорогие когда-то привычки «стираются», – поэтам важно их как-то сберечь. Про бычий чай, который мы «в городах потеряли», – приветствовать встречных – пишет Владимир Солоухин в стихотворении «Здравствуйте». Он, конечно, понимает, что «нельзя же перекланяться всем, кто проходит по улице Горького, в ГУМе толпится». Но невозможное не дает повода поэту безнадежно развести руками, он настойчиво убеждает:

Был ведь, был ведь прекрасный обычай у русских
 Поклониться друг другу при встрече
 (Хотя бы совсем незнакомы)
 И «здравствуйте» тихо сказать.
 «Здравствуйте!» – то есть будьте в хорошем здоровье.
 Это – главное в жизни.
 Я вам главного, лучшего в жизни желаю.
 – Здравствуйте! Я вас встретил впервые.
 Но я – человек, и вы – человек –
 Мы люди на этой земле.
 Поклонимся же друг другу при встрече...

То, что В. Солоухин знает и в чем рационалистически убеждает, А. Яшин несет в себе, в своем миропонимании. Он не станет стремиться обнять все человечество в лице его каждого представителя. На связь с широким миром поэт выходит через знакомых и родных, для него достаточно чувствовать прочные связи с ними. В ряду этих связей Яшину особенно дорога приветливость – чувство, способное вобрать в себя многообразие житейских отношений. Они закреплены в своеобразных, освященных традицией формах русского приветствия и занимают поэта в стихотворении «С добрым утром!»

«С добрым утром», «добрый вечер», «хлеб да соль», «ни пуха ни пера», «в счастливый час»... – бесконечны формы приветия в русском языке. Только не забывай, пользуйся, – есть они на каждый случай жизни и выработаны народом «не от тяги к суесловию», как поясняет А. Яшин. Потому он не имеет ничего против даже устаревших по своему прямому значению пожеланий – их смысл в главном все тот же: «С богом!» – то же «В добрый путь!» Занявшись вроде бы лингвистическими разысканиями, поэт создает своеобразное произведение, которое согрето его улыбкой, которое утверждает добрые нормы моральных отношений в нашем человеческом общечитии: «И живется вроде лучше, и на сердце веселей, коль другим благополучья пожелаешь на земле».

Легко, незатейливо льется поэтическая речь Яшина, проблема же, которую он решает, серьезнее, чем кажется на первый взгляд. «А что для нас является более важным и решающим, чем «интегральный образ», который мы составляем друг о друге, о лице встреченного человека? – задается вопросом А. А. Ухтомский. – По тому, как мы разрешаем эту ежедневную задачу, предопределяется в высшем смысле слова наше поведение, наша жизнь, наша ценность для жизни»¹. Яшину это известно доподлинно, как житейская и поэтическая конкретность.

В стихотворении «На одной волне», посвященном грузинскому поэту Георгию Леонидзе, А. Яшин пишет о том, как познается истинная дружба, – «не на пирах, а в беде, в нужде». Когда поэт оказался в боль-

¹ Ухтомский А. Письма, с. 253.

нице, вдали от родины, тяжело переживая свое вынужденное одиночество, вдруг появился он, «солнечный бог поэзии гор»¹, как назвал однажды Леонидзе Николай Тихонов. И слабеющий в тоске поэт вновь обрел былую силу и жизнерадостность.

Так день за днем,
И быстрее вдвойне
Ко мне возвращалась прежняя сила:
Он рядом –
И я не в чужой стороне,
Уже разговор на одной волне,
Он – рядом, и кажется,
Будто мне
Сама Иверия душу открыла.

«Что поэзия без человека, без доброго отношения и пристального внимания к нему – живому, реальному, а не выдуманному?»² – взволнованно писал Александр Яшин... Поэт шел к человеку и увидел его такого, каков он есть на самом деле, – сильного и слабого, утрюмого и добродушного, доброго и своекорыстного... В пути Яшин был не одинок, одновременно и рядом с ним работали поэты, направленность творчества которых, несмотря на заметные внешние отличия, была ему близка.

«Поэзия, казалось мне, – пишет Э. Межелайтис о замысле цикла стихов «Человек», – как раз и призвана пробуждать человека в человеке, воспитывать чувство деятельного добра и благородства, бороться со всем, что мешает людям быть людьми, ведет к их порабощению – материальному и нравственному, – бороться со всем, что будит чувства тупого зверя, ненависть к человеку, стремление осквернить его душу». И хотя герой в поэзии Межелайтиса рисуется гиперболически и философско-символически, – это человек уже недалекого будущего, «великий и простой, во всей своей красоте»³.

С любовью к людям рассказывает Виктор Гончаров о замысле своей книги «След человеческого» (1966), веруя, что с самого раннего возраста в душе человека «живет гений... – существо очень обидчивое, очень стеснительное». В душе каждого живет, только разные люди распоряжаются по-разному судьбой своего гения: одни, стесняясь, «загоняют его в уголок души, и это – самое лучшее его – живет и мучается без солнца и воздуха»; у других же гений «превращается в отвратительное, нахальное, состарившееся в детском возрасте существо, которое требует постоянного внимания окружающих»⁴. Гончаров надеется, что доброго гения можно разбудить в человеке, и хочет, чтоб

¹ Тихонов Н. В далекие двадцатые-тридцатые годы... – «День поэзии. 1972». М., «Сов. писатель», с. 7.

² Яшин А. Что же такое структурная почва в поэзии. – «День поэзии». М., 1956, с. 159.

³ Межелайтис Э. Автобиографические заметки. – «Вопросы литературы», 1964, № 1, с. 82.

⁴ Гончаров В. Место действия – сказка. – «Лит. Россия», 1966, 7 окт.

злого люди умели вовремя разглядеть под маской лицемерия и ханжества.

Только с верой в человека можно найти поэтические пути к его сердцу – эта вера отличает истинную поэзию. Яшину, казалось бы, далека манера поэтического письма Межелайтиса, но их роднит гуманистическая мечта о гармоническом человеке, о торжестве добра и справедливости. А не в этом ли и суть размышлений Гончарова?.. Поэты, очень разные, сходятся в главном, пусть и писать они будут неодинаково. Если Межелайтису ближе монументальность, он скажет об одном и приоткроет нам идеал в его общих хотя бы контурах. Если Яшин склонен к разговору с глазу на глаз, он, храня идеал в глубине сердца, скажет о чем-то другом – о правде и совести, об ответственности людей перед ближними, о красоте добра... В такой разнообразии поэзия только выигрывает.

2

Не только поэт – любой человек начинает понимать других людей, если он вполне осознал самого себя как личность. А поскольку он ценит и бережет свою особливость, постольку внимателен и к индивидуальности ближних. Здесь-то и обнаруживаются этические основы поведения человека в мире людей, определяющие его общественное лицо. Каждый ли, однако, отчетливо понимает даже и сам-то себя?.. Александр Яшин зовет к размышлению об этом во многих своих стихотворениях.

Трудно уловима суть человеческого характера, склада личности, души, наконец. А бывает, улетучилась она, душа, и пустота наваливается на человека («Душа»): «только ребра торчат, как стропила». Поэт находит сравнение жесткое, резкое и необходимое. Почти физически ощутимое впечатление опустошенности побуждает думать вместе с поэтом: «отчего же не легче в груди? Что в ней все-таки раньше было?»

Понять себя тем труднее, чем человек непостоянен и непоследователен в отношении к жизненным явлениям, – все порою объясняется опосредующими обстоятельствами. Вот А. Яшин просто рассказывает о том, как «орда грачей орет над крышей», изводя и утомляя всех обитателей дома («Грачи»). Уже сам хозяин не ведает пределов возмущения – «смахнул бы на землю все гнезда, стрелял бы, только разреши», – но ловит вдруг себя, припоминая:

А ведь давно ли выл от горя,
 Когда какой-то книгочий
 Березы вырубил под корень,
 Чтоб сад покинули грачи...

Не просто быть собою!.. Яшин ищет разнообразных форм выражения поэтической мечты о цельном человеке, придерживаясь

круга наблюдений из обыденной жизни, – «мирское» убедительнее призывов и абстрактных рассуждений. Быть собою – начало общения, а его необходимое условие – совесть, которая является отправной точкой в познании людей. Для Александра Яшина совесть – вообще одно из главных понятий, если можно назвать понятием сердечный трепет жизнеощущения. Стоит вспомнить фольклорное, идущее из глубины жизни выражение «по правде – по совести», открывающее народный идеал справедливости, который воспринят и Александром Яшиным и в главном определяет звучание его поэзии. От него идет обостренность чувств, напряженность интонации, бескомпромиссность в суждениях.

Симптоматично, что имя «Совесть» получила книга стихов Яшина, означившая резкий перелом, качественный рывок в его творчестве. А совесть, заключающая в себе нравственный самоконтроль личности, – это «способность человека самостоятельно формулировать для себя моральные предписания, требовать от себя их исполнения и оценивать свои действия»¹. Самые жесткие требования предъявлял к себе поэт Александр Яшин – и с этой точки зрения раскрывается в его последних книгах мир человеческой души. Мир трепетный и тревожный, не знающий душевной самоуспокоенности до конца.

«О, как мне будет трудно умирать, на полном вдохе оборвать дыхание!» – говорит поэт в стихотворении «Отходная». Так говорит, будто заглянул он уже за черту. И «Отходная» не тем захватывает, что слышится в ней страх исчезнуть в никуда, хотя первые строчки могут привести к заблуждению, – напротив: «Не уходить жалею – покидать, боюсь не встреч возможных – расставанья», – признается поэт.

Боль, но не за себя – боязнь причинить горе другим, вот что самое горькое для поэта. Если б острым чувством ответственности перед живыми могли мы обладать смолоду, разве б знали потом такую горечь! Даже нравственно чуткие люди понимают это слишком поздно, когда «никаких уже нельзя извлечь уроков». И неутешительны итоги прожитого:

Ничьей любви до срока не сберег
И на страданья отзывался глухо.
Не завершил ни одного пути...

Да справедлив ли поэт к себе?

Он не щадит себя, открывая опыт личных ошибок, обнажая душу свою, отсюда право поэта на прямой разговор с ближними, с каждым. Он давно знает, «как многим людям у нас по ночам еще плохо спится» («Бессонница»), но не торопится их судить, а понять хочет. Приглядываясь к соседу по купе, который всем обликом своим являет признаки здоровья и благополучия, поэт недоумевает: «Почему не потушит свет? Почему так долго ему не спится?» В загадку своего попутчика проник-

¹ Философская энциклопедия, т. 5. М., «Сов. энциклопедия», 1970, с. 41.

нуть поэту не удалось, да и мало ли вообще волнений у человека в наш век, кем бы он ни был. Ведь и сам поэт не смыкает глаз...

Нет, не просто на свете жить.
 Чтобы ночью спалось спокойно,
 Надо день провести достойно,
 Не корысти –
 Людям служить.
 Не лукавить,
 Не предавать...

Раздумья поэта взволновали и встревожили нас, хотя жизненный опыт его и остался неведомым в деталях, а открылся дидактически. Не о том ли же писал по-своему и Александр Твардовский:

В зрелости так не тревожат меня
 Космоса дальние светы,
 Как муравьиная злая возня
 Маленькой нашей планеты.

Казалось бы, «о муравьиной возне» зачастую пишет и Александр Яшин. Пишет о таких мелочах, что даже явления-то в его конкретности нет, но нельзя остаться равнодушным к мыслям и чувствам поэта. Личное поэта – общезначимо, тут заключается один из законов лирики. И Яшин, начиная речь от мелкого, случайного, поднимается до высокого напряженного звучания. И мы уже слышим проникновенный разговор об отношении человека к миру, в котором он живет, к людям – ко всем, безотносительно того, о ком идет речь: о приятеле, просто знакомом или первом встречном, как сосед по купе в вагоне.

Нельзя не признать глубокую правоту поэта: разве когда-нибудь исчезает необходимость совершенствовать отношения людей друг к другу? Нет, Яшин не бичует «пережитки прошлого», он говорит о несовершенстве нашего человека с точки зрения идеалов эпохи, и в этом смысле содержание его поэзии опережает время, активно служит воспитанию человека, утверждению в нем качеств подлинного гуманизма.

С тонким пониманием душевных движений вникает А. Яшин в психологию своих героев – для него нет мелочей в человеческих отношениях. И порою в одном штрихе, в какой-то черточке поведения он умеет открывать целый мир. Вот, скажем, в стихотворении «Да, отзывчивая, да, сердечная!..» уже настойчивое повторение «да... да...» («да, горой встает за обиженных...») выдает, что поэт лишь повторяет слова тех, кто без удержу хвалит эту женщину. Слышится даже раздражение против «всех встречных», что прославляют «бескорыстье ее широкое», которому, право же, есть и подтверждения – тут поэт не спорит.

Только «встречным» со стороны цена бескорыстия не ясна, а поэт подметит, что женщина-то «не видит, что тут же, около, свой родной человек терзается». Одной деталью внесена ясность, а в заключительных строчках находит Яшин и причины душевной слепоты: просто

любить дальнего и тревожиться о нем легко – такая любовь ни к чему не обязывает. А поэт не признает абстрактной любви к человеку, которая оказывается маской черствости и бездушия.

Отметим своеобразную переключку поэта с ученым: А. А. Ухтомский пишет, что сам он «с детства привыкал относиться с недоверием к разным проповедникам человеколюбивых теорий на словах, говорящих о каком-то «человеке вообще» и не замечающих, что у них на кухне ждет человеческого сочувствия собственная «прислуга», а рядом за стеной мучается совсем «конкретный человек» с поруганным лицом»¹.

Стихи Александра Яшина драматичны, но в них прямой и бесстрашный взгляд на жизнь личности сильной, глубоко заинтересованной не только и не столько собой, сколько судьбами других людей. Желание видеть взаимопонимание в отношениях людей, ясность и чистоту – вот что определяет накал многих стихов поэта. Он предостерегает против торопливых суждений о судьбе ближнего, зовет быть мягким и бережным к человеку.

Не получилась жизнь двоих («Развод»): примирить их не удалось ни друзьям, ни суду. И «зубоскальства не было нигде и волокиты никакой: все ясно». Ясно – на взгляд безразличный. А кому открыто, что там, на дне души-то человеческой?..

...после беготни и суетни,
Когда настало время оглянуться,
Вдруг, ужаснувшись, поняли они,
Что сами-то –
И, может, лишь одни –
В случившемся вовек не разберутся.

В отношениях, складывающихся среди родных, разобраться бывает особенно трудно – это знает поэт по себе. Чужую беду, трудности других он умеет переживать как свои личные, иначе не может: «Дочери и сыновья, милое мое горе, вечная мука моя!» («Милое мое горе»). Отцу приходится «заново перемогать опасный возраст», потому что для его детей «не решен ни один из роковых вопросов». Но многим ли дано с такой вот страстной заинтересованностью именно перемогать! И стихи, казалось бы, о сугубо личном становятся размышлением о судьбах поколения, о своих обязанностях по отношению к нему... Знали, например, односельчане обыкновенного пухлогубого паренька, «а ныне – что шляпа, что шуба, и все будто впору ему» – из столицы приехал! («Гость»). И ладно бы – растут люди, но почему теряется и робеет мать?

Метнуться б к сынку, прослезиться
С открытой, как раньше, душой,
А вот не посметь,
Не решиться:
Начальник, поди-ко, большой!..

¹ Ухтомский А. Письма, с. 256.

А уж сам «начальник» не захочет ледок отчуждения сломать – вдруг свое достоинство уронит! И того не поймет, видно, что достоинство, когда человечность утрачена, оборачивается кичливостью и заносчивостью. Ах, как больно огорчают поэта эти черты! Их он отметит, наблюдая, как «смотрят два совиные стекла из-за канцелярского стола», – смотрят, неспособные понять человеческие чувства («Неулыбчивому человеку»). Но и поэт не был бы самим собою, не заяви он: «Не могу мириться с немотой, и со слепотой, и с глухотой». Он прямо говорит о своих пристрастиях: «хочется сердечной теплоты, красоты душевной, чистоты» и заверяет: «не расстанусь со своей мечтой».

Стихи А. Яшина отражают характерную тенденцию поэзии 60-х годов – утверждение взаимопонимания и братских чувств между людьми... Так, с Яшиным открыто перекидается Василий Федоров в стихотворении «Два лица». Поэт не без юмора пишет о том, как пришел исцеление от трепета перед «значительным лицом»: вдруг представил, «каким он был в двенадцать лет». Но если для Яшина нравственный суд над героем заключается уже в том, что мать перед ним заробела, то Федоров, озоруя, выносит свой приговор, он предлагает:

Чтоб над чинушей
Повесили его портрет,
Где лопухами
Вянут уши –
Каким он был
В двенадцать лет.

Творческий метод разный, а работают оба поэта рука об руку, в одном направлении.

В отрицании кичливости, бездушия, черствости Яшин безоговорочен и порою склонен к крайним выводам. Вот, скажем, «увели собаку со двора» («Джин»), и поэт уже торопится с горьким заключением: «Неужель в людскую доброту и собака веру потеряет?!» Для хорошего самочувствия самому поэту важно сознавать, что он «ничьих не вытягивал жил, людям на горло не наступал» («Свое добро»). Но уж если знает он за собою вину, то кается открыто, горько, глубоко.

Пришел незадачливый день («Опять я целый день негодовал...»), когда все не ладилось, когда «не мирилась совесть с немотой», но и выхода не нашлось, и человек «все, что сразу высказать не смог, чем вся душа была до боли сжата, принес к своей любимой на порог». Это – как ветка, оттянутая в густом лесу и хлестнувшая «по глазам ни в чем не провинившегося друга». Да, не хотел обидеть, но разве вина становится меньше?.. Ничто не снимает с человека ответственности за его поступки.

Об ответственности человека перед людьми пишет Яшин во многих стихах. Конкретная ситуация – встреча («Память»), а кто он, встречный? «Лицо знакомо, голос тоже...». Пришел стыд, когда припомнилось, пишет поэт, «сколько прожил я с ним в окопах, на войне». Но случается и другое, говорит А. Яшин, – «отъявленному лиходею, бы-

вало, крепко руку жму». Конечно, память подводит, но оправдания в этом нет. Ведь и в снах, которые тоже своеобразная служба памяти, подчиняющая себе человека, открываются нравственные мотивы его поступков. Тут человек не властен в воспоминаниях: не прогонишь неугодные, не вызовешь волею приятные. И что ж, «приходит пробуждение – стыжусь себя: я был самим собой» («Сны»).

А. Яшин современен в самом своем пафосе, в настойчивом поиске нравственных истин, хотя стихи его, казалось бы, лишены внешних примет современности. Вся его поэзия последних лет – это тоска о добрых временах и хороших людях, свойственная, наверное, подлинной поэзии всех времен.

Одно из стихотворений так и называется – «О погожих днях и хороших людях». Это как разговор с близким другом, перед которым не надо кричать о своих болях и бить кулаком в грудь. Да, бывает так, что и «сгибают неудачи, растерянность душой овладевает...» Спасает поэта в эти трудные минуты воспоминание о днях погожих, которых – конечно же! – «больше, чем промозглых дней». Спокойнее делается и от сознания того, что людей хороших, «с чистой совестью бойцов» на планете больше, «чем приспособленцев, чем карьеристов и самоснабженцев, бесстыжих болтунов и графоманов».

Ритмическая организация белого стиха выдает обнаженность и одновременно сдержанность чувства поэта, а нарочито рационалистическая четкость чередования периодов в композиции с силой передает ясность его мысли. В оптимистичности и нравственной силе этого стихотворения есть нечто родственное лиризму Сент-Экзюпери. Это ощущение необходимости связи людей, стремление обрести максимально короткие взаимодействия и быть готовым к ним.

Идя к людям, и от себя не уйти: «...живая правда живет и пробивает, как все живое, себе путь, как весенний зеленый росток среди хлама»¹. Важно только не остаться в полном одиночестве – из хлама тяжелых настроений одному не выбиться. Хотя кто об одиночестве не мечтает?.. «Мечтал один остаться. И остался...» – пишет А. Яшин в стихотворении «Об одиночестве». Остался, но того ли хотелось?

Опять никто ко мне не постучался,
За целый день никто не постучался!
Никто!
Никак!
Хотя б не в душу –
В дверь...

«Лишь бы из одиночества вырваться как-нибудь», – жаждет поэт в стихотворении «Перед исповедью». А выход? Только искренность перед ближ-

¹ Пришвин М. Незабудки, с. 279.

ними, честность и прямота: «...все, чем жил я, несу на ваш суд, не отвернитесь, милые, весь я тут». Избавиться от душевного хлама – «выговориться дочиста – что на костер шагнуть». Только чистым и открытым имеет человек право на доверие людей, тогда приходит к нему и его доля счастья.

3

В стихах Александра Яшина много тревоги, они нередко драматичны, не проходит поэт мимо страданий человеческих. Но не бежал он и радостей жизни, знал их и писал о них. Но они ли, однако, предел желаний... Что же в таком случае счастье вообще и можно ли говорить о достижимости счастья? Да, конечно; и хотя представления Яшина о счастье могут показаться противоречивыми, в них есть своя жизненная и поэтическая целесообразность.

Своеобразным ключиком оказывается стихотворение «Добру откроется сердце», которое зовет: взгляни на мир широко открытыми глазами, пусти его в душу, ощути его вживе – и ты поймешь, что такое полнота жизни. В нем А. Яшин вспоминает: «я с детства ходил без сапог». Пройтись по земле босиком теперь – как бы приобщиться к прошлому, очиститься: «все лишние электротоки берет из меня земля». С ними уходит в песок «все злое, дурное, вредное», остается же «лишь то, без чего ни веселья, ни счастья на людях нет». Поэтому заверяет поэт:

Мне просто необходимо
Босым по земле ходить,
Чтоб верить,
И быть любимым,
И самому любить, –

заверяет и других к тому же зовет, будучи уверен, что только тогда «добру откроется сердце и совесть будет чиста».

Не ново, конечно, уйти в мир природы, чтобы очиститься от житейской скверны. И современники А. Яшина немало писали об этом, например, Владимир Солоухин в стихотворении «Счастье»:

Неужели не счастье ходить по земле босиком,
Видеть белой ромашку,
А солнышко на небе красным,
И чтоб хлеб, а не писанный пряник,
Не заморским напитоком вином,
А коровьим парным молоком!

Счастье, да! – соглашается В. Солоухин. Но мечтателю мало такого счастья – от всего «он бежит по следам невозможного зверя». И поэт его понимает: «Ты ему не перечь. И мечтать ты ему не мешай».

Снова обращается он к прославлению простых радостей жизни в стихотворении «И вечный бой...» Они нам давно знакомы. «А если так, то что же нам осталось: твердить зады? Приятная усталость? Сомнительная радость повторенья? – задается поэт вопросом и отвечает: «...знаю я, что в Мире повторенья приходит людям радость предвкушенья» – только вся полнота жизни может составить счастье человека.

В. Солоухин рассуждает «о теме» в философском ключе. А. Яшину мало этого. Он замечает, что не всех почему-то радует красота жизни, безразличие непонятно поэту, когда мир так прекрасен: «Все в этом мире для человека, почему же он не понимает, как хорошо жить в лесу?» («Все для человека»). Сам поэт любит до боли свою землю:

Налюбуюсь ли на нарядную,
Ненаглядную землю-мать,
Непарадную,
Неоглядную?
Так всему в этом мире радуюсь,
Будто завтра его покидать.

(«Почему не удивляемся»)

Для Яшина уход к природе – не бегство от города и не единственная жизненная цель, скорее – средство. Вот захотел он «от возни на земле отрешиться», но уже скоро почувствовал, что это не стремление скрыться от людей, а желание не утратить главное, не разменяться на мелочи: «Только б не бесследно по земле ходить... Только бы простоев не зная душе». Ведь на лоне природы «доброе откроется сердце». Не успокоения ради идет поэт к природе – здесь лучше поймет он себя самого. Для людей.

«Что я за человек? Счастлив ли я?» – задумывается поэт («Счастлив ли я?»). Правдивый фильм или книга вызывают его слезы, как и людское горе: значит, заключает поэт, «сердце мое не зачерствело, душа у меня живая, я – человек». Он работает до иступления, до слез и верит: «есть и во мне искра божья, не зря меня кормит народ своим хлебом». И все-таки спокойствия и уверенности в себе не прибавляется – без общественного признания нет полноты счастья:

Но плачет ли кто-нибудь
над моими книгами?
Счастлив ли я?

Трудное в своей искренности раздумье об общественном предназначении выражает страстное желание поэта верить, что его понимают, что его работа крайне необходима людям. (Отсюда, наверное, и признание: «Я не знаю страшней мученья, коль пропадает к работе влеченья»). Поэт уверен, что такая необходимость возникает только в том

случае, если сам художник не утратил способность сопереживания, если он не безразличен к жизни других людей. А ужас безразличия он чувствовал до глубины души:

Страшно любить и быть нелюбимым,
Жить с людьми,
А слыть нелюдимым,
Страшно недруга боготворить,
Правдою клясться
И зло творить.

Поэт умеет будить в человеке нравственное чувство и так коснуться тончайших струн души, что они звучат сами ясно и выразительно. Эмоциональная напряженность дается поэту при полной самоотдаче, – он не боится перешагнуть через самого себя. Как это ни трудно, но к людям до конца честным приходит – «лишь бы было спасительное недовольство собою и затем искренность в своих стремлениях»¹. А самоуспокоенность никогда не была уделом Александра Яшина. «Туда ли плыву я? Так ли живу?» – мучается поэт («Переходный возраст»), сознавая себя «в долгу перед всеми». Тяжел этот долг...

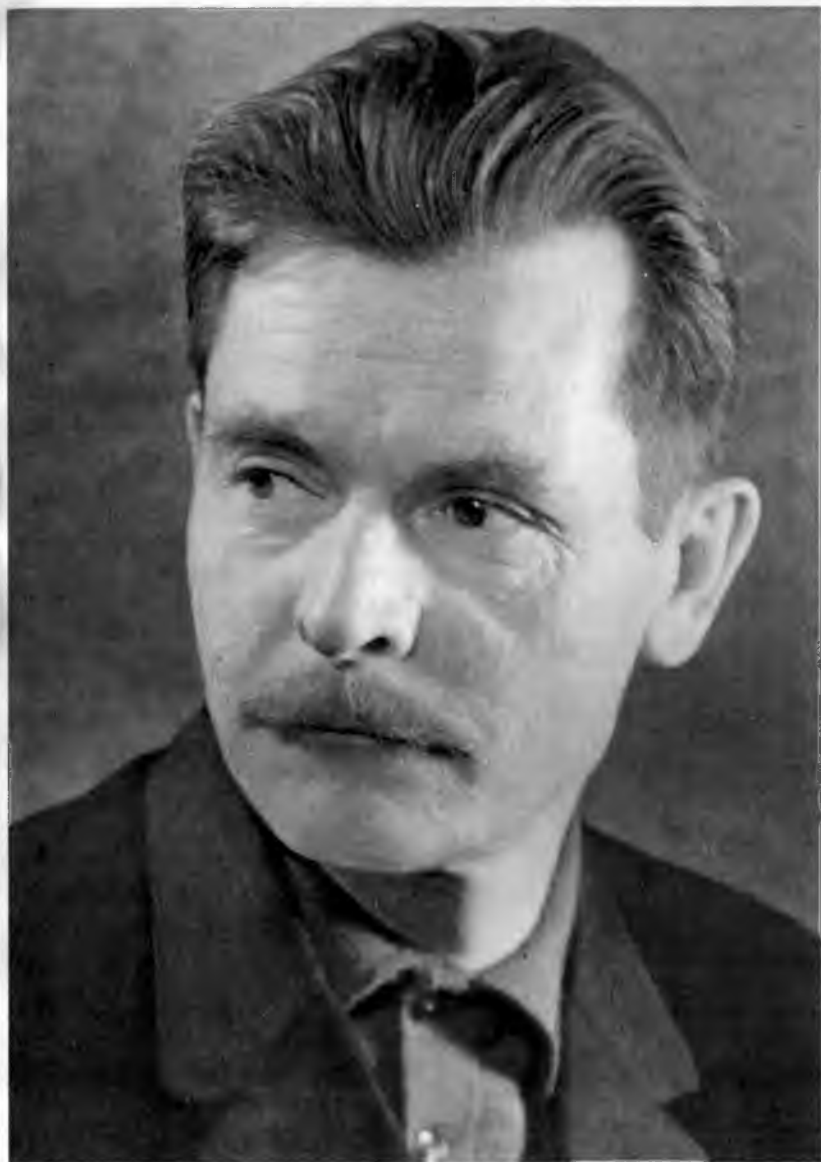
Чье сердце смягчил?
Кому подал руку?
Кому облегчил
Душевную муку?

Недовольство собою ведомо, скажем, и Василию Федорову. «Горько мне оттого, что еще никого на земле я не сделал счастливей», – пишет он в стихотворении «Совесть». Для обоих поэтов собственное счастье немислимо без блага, содеянного ради других людей.

А ведь было оно, счастье, когда-то... В стихотворении «Мы были молоды» А. Яшин со светлой грустью вспоминает юность: «В голоде, в холоде – все-таки счастливы», – но чем тогда счастливы-то были? Поэт поясняет, вспоминая, и это: тогда «честное слово равнялось присяге» и была незнакома роскошь; в неблагоустроенном мире они были деятельнее, отчего «самое-самое близким казалось». И как выражение цельности молодых людей 30-х годов, не знавших внутреннего разлада, «крови давление, сердца биение были нормальными на удивление». Зрелый поэт смотрит в свое прошлое, в прошлое своего поколения: «Ах, до чего же глупы и молоды!» Нет, это не пересмотр тогдашних представлений, иначе почему бы вдруг радостное умиление в голосе поэта... Выразил Яшин мысли зрелого человека о том, как непросто сохранить ощущение счастья, как непросто быть верным идеалам своей юности.

Вспоминая юность, А. Твардовский в стихотворении «На сеновале» пишет об ожидании счастья, которое казалось так легко достижимым.

¹ Ухтомский А. Письма, с. 255.



А. Я. Яшин



В. Каплин, мать А. Я. Яшина, А. Я. Яшин, В. А. Оботуров



А. Я. Яшин на родине. Середина 60-х годов



А. Я. Яшин и В. В. Дементьев на совещании молодых литераторов.
Вологда, 1964 год



А. Я. Яшин с Александром Романовым и Василием Беловым



Памятник А. Я. Яшину. Скульптор М. В. Таратынов

Что проще может быть:
 Не лгать,
 Не трусить,
 Верным быть народу,
 Любить родную землю-мать,
 Чтоб за нее в огонь и в воду.
 А если –
 То и жизнь отдать.

«Что проще!» – думалось юноше тогда, но и «что сложнее?» – размышляет теперь поседевший уже человек...

Может быть, потому и тянет поэтов в страну Детства и Юности, что там обрели они когда-то четкие нравственные представления, сохранить которые потом в житейских сложностях бывает не так-то просто. В стихотворении «Обнова» А. Яшин радуется домику на Бобришном угоре, с которым «детство и юность – рядом». И, кажется, приходит желанная ясность:

Некуда больше рваться.
 Не о чем тосковать,
 С матерью буду встречаться,
 С пением птиц просыпаться,
 Жить, как учила мать...

То была добрая, хотя подчас и жесткая наука. В стихотворении «Меня добру учила вся родня» поэт вспоминает, как мать требует: «Живи по чести, с совестью в согласье!.. – Она хотела, чтобы сын был счастливым». Помнится, как и «дед за неправду взыскивал с пристрастием». Почему Яшин написал такое стихотворение? Был какой-то повод, о котором поэт не говорит, был какой-то разлад. Мы о нем не узнаем определенно, но почувствуем, что требования, предъявленные поэту, пошли вразрез с дорогими ему нравственными уроками прошлого. Напомнив о них, Яшин кончает стихотворение горьким недоуменным вопросом: «А ты? Чего ты хочешь от меня? За что, родимая, казнишь меня?»

Делать добро – один из главных уроков, полученных Александром Яшиным в школе народной нравственности. Служение поэзии без таких уроков теряет смысл. «Добро само по себе неказисто на вид и убеждает нас только, если освежит его красота, – писал М. Пришвин. – Дело художника – это, минуя соблазн красивого зла, сделать красоту солнцем добра»¹. Сделать красоту солнцем добра – мечта едва ли не каждого поэта. Счастье по Николаю Асееву – прежде всего «соучастие в добрых человеческих делах»; по его мнению, «даже умереть не страшно... была бы только жизнь твоя украшена сиянием каких-то добрых дел». Прямо ставит вопрос Вероника Тушнова в стихотворении «Счастье»: «Ты когда-нибудь сделал счастли-

¹ Пришвин М. Незабудки, с. 14.

вым другого?» – и ответ ее категоричен и недвусмыслен: если нет – «счастья в жизни узнать тебе не довелось!» Утверждением добра привлекательно и стихотворение Эдуардаса Межелайтиса «У памятника гениям». «В людей вложить такое сердце надо, чтоб было зло добром отражено», – пишет он. Каждый из поэтов находит свои грани в этой благодарной теме.

Как критерий истинности патриотических чувств человека понимает деятельное добро Александр Яшин («Твоя родина»). Гражданственность позиции поэта проявляется здесь во всей очевидности. Конечно же, он совсем не против того, чтобы воспевать красоту родины. Он и сам написал немало отличных стихов «о родине, о речках, о березках». Но история родины и судьбы людей на ее исторических путях зовут беречь человека – это понял поэт в потрясениях, которые пережил он сам, и настойчиво внушает своему читателю. Слова о любви и доброте – просто слова – Александра Яшина не устраивают, он зовет к деятельному добру: «спеши... помочь... Спешите на выручку, других зови, – пусть не найдется душ глухих и жестких!» При этом и к себе предъявляет поэт крайние требования, не щадит себя – прямота свойственна лирике Яшина во всем.

«А не перехлестнул ли поэт в своей навязчивой идее самобичевания?» – пишет Василий Федоров по поводу стихотворения «Не верю, что звери не говорят...» и попрекает: «не следует забывать, что добрые дела подчас требуют суровости»¹. Выходит, «добро должно быть с кулаками», как писал один поэт? Нет необходимости выступать в защиту смиренности, в которой Яшин неповинен (Яшин – и вдруг – смиренный!). Но много ли радости нашел бы Василий Федоров от такого «добра», когда взывал о помощи: «Смахните только пот со лба, чтоб стала мне видна дорога» («Я уеду»), – только уехать и оставалось, да разве ж это выход...

По-разному развивается идея деятельного добра как условия для счастья во многих стихах Александра Яшина, определяя нравственный смысл его творчества. Ею продиктовано и широко известное стихотворение «Спешите делать добрые дела». Биографическое по содержанию, оно исполнено большой человеческой тоски о несвершенном: «мечтал о многом, много обещал...» Среди этих многих и отчим, и бездомная бабушка в родном селе, и старик в ленинградской блокаде, да и только ли они! Но все что-то мешало: то на день опоздал, на день, «которого не возвратят века», то еще какие-то причины были. А может быть, и не причины вовсе? И теперь...

Теперь прошел я тысячи дорог –
Купить воз хлеба, дом срубить бы мог...
Нет отчима,
И бабка умерла...
Спешите делать добрые дела!

¹ Федоров В. Наше время такое... М., «Современник», 1973, с. 425–426.

Этот призыв А. Яшина стал лейтмотивом его поэзии в последнее десятилетие. Поэт и на примере собственного житейского опыта – этим стихи более всего и убедительны – предостерегает от запоздалых раскаяний. Ведь так немного надо для душевного равновесия – вовремя успеть сделать для людей все, что в твоих силах.

Представления Александра Яшина о счастье при этом все-таки отличаются максимализмом, но как лишь предъявление себе самых высоких требований. Есть в судьбе каждого человека, полагает поэт, своя ВМТ – Верхняя Мертвая Точка. У спортсменов это миг наивысшей слабости, предвещающий прилив новых сил. К ней и стремится человек. Но для поэта и ВМТ не представляет желанного предела:

Чтобы жить,
Я хочу одолеть свою слабость,
Свою ВМТ,
Уйти от равновесия,
Даже если в нем мое счастье.

Так что же, чтобы достигнуть счастья, надо счастье преодолеть? Да, лишь бы не знать убивающей живую душу самоуспокоенности. С тревожным вниманием и сердечным участием относился Александр Яшин ко всему в жизни – это в конце концов и было его счастьем. Потому переживший немало лишений и бед зрелый поэт трезво оценивал свою судьбу с полной мерою ответственности за содеянное им на земле:

Может, и надо мною
Та же беда разразится.
Что ж, не стою за ценою,
Не собираюсь рядиться.
Не попрошу об участие,
Пожил в свою охоту,
Был ко всему причастен
И расплачусь за счастье
По самому крупному счету.

4

Особая страница в творчестве Александра Яшина последних лет, как бы сконденсировавшая весь накал поэтической страсти, – его любовная лирика. Открыто, с обнаженным сердцем идет он навстречу своей любви; в теме для поэзии вечной с особенной ясностью проявляется личность поэта. Жизнь любви для него – не уход в узкий интимный мирок, в ней видел Яшин нечто очень существенное для человека и был совершенно прав. В острой противоречивости интимных переживаний Яшин с душевной зоркостью различает черты подлинной человечности в одних случаях и бездушия – в других.

Думается, нет необходимости доискиваться истоков, питающих чувство поэта, – творчество его еще не есть предмет той истории литературы, которая каждую строку «увязывает» с биографией. «Истинная поэзия автобиографична лишь в отправной точке, – справедливо замечал С. Наровчатов, – дальше она свободна в своих обобщениях»¹. И нам важны только смысл любовной лирики Яшина и суть лирического характера, отраженного в ней.

Нравственно чуткая, совестливая личность нам открывается в стихотворении «О чужой душе». Двое не поняли друг друга: «Я ничего не хотел от вас», – заявляет лирический герой, но что могла желать она, – об этом он не думает, потому что только себя имеет в виду. И остаются ему на долю оправдания: «Я не хотел причинить вам зло и – невдомек, что мог». Но раз понята ошибка, в душе рождается острое чувство вины и принимается жесткое, нравственное обоснованное решение:

Я от тревог искал уголок,
 Душу свою храня,
 А о чужой – невдогад,
 Невдомек...
 Пусть же отныне ваш огонек
 Потухнет для меня.

Поэт сурово судит себя, ведь ему самому введома тоска по хорошему, крайне необходимому человеку. Той, с которой «еще мы просто не повстречались», посвящено стихотворение «Скорые поезда». Даже не важно, какой эта женщина будет, главное – «не чужая».

А ведь, наверно, ты где-то есть?
 И не чужая –
 Моя...
 Но какая?
 Красивая?
 Добрая?
 Может, злая?
 Живешь, наверно, меня ожидая,
 А повстречаемся ль мы, бог весть!..

Жажда полного непосредственного взаимопонимания – вот главный нерв этого стихотворения. И когда любовь приходит, поэт полностью доверяется чувству, безраздельно живет им: «Сколько женщин в жизни встречалось – вижу только одну» («Мир из огня»). За его чувством – богатая гамма переживаний: любовь как надеж-

¹ Наровчатов С. Избр. произв. в 2 т., т. 2. М., «Худож. лит.», 1972, с.34.

да на творческий подъем («может, прорежется новое зренье?»), любовь как борение, как напасть, требующая напряжения всех сил (человек, который под пулями выдюжил, усомнился: «Выживу ли»), любовь как ответственность («как обо всем об этом сказать? Что ни скажу – солгу...»). Как «самое невиданное чудо, как жизни человеческая суть» предстает любовь, например, и в стихах Михаила Дудина. В ней находит он больше гармоничности, чем Яшин, но высокое чувство захватывает и его целиком и полностью.

Нет, мне тебя единожды любить,
 Как любят жизнь. И уходить по следу.
 И, даже не надеясь на победу,
 Во всем живой твой облик находить.

Такой силы страсть – не на день, не на год: «Мне суждено всей силой горькой жажды, огнем любви, ее дыханьем каждым хранить тебя наперекор годам», – пишет М. Дудин. Зная властную силу любви («не любить – не жить, не вдохновляться и не волноваться»), Яшин в стихотворении «Боюсь любви» говорит, тем не менее, о сложной противоречивости чувства, какая Дудину, кажется, неизвестна. Нет таких сил, чтобы избавиться от наваждения всепоглощающего чувства, но и дилемма: «звать к примирению, а встреч бояться» – решению не поддается. Почему? «Тебя ли мне, недобрую, не знать?» – обмолвился поэт, и его обмолвка все объясняет. И все-таки А. Яшин живет искренней благодарностью за дарованное ему счастье любви.

Даже недоброта любимой воспринимается поэтом как крест божий, а о ее вине он и мысли не допускает, как бы забывая о себе. А вот, скажем, лирического героя Василия Федорова больше занимает своя особа – хочет он свои хозяйские права чувствовать. Потому он досадует: «У моей любви, у страсти, больше нет над тобою власти»; он недоумевает: «Так неужель в ней не осталось ни капли моего вина?»; он осуждает женщину, даже оговорившись: «я не очень ее, пугливую, виню...», когда она уходит, потому что ей было бы «страшно стать вдовой». И о любви ли речь-то идет в этих случаях?.. Любовь ушла – ведь это же не основание для расчетов, а драма!

Представьте, что было бы с лирическим героем Бориса Ручьева, потеряй он свою любовь... «...Я все перенесу, куда ты в глазах неугасима и так близка мне в снах и наяву», – говорит он. Образ памяти о женщине (только памяти!) в «Красном солнышке» помогает выстоять в лишениях и нечеловечески тяжком труде ему, «на героев вовсе не похожему». От характера лирического героя идет замкнутость интимного чувства, нежелание «выдавать друг другу боль свою, кручинушку свою». Она, эта боль, даже за грубые байки спрячется. Но наперекор им волнение поэта прорывает замкнутость и, как самое святое, Ручьев выдает тайное тайных:

ее стремление оправдать любимого: «Но, может быть, ты аукал, да я не слыхала – лес!»

Заметим, Яшин в этом стихотворении, как обычно и в других, передает настроение, не уделяя внимания подробностям, – они собственность только двоих и должны остаться личной тайной. А характер страсти содержит смысл общезначимый, и здесь Яшин открыт и откровенен до конца. Такой контраст во многом определяет своеобразие и привлекательность любовной лирики поэта: страстность чувств и мужественная сдержанность рассказа о них...

Цикл «Ночная уха» посвящен той, что в мир иной ушла раньше поэта, и к ней он сохранил до конца чувство высокой и нежной любви:

Ты теперь от меня никуда,
И никто над душой не властен,
До того устойчиво счастье,
Что любая беда – не беда.

Здесь говорит само горе, но разве вечность любви принизится горем?! Не потому ли дороги нам и помнятся стихи А. Фета, навеянные кончиной Лазич: «Хоть жизнь без тебя суждено мне влачить, но мы вместе с тобой, нас нельзя разлучить» («Alter ego») – стихи, в которых способен поэт преодолеть непреодолимое:

Очей тех нет – и мне не страшны гробы,
Завидно мне безмолвие твое,
И, не судя ни тупости, ни злобы,
Скорей, скорей в твое небытие!

(«Ты отстрадала, я еще страдаю...»)

Казалось бы, отрешенности Фета близка настроенность стихотворения А. Яшина «Ночная уха». Но нет, у него не отрешенность от мира: живая человеческая душа, не смирившаяся с утратой близкого, дорогого ей человека, сильно, мощно бьется в стихах, только по видимости спокойных. И грезится, что пришла она, мешается быль («давай уху варить. Поужинаем плотно, я выпил бы охотно, чего греха таить...») и небыль («Вахтером в час ночной у вас там Петр иль Павел?»). Отсюда возникает мрачноватый юмор безысходности и острейшее сознание непримиримости со смертью («Мне сроду не понять, что ты уже бесплотна...»).

Снова и снова обращается поэт к любимой: «Воскресни, воскресни!» – зовет он настойчиво. «Хоть утром, хоть ночью... явись, когда хочешь... хоть в саване белом, хоть в платье...» – заклинает Яшин, нагнетая. Приди, зовет он: «не отрецусь оробело и не сойду с ума». Поэт готов переступить последнюю границу между жизнью и смертью во власти своего неизбывного чувства:

Воскресни!
 Воскресни!
 Сломалась моя судьба.
 Померкли,
 Поникли
 Все радости без тебя.

Пред всем преклоняюсь,
 Чем раньше не дорожил.
 Воскресни!
 Я каюсь,
 Что робко любил и жил.

Утрата слишком значительна, чтобы поэт мог не думать о ней, не думать о себе. И есть в стихах А. Яшина о последней любви дыхание высокой трагедии, осветившее стихи «денисьевского цикла» Ф. Тютчева, есть и сходство в настроениях, их породивших. «Только при ней и для нее я был личностью, – писал Ф. И. Тютчев, – только в ее любви, в ее беспредельной ко мне любви я признавал себя...»¹. И насколько полно и глубоко было чувство, владевшее А. Яшиным, настолько сильна и боль утраты, воплотившаяся в его стихах.

Горькую памятью оживают черты духовного облика утраченной подруги с ее беспечной верой и душевной силой, способной справиться с любым горем. Она из тех, что готовы, коль надо, пройти «по пояс в звездном сухом снегу, через тайгу, через полюс, в льды, через «не могу». Ей под силу и не столь высокий, но не менее трудный подвиг – «дежурить, коль надо, месяц в ногах без сна». И все это – не ожидая награды, без чувства жертвенности, только «радуясь, что нужна». Вот почему так тяжела утрата:

С горем не в силу справиться,
 В голос реву,
 Зову...

Утрата любви для Александра Яшина – это утрата и духовного и деятельного начала, тут проявились его серьезнейшие представления о самом интимном в отношениях людей. «...Любовь сама по себе есть величайшее счастье изо всех доступных человеку, – писал А. Ухтомский, – но сама по себе она не наслаждение, не успокоение, а величайшее из обязательств человека, мобилизующее все его мировые задачи как существа посреди мира».²

Не наслаждения и успокоения искал в любви Александр Яшин. Высокая страсть поэта возбуждала все его духовные силы, звала к творчеству – его единственному обязательству в этой жизни, к которому относился он с глубочайшей ответственностью. Вот потому

¹ Чулков Г. И. Последняя любовь Тютчева. М 1928, с. 56.

² Ухтомский А. Письма, с. 259.

снова и снова в его стихах разных лет звучит мечта о любви: «Пусть – безответно, только бы любить», а рядом как равнозначное: «Только бы просто не знать душе»; и опять: «Очень хочется полюбить безответственно, безрасудно», – ради чего? – «Чтобы жизнь не текла напрасно» («Аэлига»). Как самого высокого блага, обращаясь к стране гор в стихотворении «Просьба», поэт просит, вспоминая Нину Чавчавадзе: «Подари мне верную Нину». Верность близкого человека, способного тебя понимать и тем самым открывающего дорогу к другим людям, – что может быть дороже для поэта...

Оборванная на полуслове, последняя глава поэзии Александра Яшина поражает зоркостью его видения, непреходящей любовью ко всему живому, привлекает его призывом к людям: «Спешите делать добрые дела!» В нем видел поэт назначение человека и выражал свои гражданские позиции. «В гражданственности, – писал Ярослав Смеляков, – выражается весь социальный опыт автора, выражается степень его связи с народом»¹. Лирическая позиция А. Яшина прочна тем, что поэт, осваивая нравственный опыт народа, ценит его душевное здоровье, мудрость и спокойную силу. И не только ценит, но видит и показывает в современном социальном укладе.

В собственном отношении к своему жизненному предназначению А. Яшин отражает народный взгляд, созвучный тому, что с ясной простотой заявлен в одном из последних стихотворений А. Твардовского:

К обидам горьким собственной персоны
Не призывать участия добрых душ.
Жить, как живешь, своей страдой бессонной.
Взялся за гуж – не говори: не дуж.

С тропы своей ни в чем не сступая,
Не отступая – быть самим собой.
Так со своей управиться судьбой,
Чтоб в ней себя нашла судьба любая
И чью-то душу отпустила боль.

Предельно искренний и честный, А. Яшин жил и работал стихами, утверждая среди людей отношения добра и человечности, не мирясь ни с чем, что есть еще в жизни темного, злого, своекорыстного. Читая произведения лучших писателей, вы, по словам А. П. Чехова, «кроме жизни, какая есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна быть, и это пленяет вас».² Предчувствием и утверждением гармонического строя чувств человека будущего звучит для нас и лирика Александра Яшина.

¹ Смеляков Я. Строй гражданской лиры. – Лит. Россия, 1966, 11 февр.

² Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем, т. 15. М., 1949, с. 446.

Сильный и сложный человек, Александр Яшин во всем искал совершенства и находил его: в лирике и прозе создал он своеобразные произведения, в которых проявилась его бескомпромиссная честность и правдивость. Человек мужественный, за два с половиной месяца до смерти написал он письмо в редакцию сборника «День поэзии, 1968» – удивительный документ взыскательной человеческой души:

«Трудно представить себе что-либо более печальное, чем подведение жизненных итогов человеком, который вдруг осознает, что он не сделал и сотой, и тысячной доли из того, что ему было положено сделать. Думать об этом необходимо с первых шагов литературной жизни. К сожалению, понимание этого к большинству из нашего брата приходит слишком поздно».

Каждый вправе и обязан судить сам себя по своим собственным меркам, и Яшин, наверное, прав, сожалея о несвершенном. В литературе он прокладывал дорогу идущим вослед, но его роль сказала не только стихами и прозой. Она проявлялась в той заботе, которой оделял он молодых. Писатели-вологжане ему особенно обязаны.

«В Вологде в 1949 г. создали Литературное объединение, – писал Яшин А. С. Ольхону, собиравшемуся в 1950 году переезжать в родной город. – Молодые силы там есть интересные, нужда в квалифицированной творческой помощи, в опытных кадрах очень велика. Возможно, туда приедет Н. Тощак... Я уверен, что Вологда скоро будет серьезным литературным центром, должна стать».¹ И хотя ни Ольхон, ни Тощак к себе на родину так и не вернулись, уверенность Яшина в будущем литературной Вологды все-таки оправдалась.

За успехами каждого из молодых земляков в литературе внимательно следил А. Яшин и умел гордиться их достижениями. В далекой Осетии в 1960 году вспомнит он и целиком прочтет стихотворение безвестного еще Бориса Чулкова «Зимняя песня» («Падает снег, падает. Снег без конца, без края...») и отметит в нем с удовлетворением «дыхание своего родного Севера» и, главное, «восторженную любовь к нему самого автора». Тут же он порадует за Александра Романова, который удачно «сравнил высокую мачтовую сосну с кирпичной заводской трубой, а крону сосны с зеленым дымком в поднебесьи, и неприхотливый северный пейзаж вокруг заиграл небывалыми красками». Что радует Яшина? – а то, что «новое все равно срывается даже в так называемые чисто лирические стихи».

Каждому А. Яшин сумел вовремя прийти на помощь. Сергей Викулов, пользуясь его советами, на даче у Яшина в Мичуринце завер-

¹ ЦГАЛИ, ф. 2183, д. 137, оп. 1, л.

шал книгу стихов «Заозерье» (1953), с которой он обрел известность. Николай Рубцов во дни житейской непогоды находил привет и уют в яшинской квартире на Лаврушинском. Борис Чулков с рекомендацией А. Я. Яшина вступал в Союз писателей... В судьбе любого из писателей-вологжан найдутся подобные штрихи.

Александр Яшин первым разглядел в опытах молодого еще Василия Белова задатки прозаика. И как он радовался, когда прочитал повесть «Привычное дело», по его словам, «простую и мудрую, трогательную до слез и глубоко правдивую». Яшин не боится слов высокой оценки и отмечает, что Белов «сумел увидеть в душе своих земляков такие лирические глубины, такую человеческую нежность и доброту, написал о близких своих с такой любовью, и состраданием, и радостью, что для сравнения на память приходят лучшие образцы нашей великой русской литературы».

Искренним признанием и уважением отвечали Александру Яшину земляки, молодые писатели. «...Мы сразу стали тише и взрослей», – негромко и с глубокой серьезностью сказал Н. Рубцов в стихотворении «Последний парход», посвященном памяти поэта. Смерть А. Яшина вызвала горькое смятение В. Коротаева: «Кому теперь звонить, и верить, и опереться на кого?» – писал он. Дело не в том, что они лишились поддержки в литературных делах – каждый уже и сам прочно стоял на ногах. Трагический смысл потери с особенной ясностью открывается, когда читаешь строки Василия Белова, обращенные к самому Яшину еще при его жизни:

«Выстоять, не согнуться учусь у тебя. Пока есть ты, мне легче жить. А ты? У кого учишься ты, кто или что твоя опора? Я знаю: быть честным – это та роскошь, которую может позволить себе только сильный человек, но ведь сила эта не берется из ничего, ей надо чем-то питаться. Мне легче, я питаюсь твоим, живым примером, примером людей твоего типа. У тебя же нет такой живой опоры. И я знаю, как тяжело тебе жить...» («Бобришный угор»).

Не только писатели-земляки считали Александра Яшина такой надежной опорой. Слова самого глубокого признания и уважения посвятил ему Анатолий Передрев:

Вы только правдой
В мире дорожили,
И говор Ваш,
И выговор,
И стать
Лишь одному призванию
Служили –
Все на земле
По имени назвать.

Вы шли открыто,
Напрямик спешили...

Но многие ль
Сумели подсмотреть,
Что на земле
Как человек Вы жили
И как поэт
Предчувствовали смерть...

И все-таки – многие...

Творческое поведение Александра Яшина – это живой и памятный урок гражданского служения народу. И потому его письмо к друзьям в литературе, адресованное в «День поэзии», воспринимается как завещание мастера: «Писать надо, друзья мои! Писать о том, о чем хочется и как хочется, и только так писать, как можно полнее. Высказывать себя, свое представление о жизни, свое понимание ее, и, конечно, как можно правдивее – правдивее настолько, насколько позволяет собственный характер и уважение к своему человеческому достоинству. Лишь в этом случае можно быть счастливым и достичь в литературе чего-то своего, не изменив ее великим традициям...».

«Неповторимое, как чудо», 1978



ВАСИЛИЙ
СМОУРОВ

КОСТРЫ
НА ВЕТРУ



Северо-Западное
книжное издательство
АРХАНГЕЛЬСК

1982





ПО ОГНЕННОМУ ЗНАКУ

ФРОНТОВАЯ ЛИРИКА
СЕРГЕЯ ОРЛОВА



– Говорит Москва! Говорит Москва...

В тот день, 22 июня 1941 года, столица сообщила скорбную весть о внезапном нападении фашистской Германии.

Полнозвучный бас Левитана прогремел сразу на всю необъятную страну, взывая к долгу и мужеству ее граждан. Потянулись непривычные очереди – в военкоматы. В них стояли бывалые солдаты и безусые юнцы. Стояли, чтобы вскоре надеть походные шинели, погрузиться в вагоны и – в пекло, навстречу грозной опасности. И, объединяя их порыв, звучала суровая и мужественная песня, родившаяся тогда же, в самые первые дни войны:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.

Сразу осознанная как освободительная и Отечественная, война подняла на защиту Родины весь народ.

1

Нужно ли говорить, что сразу всей своей тяжестью война легла прежде всего на плечи двадцатилетних. Родившиеся вскоре после гражданской войны, совсем молодые люди, они были свидетелями коренного перелома в истории, – ими начиналось новое общество в его первом поколении... Они чувствовали себя необходимыми в новом мире и потому обладали азартной активностью.

«Юноши военного призыва тех лет психологически были готовы к смертельной схватке с фашизмом». Они ощущали свою судьбу сознательно. Для них «идеалы юности отцов, совершивших революцию, нисколько не померкли после того, как на их долю выпали суровые испытания»¹.

Еще только вступающие в жизнь, доверчиво открытые навстречу добру, любви и свету, не познавшие радостей приобщения к созидательному труду старших, вчерашние школьники шагнули на передовую, не зная сомнений. Они пошли навстречу смерти, понимая опасность, которая им грозила, сознавая святую цель, ради которой надо рисковать жизнью.

Движения души, владевшие всеми помыслами молодых фронтовиков, были не рефлексивными, но деятельными. Они видели сожженные села и разрушенные города, познали горечь отступления и боль за поруганных. Мстить врагу всеми силами и сверх сил – другого выбора для них и быть не могло. Как бы трудно ни давалась главная цель, они последовательно бились за нее.

Подняться в атаку и пережить напряженную схватку с врагом стоит немалых душевных и физических сил, и таких моментов немало на счету у любого солдата. А длительные труды да рытье окопов и возведение оборонительных сооружений под огнем и бомбежкой врага, а похороны павших друзей-однополчан... Такова обыденность солдатского существования возле самой смерти, на переднем крае, – изо дня в день, из года в год.

Ежедневный изнурительный труд и преодоление страха смерти – во имя жизни, так необходимой Родине и близким, – ведь только живой солдат способен принести избавление от нашествия фашистской нечисти. Заметим, противоречие жизни и смерти – видимое, хотя это и не снимает трагического смысла войны. А за видимым противоречием – такое реальное свойство целого поколения молодых защитников Родины, как нравственная цельность.

Говоря о героях своего романа «Молодая гвардия», Александр Фадеев отмечал как самое главное: «В характере этих юношей и девушек, в большинстве своем отдавших жизнь за Родину, меня вдохновила та необыкновенная духовная цельность и моральная чистота, которые могут быть свойственны только людям, облагороженным подлинно великой идеей»². Таково было целое поколение воюющего народа, и таким запечатлели его в поэзии молодые поэты-фронтовики.

«Сороковые-фронтовые» оставили неизгладимый след в истории нашего Отечества, в каждой судьбе. А что касается судеб поэтических – тут мы видим формирование множества поэтов. «Было бы неверным сказать, – справедливо писал Михаил Дудин, – что Великая Отечественная война дала нашей поэзии блистательную плеяду ровесников

¹ Орлов С. Наедине с тобою. М., Современник, 1978, стр. 104-105.

² Фадеев А. За тридцать лет. М., Сов. писатель, 1957, стр. 322.

Сергея Орлова, таких как Сергей Наровчатов, Семен Гудзенко, Георгий Суворов, Александр Межиров, Мустай Карим, Кайсын Кулиев, Михаил Луконин. Нет, они стали поэтами вопреки войне...»¹. В боевой обстановке ничем не выделенные из среды своих однополчан, они тогда были известны в узком кругу фронтового братства, слава пришла к ним позднее.

Оставив детство и юность за мирным порогом, по словам их сверстника Юрия Бондарева, «мальчики эти, не имея опыта жизненного, за четыре года накопили до предела, до перенасыщенности опыт душевный».² Их формирование началось в суровых фронтовых условиях, когда «проклятая война и души и тела топтала» (А. Межиров). Тогда «вопреки войне» и определился строй гражданской лиры молодых поэтов-фронтовиков. Их различия свидетельствуют о неистощимой талантливости нашего народа, но и сходство их – разительно.

Исход любой войны, как известно, зависит от ответственности целого поколения сражающегося народа, а жизнь в поэзии, казалось бы, – дело индивидуальной совести писателя. Но и в литературу молодые писатели, вернувшись с переднего края, принесли чувство коллективной ответственности. Не потому ли, когда говорят о поколениях в искусстве, – о любом другом, кроме фронтового, – это выглядит натяжкой?.. Только они, писатели-солдаты, целым поколением воевали на фронте и, сохранив единство, вошли в литературу, по праву занимая сейчас главные позиции.

С точки зрения будущего историка, как представляет себе Юрий Бондарев, нелегко будет понять определение «писатели-солдаты», заключающее в себе взаимоисключающие, казалось бы, критерии. Сам фронтовик и большой писатель, видя в этом «противоречии» единство, скрепленное гуманизмом высшей пробы, он пишет:

«Неужели эти люди самой мирной профессии, которая всегда вызывает представление о постоянной тишине, книжных шкафах, письменном столе, безмятежно мирном свете настольной лампы, не гаснущей за полночь, эти люди, как один, с решимостью стали солдатами? И неужели пальцы их, привыкшие с любовью держать книгу, в начале сороковых годов XX века с ненавистью сжимали пулеметные гашетки, твердую ложку автомата, обгрызенный карандаш над потертым, обмытым дождями и темным от окопной грязи блокнотом?..

Да, эти люди, сама духовная сущность которых – мечтать, думать о счастье людей, делать их лучше, чище, благороднее, защищали это счастье, убивая смерть во имя жизни.

Многие из них не вернулись после мая 1945 года...»³.

Не вернулись многие, а для тех, кто остался жив, война стала и вехой, и мерой народного подвига и в чем-то очень существенном опре-

¹ Дудин М. Цикламены на цоколе. М., Сов. Россия, 1967, стр. 64-65.

² Бондарев Ю. Поиск истины. М., Современник, 1976, стр. 152.

³ Бондарев Ю. Поиск истины, стр. 174.

делила само поэтическое зрение. «Я все вижу через блокаду, у меня другого видения, наверное, и не может быть...»¹ – говорил Михаил Дудин в одном из своих интервью. Нет, не случайны и слова Сергея Орлова, сказанные еще в конце войны: «Я, может быть, какой-нибудь эпитет – и тот нашел в воронке под огнем».

«Общность жизненного опыта отнюдь не стерла своеобразие художественной наблюдательности каждого из поэтов», – писал П. Выходцев. По словам исследователя, поэты-фронтовики «стремились не только показать пути формирования молодого героя в жестоких испытаниях, но и передать в чертах людей своего поколения коренные качества советского человека»². На этом пути они достигли и значительных достижений, и выразительного многообразия.

Стихи, «добытые» на войне молодыми поэтами-фронтовиками в ратном труде вместе со своими сверстниками, стали выражением их мироощущения. В этом отношении исчезает противоположность понятий «личное» и «народное», – так бывает в периоды огромных национальных потрясений.

«Что такое народ, народность, народное мировоззрение?» – задавался вопросом Л. Н. Толстой и, снимая все теоретические домыслы, возвращался в ответе к первоначальному исходному значению, в свою очередь и его полемически осмысливая: «Это не что иное, как мое мнение с прибавлением моего предположения о том, что это мое мнение разделяется большинством русских людей»³.

В обычных условиях такие мнения с неизбежностью очень значительно расходятся между собой: Лев Толстой не случайно издевается над субъективизмом теоретиков, чуждых народу. На войне Отечественной одно бесспорное мнение «разделяется большинством русских людей», – и это стало мощным источником, питающим народность поэзии 1941–1945 годов. Более того, сама память о войне становится для поэтов-фронтовиков мерилем совести перед живыми и павшими, а поэт – звеном между ними.

Знакомую для многих окопников ситуацию воссоздает поэт Владимир Жуков в стихотворении «Осколок». Он о себе напоминает поэту уже более тридцати лет, этот «осумковавшийся» в живом теле осколок. Пусть он, по мнению поэта, «пустяковый», и война «полузабылась», – а ведь все могло быть совершенно иначе, – осколок становится символом судьбы поколения и самого поэта. Он – и с теми, кто погиб, и с теми, кто живет ныне.

Ужель и правда: вместо звеньев
до срока рухнувших связных
кому-то надо в поколенья
жить среди мертвых и живых?

¹ Помазнева В. Полюсы Михаила Дудина. Лит. газета, 1978, 23 августа.

² Выходцев П. Поэты и время. М., Худож. литература, Л., 1967, с. 238.

³ Толстой Л. Н. Собр. соч. в 20 томах. М., Худож. литература, 1965, т. 17, с. 533.

С каждым годом редуют ряды тех, кому выпало много или мало «жить среди мертвых и живых», одновременно утверждая в поэзии подвиг своих юных сверстников и вечную связь поколений.

Один из них – Сергей Сергеевич Орлов (1921-1977), русский поэт-танкист. Он «был символом своего поколения, огненной заглавной буквой книги о его судьбе»¹, – пишет Николай Шундик. Мнение это обязывающее, но бесспорно подтвержденное многими фронтовиками. А значит, и личность Сергея Орлова, воплотившаяся в его стихах, достойна самого пристального и уважительного внимания.

2

Фронтовая страница жизненного пути Сергея Орлова почти легендарна, и творимой легендой прорисовывается судьба его стихов военной поры...

...Как и многие, двадцатилетний студент-филолог добровольцем уходит на фронт.

По следам горячих событий складывается стихотворение «Октябрь 1941 года». В нем С. Орлов выражает уверенность в своем предназначении: «Когда-нибудь я расскажу об этом, о времени жестоком, о войне». Конечно же, свой личный удел не дано знать никому, но «пусть я миную смертные тенета», – высказывает свою надежду молодой поэт. Он готов принять во имя Родины и смертный исход, но верит, верит, что через года «придут другие люди, легка им будет молодая жизнь», но и они будут обязаны знать и помнить о жертвах поколения сороковых: «Да будет проклят тот, кто позабудет, что нашей кровью был залит фашизм!» Конечно, риторика здесь формально не преодолена, но в ней точно выражено умонастроение фронтовиков, целого поколения и его самого, молодого поэта:

А я желаю для себя немного:
Лишь мужества, чтобы идти вперед,
И чтоб дошел по всем путям-дорогам
К далеким дням вот этот мой блокнот...

И он дошел, этот блокнот в мягкой зеленой обложке, сшитый сверху двумя скрепками, заполненный торопливыми строчками, которые писались карандашом. Как обычно, есть в нем запись (при этом дважды повторенная), сообщающая единственно обязательный адрес, адрес матери поэта – Екатерины Яковлевны – город Белозерск...

Молодому человеку, оказавшемуся далеко от отчего края, от своих родных, в непривычных для него суровых условиях так естественно обратиться памятью к недавнему прошлому, уютному, тихому, ласковому. И у Сергея Орлова в первые месяцы войны сложилось нема-

¹ Шундик Н. Неизбежность второго открытия. Наш современник, 1979, № 8, с. 94.

ло таких стихотворений, отражающих его настроения, созвучных переживаниям его сверстников на боевых путях.

Вот вспомнилось: «Как на родине?» – и началось стихотворение, и потекло неторопливо, развертывая ленту памяти: «...Осень. В скирдах рожь на полях, по-над золотом просек журавли в облаках...». Еще видится за стихами вдруг загрустивший озорной мальчишка-подросток, которому дано было поэтически видеть мир и облекать свои представления в звонкие, сочные образы. И тут он припомнит, что под валенками «снежок, как капуста, захрустит на ходу».

Но примечательно, что появляются метафоры, рожденные военной обстановкой: «Знамя алой рябины вынес ввысь косогор...». Еще бы, ведь «край любимый в тревоге, слезы в тихом дому» и «дали в рыжем дыму» потонули. И так необходимо складывается концовка, предопределяя едва ли не самый излюбленный на всем пути его творчества поэтический образ С. Орлова: «Как знамена, рябины нас зовут на войну».

Через год снова припомнилась, как, наверное, уже не однажды, та первая военная осень («Осень»). Крик далеких журавлей ожил в памяти, и представилось, как «погреться у костров рябины сошлись избушки деревень». Настроение сливается с обстановкой и в ней находит свое выражение: «Тоска, дожди, туман и слякоть» и даже ветры «как будто мир сошлись оплакать». И это как нельзя более соответствует минуте прощания, когда уже встал на путях красноватый эшелон, прощальные платки дымками и «мелькают в глубине вагонов шинели серые, штыки».

Война в ту пору захватила юношу всего целиком, и, наверное, казалось, что, кроме непривычных боевых будней, и нет ничего на свете, даже черты самой войны поначалу не различались. И только, может быть, долго маячил один образ, как ниточка, связывающая с былым, – женщина у переезда, что стоит, «подняв ко рту конец платка», в глазах которой – «благословение и древняя, как мир, тоска». И естественно рождается традиционное для русской поэзии олицетворение:

Ой вы, дороги верстовые
И деревеньки по холмам!
Не ты ли это, мать Россия,
Глядишь вослед своим сынам!

К этому времени Сергей Орлов уже освоился во фронтовой обстановке, побывал в боях, пережил первое ранение. Поздней осенью 1942 года юноша направлен в Челябинск, в танковую школу, отметив свой путь на восток короткими стихами: «Через края сосновых станций, спокойных рек, седых берез невидимую нить пространства мотал локтями паровоз...». О той поре в жизни поэта – немного свидетельств, но одно из них очень интересно.

«В холодном Челябинске, в запасном полку, – ах, какая зима была, как все обледенело! – в сорок первом, сорок втором году увидел я эту

книжку с красной фронтовой огненной обложкой цвета пожара. Она и называлась «Фронт»... Книжка Сергея Орлова, вышедшая тогда в Челябинске...

Мы были где-то рядом, в одной казарме. Может быть, даже на одном этаже, но в разных ротах. Я бы мог застать его там. Я мог бы даже встретить его там – одним из этих солдат в шлеме.

Мы были все одинаковы, в холодных танковых шлемах, в полушубках, у кого они были, в валенках и полушубках, вымазанных в тавоте и газойле.

Когда я приехал, он был еще в полку, но когда книжка вышла, он уже отправился с маршевой ротой. Кажется, командиром взвода танков¹.

Так пишет Василий Субботин, немногословно показывая обстановку, в которой проходила учеба будущих танкистов. Примечательно здесь, однако, упоминание книги стихов С. Орлова «Фронт», о которой, как правило, никто не говорит в статьях о творчестве поэта, и первой его книгой считается «Третья скорость». Как же так?..

А книга «Фронт», действительно, была, и подготовили ее для издания в Челябинске вдвоем поэт-дальневосточник С. Тельканов² и С. Орлов. Вышла она в 1942 году в «Челябгизе» тиражом десять тысяч экземпляров, крохотная, на двадцати четырех страницах. Конечно, теперь она уже – библиографическая редкость, и удивительно ли, что в связи с 1942 годом и этой книжкой Субботин упоминает стихотворение «Его зарыли в шар земной...», которое сам Орлов в прижизненных изданиях отмечал датой «июнь 1944». Здесь, видимо, произошла своего рода абберрация памяти, впрочем, вполне простибельная и объяснимая. Не исключено также, что и Сергей Орлов той своей книжки просто не видел...

И вот молодой танкист-поэт снова под Ленинградом, на Волховском фронте. Начинается жизнь «от атаки до атаки», в которой танкисты, люди в ребристых кирзовых шлемах и черных комбинезонах, накрепко связаны круговой порукой любви к Родине и ненависти к врагу. Иначе – не выжить. Дорог здесь мало, кругом болота, знаменитые Синявинские болота, танки проваливаются то в хляби непролазные, то в воронки... Грохот стоит в танке, от дыма и пороховой гари друг друга не видно, но есть уверенность – фронтовые побратимы рядом.

Молодой танкист-лейтенант жил общими для всех воинскими заботами, лишь одно отличало его: он не расставался с толстой ученической тетрадью, в которую мало-помалу записывались стихи, – но и эти стихи скоро стали общим достоянием однополчан. Будучи кор-

¹ Субботин В. Силуэты. М., 1973, стр. 89.

² Позже С. Тельканов опубликовал в Хабаровске книги стихов «Пути-дороги» (1948), «Знамя полка», поэма (1951), «Слово к друзьям» (1953).

респондентом армейской газеты, на Волховском фронте с Орловым познакомился Дмитрий Хренков. Он вспоминает:

«Небольшая рожица, вдоль и поперек исхлестанная артиллерийским огнем, просматривалась насквозь. Голые, с сорванными верхушками деревья напоминали театральные декорации.

Командиров танков мы не застали на месте. Вместе с механиками-водителями в эти короткие часы, оставшиеся до боя, они ползали по переднему краю, высматривали дорогу, по которой завтра предстояло повести машины...»¹.

Утром танкисты пошли в бой, а вечером хоронили погибших товарищей, – Сергея Орлова Дмитрий Хренков встретил только на другой день утром. Танкисты снова готовили машины к выходу на исходные позиции, и все-таки корреспондент увидел командира танка, его «простое открытое лицо русского паренька, перепачканное то ли маслом, то ли сажеей, с широким лбом, на котором прикипела прядь светлых, чуть с рыжиной волос»². Тогда же Хренков услышал впервые стихи Орлова: «Мы ребят хоронили в вечерний час...» («Карбусель»), – стихи о неотболевшем, о вчерашнем.

Они и рождались, стихи поэта-танкиста, в обжигающей близости с огнем и смертью, в трагических буднях войны, – потому они и вызывали живейший интерес фронтовых друзей. Но молодой поэт обладал и недожинным талантом, – это одним из первых оценил сотрудник армейской газеты, известный в Ленинграде критик Л. И. Левин. Талант, доставшийся скромному и совестливому пареньку с Белозерья, обладающему солдатским мужеством и выдержкой, брошенный в гущу фронтовой жизни, – он должен был отчеканить неумирающие строки, должен был!..

Уже тогда стихи молодого танкиста обращают на себя внимание. Как-то встретились фронтовики с гостями, поэтами из Ленинграда, и один из них, поэт Александр Прокофьев (в ту пору подполковник), рассказывал:

– Вчера мы заезжали в один тяжелый танковый полк. Народ там – молодец к молодцу. Биты и стреляны. Видели мы там одного лейтенантика, розовощекого, застенчивого и в высшей степени интеллигентного. В мирное время такой человек мухи не обидит... Удивительно, как меняется человек на войне! Поразил нас этот лейтенантик и своими стихами. Талантливые, душевные, очень искренние. Дай бог ему выжить – он может хорошо рассказать об этой трудной войне...

О встрече двух поэтов, пока не известного и уже знаменитого, поэ-

¹ Хренков Д. Сергей Орлов. Лениздат, 1964, с. 4 (С тех пор и до последних дней поэта журналист, издатель и критик Дмитрий Хренков сберег с ним дружеские связи, почему и первая книга о Сергее Орлове, написанная им, до сих пор сохраняет свое значение, я бы сказал, значение документального свидетельства. Позже, в 1981 году, Хренков, уже будучи главным редактором журнала «Нева», издал значительно расширенное издание своей книги (М., «Современник»), – мне довелось быть официальным рецензентом рукописи этой книги.

² Там же, с.5.

же ставших близкими, писал Иван Курчавов, припоминая и другой, весьма примечательный эпизод. Беспокоясь за жизнь поэта Орлова, друзья хотели устроить его в редакцию армейской газеты – там все-таки меньше опасности. «Ходатая строго отчитал командующий бронетанковыми войсками.

– Как вы можете об этом даже заикаться! – вскипел генерал. – Лейтенант командует взводом тяжелых танков «КВ» в полку РГК – кто же отдаст его вам накануне крупной наступательной операции! Да и пожелает ли он сменить свою машину на ваш скрипучий письменный стол?...»¹.

И сам Сергей Орлов, наверное, считал так же. Во всяком случае, он всю войну провел на переднем крае и не оставил боевой машины, а стихами писал об этом так:

Хочу, чтобы меня вело
По всем высотам вдохновенья
Мое прямое ремесло –
Танкиста и бойца уменьье.

...Нет, не случайно во фронтовом блокноте соседствуют стихи и на его последней странице – схема основных узлов и систем управления танком. На ней отмечены приборная доска и рация, и слова написаны: стартерный аккумулятор, прицел, тумблер, вариометр, – слова, за которыми и кроется «танкиста и бойца уменьье...».

Уменье это не раз выручало поэта-танкиста. В большом наступлении у Синявина танковый полк нес большие потери. Машина, которой командовал Сергей Орлов, тоже была подбита и остановилась на виду позиций врага. Не имея связи с полком, танкисты как могли вели ремонт, две недели не вылезая из танка. Наконец развернулись и «на прощание» успели ударить по врагу. А когда отыскивали свою часть, узнали, что их и в живых уже не числят...

Другой случай, о котором тоже рассказывает Иван Курчавов, знавший Орлова на фронте и позже встречавшийся с ним, оказался драматичнее. Шли бои под Новгородом, совместными усилиями танков и пехоты была захвачена деревня Гора, открывавшая возможность блокировать железную дорогу. Танк Орлова, избегая прицельного огня, неожиданно атакует врага в лоб. Препятствий нет, но впереди снежная крепость, где укрылись фашисты, а в стороне солдаты в маскхалатах пушку волокут.

«– Сгубила меня, можно сказать, интеллигентская осторожность, – с улыбкой говорит Сергей. – Мне показалось, что это наши... Ударю из танка, а вдруг у пушки – свои ребята. Не лучше ли подождать?.. «Свои ребята» ударили по танку прямой наводкой. Я получил сразу три ранения: в руку, ногу и в грудь. Последний осколок шел прямо в сердце,

¹ Курчавов И. Второе рождение. – Правда, 1974, 25 августа.

но помешала... медаль «За оборону Ленинграда». Комсомольский билет был пробит, медаль изуродована, но осколок потерял свою силу и застрял между гимнастеркой и грудью. В танке произошел взрыв, машина загорелась. Мы через борт скатились в рыхлый снег. У меня начался световой шок, и я подумал уже, что ослеп навсегда: день солнечный, яркий, а я ничего не вижу. Обгорелая кожа свисала с лица ключьями, веки слиплись. А фашисты бьют, бьют, не давая возможности поднять голову. Ползу по следу гусеницы и мало что соображаю. На мое счастье рядом оказалась девчушка из пехоты...».

Позже, в 1947 году, Василий Субботин встретил Сергея Орлова в Москве. Он припоминает: «С каким недоумением иной раз, как удивленно, покачивая головой, смотрит он на свои сожженные, изуродованные руки.

«Мать честная! Как же это?!»

Я всегда вижу его в одной позе, всегда вижу его так. Танкист, ни разу не написавший в своих стихах, что он горел в танке¹.

И все-таки стихи об этом Сергей Орлов написал тогда же, в 1943 году, только узнали мы их лишь недавно.

В небе клубы дыма плыли,
Пламя прядало шурша.
Ни одна, когда отбили,
Нас не встретила душа.

Шли солдаты «по угрюмой и пустынной», такой обычной русской деревне, ничем не примечательной, но поэту она запомнилась, хотя «забыл ее бы просто я – деревню на бугре, если бы не привелось мне за деревню гореть». Нет, это осталось памятным:

Рыжим кочетом над башней
Встало пламя на дыбы...
Как я полз по снежной пашне
До окраинной избы!
Опаленным ртом хватая
Снега ржавого куски,
Пистолет не выпуская
Из дымящейся руки...

Нет, во всех деталях не расскажешь об этом, «да и не к чему», – обмолвится поэт. Ему дорого то, что за него «ребята честно расквитались там с врагом», что «осталась не сожженной деревенька вдоль бугра на земле освобожденной»...

Благодарной памятью поэта рождено по этому драматическому поводу и еще одно стихотворение. О том, как девушка-сестра из пехотного подразделения, не думая о себе, спасла его, раненого танкиста.

Фронтной путь поэта кончился госпиталем с труднейшими опера-

¹ Субботин В. Силуэты. М., СП, 1974, стр. 90.

циями по пересадке кожи на лице, с серьезными опасениями за зрение и непоправимым увечьем правой руки.

Правда о войне открывается только через личное участие в ней. Такую мысль проводил А. Фадеев, выступая в июле 1942 года на заседании президиума Союза писателей и военной комиссии: «Если ты все это пережил, преодолел, тогда ты об этом расскажешь, и это поможет тебе рассказать, как это делали миллионы и миллионы рядовых наших советских людей»¹. И действительно, первые, самые горячие книги рождались там, на переднем крае. Достаточно назвать стихи, поэмы, книги А. Твардовского, К. Симонова, А. Яшина.

Поэты, чья репутация сложилась в тридцатые годы, сразу активно принялись за работу в новой обстановке. Но и самые молодые, еще безвестные или едва заявившие о себе в литературе поэты – солдаты, танкисты, лейтенанты великой войны – сознавали исключительность своего положения. «Мы получили материал, над которым будем работать всю жизнь»², – провидчески писал молодой С. Наровчатов в одном из своих писем с фронта.

Их пока еще очень мало знали в годы Великой Отечественной войны – поэтов фронтового поколения. Имея за плечами первые книжки, шли на фронт Михаил Дудин, Вадим Шефнер, Алексей Лебедев, Мустанг Карим. Уже в ходе войны дебютировал Семен Гудзенко книгой «Однополчане». Как мы помним, Сергей Орлов в 1942 году совместно с Телькановым выпустил в Челябинске сборничек «Фронт».

Лирическая летопись войны до поры до времени складывалась во фронтовых блокнотах, ожидая своего часа. Лишь немного из нее публиковалось в армейской печати, еще меньше попадало в столичные журналы. И все-таки уже в 1945 году Николай Тихонов в безбрежном море поэзии различил «голоса поколения, которому принадлежит будущее»³.

Одной из первых ласточек, за которыми приходит весна, стала книга Сергея Орлова «Третья скорость», опубликованная Лениздатом в 1946 году. Редактором ее был Михаил Дудин – обоих поэтов долгие годы связывали добрые дружеские отношения. Она уже давно стала библиографической редкостью, эта небольшая книжечка.

...На белом когда-то фоне ее обложки – дымчатое пятно, в просвете которого изображен силуэт мчащегося танка... Припомним, третья скорость, как однажды пояснял М. Дудин, «это значит боевая скорость танка»⁴. И вся эта книжка – о фронтовой юности, что хорошо почувствовал художник М. Седиков и отразил в крохотных заставках к четырем разделам сборничка: заградлиния из столбов и колючей проволоки возле разбитого снарядами дерева; солдат, присевший у костра

¹ Литературная газета, 1970, 6 мая.

² Свидание с юностью. Публ. А. Туркова. – Дружба народов, 1975, № 4, стр. 25.

³ Тихонов Н. Перед новым подъемом. Советская литература в 1944-1945 гг. Изд. Литературной газеты, М., 1945, с. 49.

⁴ Дудин М. Цикламены на цоколе. М., Сов. Россия, 1967, с. 66.

под ветлой; два домишка возле леса и колодезный журавль; солдат, идущий мимо изгороди полевой дорожкой, и крыши под деревьями на краю деревни...

Не побоюсь утверждать, что «Третья скорость» – лучшая из поэтических книг, вынесенных с фронта. Но война долго оставалась для С. Орлова ведущей темой (не по количеству стихов, а по их уровню). Уже в книге поэта «Поход продолжается» (1948) в разделе «Смотровая щель», составившем треть сборника, из двадцати четырех фронтовых стихотворений шестнадцать опубликованы впервые.

Стихи С. Орлова, то реалистически сниженные в бытовых подробностях, то романтически возвышенные, возрождающие «лад баллад», сильно и точно выражали мироощущение человека на войне, его волю к победе. И книги поэта не оказались незамеченными, их оценили тогда же. «В стихах Орлова, может быть, больше, чем в стихах других поэтов-фронтовиков, живет правда о буднях войны, о рядовых ее участниках»¹, – говорил В. Саянов на секции ленинградских поэтов, подводя итоги 1949 поэтического года.

Мы уже давно привыкли к фронтовой лирике С. Орлова, но произошло удивительное явление: после смерти поэта стихи из фронтовых блокнотов приходят к нам снова и снова, – их опубликовано уже несколько десятков. Приходят они, по словам Сергея Викулова, «словно бы запоздало демобилизованные солдаты, в танкистских промасленных шлемах, в помятых полевых погонах, в тяжелых кирзачах»². Поэты уходят – песни остаются...

Сам Сергей Орлов фронтовой поре придавал исключительное значение, считая, что его жизненный путь начался Великой Отечественной войной, как и С. Наровчатова и С. Викулова. Он говорил: «Эта пора определила наши идейно-эстетические позиции, которым мы остались верны и теперь»³. Тем важнее необходимость подробно рассмотреть его стихи военной поры. Ведь характер и талант поэта сложились там, на полях суровых испытаний, в те годы, когда величайший вопрос искусства всех времен и народов – жизнь и смерть – решался с невиданной трагичностью, в судьбах миллионов.

Новые, уже посмертные публикации – многочисленные в журналах и книга «Костры» («Советский писатель», 1979) – не дают оснований для коренного пересмотра фронтового пути поэта. Вероятно, сам готовя к печати стихи из старых блокнотов, С. Орлов доработал бы многие из них. (А впрочем, кто знает, – ведь, скажем, стихи из книги «Третья скорость» поэт почти не правил позже, оставил их в первоизданном виде). Несомненно, что целый ряд стихотворений поэт публиковал в трудные послевоенные годы по причине их тяжелого трагизма. Возможно, что иные остались лежать в блокнотах ввиду несовпадения представле-

¹ Хренков Д. Виссарион Саянов. Путь поэта. Л., СП, 1972, стр. 174.

² Наш современник, 1978, № 8, стр. 18.

³ Говорят лауреаты Государственных премий РСФСР. Интервью. – Литературная газета, 1975, 7 января, стр. 4.

ний поэта о некоторых явлениях жизни с общепринятыми в ту пору...

Теперь, опубликованная полнее, чем в былые годы, лирика Сергея Орлова военных лет представляется гораздо значительнее, и появилась возможность взглянуть на нее в целом, включая также и тему возвращения. Это стихи, написанные по следам суровых событий, в горячих боевых буднях, или произведения, созданные сразу после демобилизации, когда поэт еще не мог отрешиться от недавних впечатлений, непосредственных переживаний. В принципе, те и другие не отличаются ничем существенно, – здесь дистанции во времени пока нет.

3

На фронте Сергею Орлову не приходилось учиться отражать современность: он жил, как все, обыкновенной солдатской жизнью, в которой было «сегодня» и могло не быть «завтра». Здесь «поэзия насыщалась жизнью, она брала детали, слова, образы с дороги, которой шли миллионы»¹, – пишет А. Абрамов, тем самым определяя одну из существенных предпосылок складывания народности во фронтовой поэзии. Справедливо это и в отношении Сергея Орлова.

Жизнь заставляла юношу-поэта по-особому переживать и осмысливать грандиозность масштабов происходящего, в которых поначалу, может быть, человек и чувствует себя растерянным и потерянным. Однако мало-помалу познается строгая обыденность войны, фронтовой работы, которая мыслится как жестокая необходимость.

Поутру, по огненному знаку,
Пять машин «КВ» ушло в атаку.
Стало черным небо голубое.
В полдень приползли из боя двое.
Ключьями с лица свисала кожа,
Руки их на головни похожи.
Влили водки им во рты ребята,
На руках снесли до медсанбата,
Молча у носилок стояли
И ушли туда, где танки ждали.

Спокоен голос поэта, деланно спокоен, только за натуралистичностью деталей – и боль, и, может быть, недоумение, которое хочется скрыть под маской бывалого фронтовика. Но ведь даже самое невероятное, бесконечно повторяясь, неизбежно становится будничным и привычным.

Подобные настроения характерны и для других молодых поэтов-фронтовиков.

¹ Абрамов А. Лирика и эпос Великой Отечественной войны. СП., М., 1972, стр. 91.

Эти стихи Семена Гудзенко теперь широко известны:

Бой был коротким.
 А потом
 Глушили водку ледяную,
 и выковыривал ножом
 из-под ногтей
 я кровь чужую.
(«Перед атакой»)

А вот как писал Сергей Наровчатов:

У заваленной трупами щели,
 Еле свыкшись, что бой затих,
 Отереть о полу шинели
 Порыжелый от крови штык...
(«Стихи о солдатской дружбе»)

Несвойственный советской поэзии натурализм закономерен как неизбежная реакция на неожиданность облика войны, которая большинству (хотя и не всем) представлялась победным маршем. Алексей Сурков позже объяснял: «Воспитанники «облегченной» военной доктрины оказались лицом к лицу с величайшим бедствием стремительного отступления вглубь страны, с окружениями, с круглосуточными бомбежками с воздуха, с бесконечными танковыми клещами, со всеми несчастьями первого военного полугодия»¹. Он же, Сурков, обобщая первые шаги фронтовой поэзии, уже в июле 1943 года говорил, что война «учила и научила реалистическому отношению к событиям, реалистическому отношению к тому, что происходит каждый день там, где история делает свои основные шаги. Война научила нас говорить тогда, когда это нужно и когда это вызвано самим характером развивающейся борьбы, прямо и жестко»².

Слова старшего товарища по перу полностью относятся и к Сергею Орлову. Уже один из первых рецензентов «Третьей скорости» П. Антокольский, очень благожелательно оценивший книгу, отмечал, что она «полна четких, точно угаданных подробностей»³. Это совершенно справедливо, с одной только поправкой, – подробности, которые показывают ратный труд и человека на войне, не «угаданы», – их поэт видел, знал по себе.

Романтически настроенным юношам, что насмотрелись не в меру «героических» фильмов, война порою представляется как непрерывная серия подвигов в разведке или в удалых штыковых атаках; как мощные артудары, не оставляющие камня на камне от укреплений врага; как неуправляемый натиск боевых машин, под прикрытием кото-

¹ Сурков А. Великая Отечественная война в литературе. – Вопросы литературы, 1967, № 6, стр. 20.

² Советские писатели на фронтах Великой Отечественной войны. Литературное наследство, т. 78, кн. 1, Наука, М., 1966, стр. 355.

³ Антокольский П. Стихи танкиста. – Комсомольская правда, 1947, 10 октября.

рых благодушествует наша пехота и от которых в ужасе разбегаются враги, бросая оружие и оставляя свои позиции... Да, на войне есть место подвигам, но бывает и так, что батальон вдруг останется без подкреплений на захваченном «пяточке», обреченный на гибель, а другой – попадет вдруг нечаянно под огонь своих батарей, своевременно не скорректированный. Всякое бывает – непостоянна судьба солдата в переменивой фронтной обстановке, но война – прежде всего работа... и ежедневное существование в обстоятельствах, определяемых в силу той или иной ситуации, в боевых операциях.

Лирическая эпопея Сергея Орлова складывается в разных формах и с разных сторон открывает ратный труд человека. Иногда это – репортажное, последовательное описание событий, свидетелем и участником которых был сам поэт. В других случаях рождаются стихи, в основе которых лежит переживание случившегося, и детали становятся опорой, способом развития поэтической мысли.

Боевать поэту-танкисту пришлось среди озер и болот, «в краю суровом, невеселом, где каждый метр сухой земли напичкан до отказа толлом, чтоб танки шагу не прошли» («Здесь все озера да болота...», 1943). Боевая работа ведется в «полевых условиях», и потому естественно, что природа оказывается не только фоном, но, так сказать, и участником событий, и средством выражения тех или иных настроений.

Труд на войне – уже сам по себе противоречие: он связан с разрушением ценностей и с необходимостью созидать. Об этом – «Стихи о переправе» С. Орлова. В первой части (две строфы) поэт не нашел своеобразия, но вторая – интересна в контрасте, который мог бы показаться рассудочным, если б не предметность реальной картины.

Разбиты взрывом гордые мосты,
Стальные фермы над водой ржавеют,
И лишь быки упрямо с высоты
Глядятся в Днепр, над волнами темнея.

А рядом легла на воде переправа: «Настил дощатый, сбитый топором, перила невысокие шершавы». Да, мирным строителям было нелегко «из камня класть быки, стальные фермы возносить над ними». Но прав поэт, знающий воинскую работу, что «этот мостик, шаткий и простой» построить ночью под огнем врага было несказанно тяжелее.

Раздумья С. Орлова определяются не только видимой конкретностью впечатлений, приходят мысли и более отвлеченного характера. О бессмысленности труда человека, предназначенного на дело убийства, думает поэт в стихотворении «Зачем руда сто тысяч лет...» (1942). Он вспоминает труд рудокопов, добывших руду, литейщиков, выплавивших металл, токарей, выточивших снаряд, и вот – взрыв – и грудь солдата пробита осколком. И рождается горький, неумолимый вопрос: «Зачем руда далекий путь прошла, чтоб мне лежать убитым?» Стоило ли ради такой цели предпринимать титанические трудовые усилия...

Сущность войны с одной из ее характерных сторон Сергей Орлов открывает с убедительной достоверностью. В самом деле, если первая мировая война обошлась человечеству в 260 миллиардов долларов, то вторая уже – в 3300 миллиардов, – есть о чем задуматься. Однако война несет не только разрушение материальных ценностей, но и огромные потери людских ресурсов. Если в первой мировой войне приняли участие на обеих воюющих сторонах 70 миллионов человек, то во второй – уже 110 миллионов. Как подсчитали специалисты, людские потери только европейских стран (убитыми и умершими от ран и болезней) составили в первой мировой войне 9 миллионов 59 тысяч человек, а во второй мировой войне (включая уничтоженных в фашистских лагерях смерти) – 50 миллионов человек. Очень впечатляющие цифры, но что же кроется за ними?..

Существование человека на войне всегда под угрозой, на грани жизни и смерти. Стихотворение Орлова «Да, не поле перейти...», правда, написанное уже вскоре после войны, резко прочерчивает эту неумолимую грань. В самом деле – «...если в поле гром снарядов на пути и огонь на сухоходе», невольно солдат станет прикидывать свои шансы и подумает:

Если поле перейду,
Будет жизнь прожить нетрудно...

Стихи Сергея Орлова дают понять, как ковалась победа. В привычной для военных смене событий – оборона и наступление, разовые атаки и массовые марши, – решался исход войны. Изображение масштабных событий – это компетенция прозы, а поэт С. Орлова занимает человек с его конкретным делом в той или иной обстановке.

Со ссылкой на дату, «Это было 19 марта 1943 года», по-репортажному названо одно из стихотворений (кстати, такие названия нередки в лирике С. Орлова). И в репортажно последовательной передаче описывается ход событий, начиная с погоды и обстановки: «Был март, И снег ложился мокрый на сосны мачтовые, на весь приозерный дикий округ...». В таких условиях, на этом фоне и станет разворачиваться боевая операция.

«С пяти до десяти была артподготовка», – с информационной деловитостью, как в отчете о проведенных боевых действиях, сообщает поэт. Немногие детали дадут понять смысл строгих сухих слов: «сосны срезав», била артиллерия по переднему краю врага «огнем, свинцом, железом», – а сосны-то мачтовые...

Природа пока пассивна, и вот сигнал атаки (который, кстати, «прозвучал открытым текстом в шлемофонах», – опять деловая информация), и тогда «лес разверзся, зарычал и двинул вдаль слонов по склонам». Уже как бы сама поруганная врагом природа выступает против фашистов, и метафора (слоны – танки) усиливает это впечатление.

Собственно атака описана в одной строфе, в которой С. Орлов успел сказать и о танках-слонах («белы, приземисты и злы»), которые, «ломаю тяжкие стволы», лезут на высоты, оберегая пока следующую за ними пехоту. Природа в союзе с воинами-освободителями... И ей приходится,

как и им тоже, тяжело, – показывает это поэт глазами командира танка:

...сожженная дотла,
Земля лежала правдой страшной...

На ней святая кровь друзей.
И командир, смежив ресницы,
Подумал горько, что на ней
И колос, может, не родится.

Ощущением трагизма жизни на войне наполнено стихотворение «Весна» (1943). В нем цветение природы, торжество жизни остро контрастирует с противоестественностью смерти. Это как два мира в противоположении.

С одной стороны:

Вокруг весна беспутная летела,
От нетерпенья жгучего дрожа,
И даже медь на гильзах зеленела
И прорастали бревна в блиндажах.

А вот другая проекция:

А мы стояли над могилой кругом,
Она как двери рубленой проем
В тот мир, откуда нет возврата другу,
Где и весна и зелень – ни при чем.

В концовке противоположности синтезируются в едином образе: погибшему «теперь ни осени, ни лета не увидать над самой головой», поскольку война враждебна человеку и природе. В других случаях дыхание стиха ровнее, настроение – оптимистичнее, или, по крайней мере, спокойнее.

Фронтовая работа на фоне природы и в сопоставимых образах воссоздается в стихотворении Сергея Орлова «Ночные бомбардировщики» (1945). «Какая ночь! – восклицает поэт и вслушивается: – Шумят, поют березы, и даже слышно, как сверху прошли рокочущие клинья бомбовозов над темными просторами земли». Отметит он и «азростаты с рыбьими хвостами», что «закинуты до самых облаков». Здесь природа – только фон, а нередко она оказывается у С. Орлова активным участником событий.

Торжество жизни против войны, несущей уничтожение и смерть, заявлено в стихотворении «Береза» (1944) о деревце, что стоит в полыме боя, когда «вся была снарядами изрыта черная, чугунная земля», когда «расплавленный металл, будто бы коса траву осоку, убивал деревья наповал». И здесь тонкая береза, «белая, лучистая, босая» воспринимается как «вечной жизни свет и торжество». Живое торжествует над смертью... Но едва ли не один-единственный раз воинскую работу Сергей Орлов сопоставил с мирной, а не противопоставил ей.

...Вот свечерело, и соловьи за свое песенное дело берутся, а солдаты, прикрыв угарные башни, валяются в траву, «прокопченные дымом, потные, будто с пахоты плугари». И как обыденно, мирно сказано: «Хорошо машины работали от зари до другой зари». И хотя на броне не ржавчина, а кровь, и не плуги подвешены на машины, а орудия укреплены, наверное, потому что запах клевера знакомо взбудоражил, С. Орлов признается: «Все мне кажется – плугом взорвана за дорогою целина». Только вот «трактористы»-то в солдатских гимнастерках с орденами... («Сумрак сел. Соловьи в кустарниках...», 1945). Но так спокойно мог написать стихотворение С. Орлов, когда уже кончалась воинская страда, – на нем лежит отсвет спокойствия и мира.

Мирный облик войны, повторяю, у Сергея Орлова – редкость. А вот в природе долго ему будет видеться метельное и тревожное. Так, солдату, что пришел в места бывших боев («Подо Мгою», 1945), которые теперь «в тиши и туманах лежат», видится, как ветер огнем над лесами взмахивает, как ели идут в атаку «в тяжелых зеленых шинелях», как «в бинтах умирают березы» и «флагом багряным рябины над дотом горят на бутру». Где тут мирное – и не сыскать, так привычно по-военному воспринимается мирный пейзаж, и поэт оговорился не случайно, что «память была ни при чем...» И все-таки, память-память! Она еще заговорит и долго не даст солдату успокоения.

4

Война – это долгие годы боевой работы, но и она, наконец, дает передохнуть солдату, оглядеться, набраться сил для новых боев. Потому неудивительно, что в стихах Сергея Орлова нет отчетливой границы между темой воинской работы и фронтового быта. Одно переходит в другое самой логикой событий и открывает в этих взаимопереходах новые возможности постижения человека на войне.

Скажем, одно из ранних стихотворений С. Орлова фронтовой поры «Дождь» (сентябрь, 1941) показывает, казалось бы, черты воинского быта: дождь в городе на Неве, холодный, затяжной. Но это одновременно и условия, в которых происходит боевая работа. Более того, в стихах отражается напрямую и нравственное самосознание солдата, выразившееся концовкой в форме пожелания:

Только пусть под ветра свисты
Льет холодный он и злой.
– Каково сейчас фашистам,
А для нас он свой, родной!..

Аналогичные мотивы были распространенными в лирике начала войны (например, у А. Яшина «Русские мы» и т. п.). Быт начинался сразу и там, где кончалась воинская работа, и, соответственно, наоборот. Быт – это средство набраться новых и физических, и моральных

сил для того, чтобы не только выстоять, но и победить в войне.

Характерен цикл «Земля новгородская» (1944) – здесь мы видим танкистов не в бою, а на марше, долгом, изматывающем. «Сердца стук, как короткий стон... Хотя на тридцать минут бы в сон», – но нет отдыха, и навстречу – леса, поля... И земля взывает к отмщению.

Села древние без людей
Молят будто: приди скорей!
Оскверненная сторона...
Сердце, сердце, нам не до сна.

Она по-разному открывается, оскверненная врагом сторона.

Вот надпись на стене одного из домов в Новгороде «ESPANA», – ее рассматривает молодой танкист вместе с полковником, который, наверное, вспомнил бои в далекой Испании и парней, что отстаивали там свободу. А здесь, в дорожной колее, «отвергнутый далекою страной», лежит солдат «голубой дивизии». Его-то что сюда привело?!

С болью видит поэт «тысячелетию России разбитый памятник в снегу и купола святой Софии». И овладевают им жажда отмщения, боль за просчеты и надежда, что «мать городов старинных простит нам прошлые дела, когда на поруганье им мы ее отдали купола...».

Историзм и гражданский пафос рождаются на почве конкретных фактов самой современности. Обстановка и черты, условия быта здесь оказываются насыщены взрывчатой силой. Развивая мысль от обыденного порою факта, С. Орлов, как правило, выходит на обобщение, и обобщающий смысл обретают образы фронтового братства, землянки, костра, – они нередко повторяются в стихах поэта.

Окончив ратные труды дня, заходят в незнакомый дом солдаты («На ночлеге»). Всего-то и упоминается дымок над трубой, зовущий к отдыху, самовар на столе, обещающий уют, да медали на груди ребят, – бывалые, значит, проверенные войной. Бывалые, знающие цену гостеприимству, и это почувствуешь в их словах, обращенных к хозяйке:

Ты прости нас, молодая,
Мы к тебе – как в дом к себе.
Может, взвод располагает
Твой мужик в моей избе...

Вот оно, фронтовое братство, единство народа, укрепившееся перед лицом врага...

Неделями доводится солдату не знать теплого крова, а лишь мечтать о нем: «Хорошо в лесной землянке сапоги у печки снять, стукнуть, так сказать, по банке, завалиться на ночь спать...» («Погадай мне в этот вечер...»). Только мечтать, когда «вокруг лишь тьма ночная, дождь стекает по броне...» да стрелок-радист рядом не может отрешиться и во сне от своих обязанностей, «Калугу» вызывает...

И отрадно, даже ударившись для начала о притолоку, войдя в низенькую дверь, увидеть, как «дымят печурка и коптилки, на

бревнах сажу на вершок» («Землянка»). Здесь, среди запахов махорки и портянок, можно перетрясти рубахи над печкой, и пусть «песок за шиворот течет», пусть надоела «солдат усталых перебранка...». Но «когда грохочет долгий бой», осточертелая землянка с ее знакомым фронтовым уютom «покажется солдатским раем, поэта золотой мечтой».

Покажется, потому что в боевой обстановке довольно самого малого: «закрутить одну на экипаж на весь цигарку», просушить у костра портянки да выспаться в танке на сиденье («О счастье»). И уж предел желаний – получить утром из полка вместе с кашей открытку из дома... Нет, в боевой обстановке и такое счастье редко приваливает.

Наверное, поэтому и у Павла Шубина образ землянки согрет теплом и уютom.

Сугробы словно сундуки
С кашеевой казной.
Но вот встают из них дымки
И отдают сосной.
И звякает во тьме ведро,
Скрипит отвесный трап,
В землянке, вырытой хитро,
Домашний теплый храп.

А кому незнакома была еще в годы войны удивительная «Землянка» Алексея Суркова – приют солдата, раскрывающего свою душу в ее нежной силе, любви и мужестве...

Вот и танкисты Сергея Орлова жились уже с землянкой, как с родным домом:

Как будто в ней живем всю жизнь,
И жизнь иная незнакома;
Как будто нары в два ряда,
Скрипучий стол – стоят от века,
И не придумать никогда
Жилья иного человеку...

(«Прощанье с землянкой»)

Ко всему человек привыкает, даже к невероятным трудностям фронтового быта, – была бы цель, во имя которой стоит пережить все трудности. Этого дня, когда уже «ракеты к западу летят», ждали солдаты, ради него могли вынести все. Горят в костре столы и нары, «чтоб масло разогреть и воду», машины готовятся в путь, чтоб к этой землянке уже не вернуться. Солдаты «рады покидать свой дом», хотя впереди еще и лютой стужи не миновать, и многих ожидает гибель, но уже повеяло грозным освежающим ветром победы!

Уже в этом стихотворении о землянке возникнет образ костра, зажженного наспех, перед дорогой. И снова, то в прямом изобра-

жении, то в мечтательном представлении, всякий раз по-иному загорается костер в стихах Сергея Орлова как символ тепла, уюта, солдатского дружества («Костер», «Дымок – дыхание костра...», «Жить от атаки до атаки...»).

...В перелеске расположились у костра солдаты, «забирая горстями тепло», и здесь по-домашнему «можно, сидя на хвое, заснуть». Устало улыбаясь, дремлет танкист, которому, зная, привиделись лето, родной дом, «в палисаде рябина да клен, и девчонка как песня в дому...». Но сигнал поднимает всех, и паренек, отрешившись от отрадных видений, встает, «под ногами взметнулась зола, и к машине ушел от костра, зачерпнув на дороге тепла...».

А вечером, когда костры
Опять на дальнем побережье,
Гибки, упруги и остры,
Седеющий туман разрежут, –

Повесят молча в тишине
Над бивуаком автоматы
И станут гладить по спине
Огонь усталые солдаты,
Весь мир прошедшие в огне...

Да, знающие цену хлеба с солью и воды из ручья, мечтающие лишь «о письмах и тепле», солдаты не соблазняются дешевой сладкой жизнью и не согласятся «отдать огонь бивака за все удобства на земле». Одно это уже говорит и о высоком сознании долга воюющего с врагом солдата и о безмерных тяготах ратного труда. Об этом, может быть, с особой убедительностью рассказывает стихотворение «Отдых» (июнь, 1943), так сказать, в обратной связи.

...Танкистов выводят из боя, а «где-то еще ухали снаряды и «мессершмитт» неистово гудел». Но в одной строфе поэт покажет и напряжение боя, и нечеловеческую усталость бойцов:

Качаясь от усталости, из боя
Мы вышли и ступили на траву
И неправдоподобно голубое
Вдруг небо увидали наяву...

Ступили на траву, по которой – могло случиться – уже и ступать не пришлось бы. И небо увидели – некогда было на небо смотреть в бою, да и не увидишь там его сквозь завесу пыли и дыма, потому и видится оно «неправдоподобно голубым». Тут каждое слово выверено.

Сергей Орлов никогда не говорит от первого лица, если речь идет о фронтовой работе, – всегда «мы». Ратный труд, исключая особые обстоятельства, чаще всего коллективен. А на отдыхе человек предоставлен себе, и тут С. Орлов станет уже высказываться от своего имени:

Мне тоже обязательно приснится
Затерянный в просторах городок,
И домик, и, как в песне говорится,
На девичьем окошке огонек.

Память о родном крае – один из самых распространенных мотивов в лирике Великой Отечественной войны. Все, что приходит к солдату в мечтах и воспоминаниях, как писал поэт-подводник Дмитрий Ковалев, «еще слышней среди грозных шумов уху и нервам как спокойствие дано» (из «Военных тетрадей»). В поэзии Сергея Орлова эти мотивы преломились в таких стихах, как «Далеко течет река Шексна...», «Матери» (1942), «Есть на Шексне далекой...», «Концерт в лесу» (1943) и многих других.

В этих стихах С. Орлова мотив привязанности к отчему краю развивается, детализируется. В них большое место занимают образы того дорогого, что дает человеку природа родины. Но, понятно, наряду с образом далекой подруги особое место и значение обретает образ матери. С нею нередко поэт беседует, советуется – в письме ли, в памяти, – ей рассказывает о солдатском житье и надеждах.

В лесу на поляне заезжие артисты дают концерт, и поет женщина, певица в длинном платье («как будто в Москве»), поет «о друге, о женской тоске». И верилось:

Видно, был у певицы, действительно, друг,
Тоже в серой шинели, как парни вокруг.
Он на фронте, должно быть, как мы, воевал
И о женщине этой в лесах тосковал...

(«Концерт в лесу»)

И вспоминались свои близкие: «И казалось каждому: это она на поляне тоскует – невеста, жена», и конечно же, хотелось каждому «слушать грустную, нежную песнь до конца!»

С самого начала, обращаясь к матери, пока еще без детализации, С. Орлов попросту скажет: «На войне как на войне...» Позже появятся и подробности. В форме письма – с обращением, успокоением, заверениями – написано стихотворение «Матери». Но есть в нем и откровенные признания: «Встречая пепел вместо сел, среди поля, и нам бывает нелегко весьма, но мы не плачем, зубы сжав до боли...». А солдату – всего двадцать лет! Пора надежд и счастья – в них верить хочется: ведь «так ясна снегов голубизна, что кажется, что в мире нет тревоги». Однако надежды требуют дел: «И нам идти за ясным солнцем вслед, как солнце снег, врагов с земли счищая», – этот образ С. Орлова – один из излюбленных.

Поэт хотел бы и матери внушить уверенность в будущем, веру в счастливую звезду воюющего сына, в его солдатскую удачу.

Есть на Шексне далекой
Просторная изба,

Под крышей невысокой
Причудлива резьба.

Поэт представляет свои фронтовые будни как бы оттуда взглядом матери: «а за лесами где-то... дерется батальон», «идут тридцатьчетверки сквозь синеватый дым» навстречу огню вражеских орудий – «не вскрикнет враг подмятый, в дыму, огне, в крови», – не успеет. И здесь точка зрения переносится как бы: уже сам поэт-танкист, помогая пехоте, еще и пошутит на «о», по-вологодски: «Порядок в части нашей повсюду быть должен».

Он и мамаше тоже
Напишет: «Жив, здоров.
В порядке все. Сережа.
Твой сын...» Всего семь слов.

И на привале ночью
Как вспомнит, загрустит...

Загрустит, вспоминая старушку мать, Шексну и родную березу. А впереди – еще дорога «в походах да тревогах, в снегах, в дыму, в огне!» И лежит эта дорога на запад «сквозь смерть и дым кудлатый, через трехсотый бой». Трудна дорога, но звучит в стихотворении и надежда на возвращение, без которой солдату на войне не жить: «Он все пройдет: сквозь воды, огни, сквозь всю войну...».

А вот снова, в который раз представляется поэту «с березою высокой знакомая изба», где в одиночестве коротает свои дни мать-старуха, ожидая писем от сына-танкиста. А сын уже освоился в ратном деле, понял, что «тяжелый, многотонный, в дыму лихих атак, он страшен, разъяренный, как конь поднятый танк». И воюет он, живой, вопреки всем невзгодам, единственная отрада матери.

...Старушка третий год
Не просто, знать, лампаду
Перед иконой жжет.
Как жгли ее когда-то
За деда и отца...

От воспоминаний об отчем крае и родном доме, о матери, через посредство глухих семейных преданий, разве что и отраженных на фотоснимках (об этом позже появится стихотворение С. Орлова «Семейные альбомы»), поэт выходит к историзму.

Как видим, даже о фронтовом быте в поэзии не приходится говорить как о замкнутой в себе системе. Он, во-первых, неотделим от воинского труда; во-вторых, – что особенно важно, – и труд и быт на войне – форма, в которой проявляются нравственные качества воюющего современника и его гражданские убеждения.

5

Войну молодой поэт сразу принял и серьезно и трагически, ясно сознавая вероятный исход. Уже 20 сентября 1941 года родились строки, которые тогда не могли увидеть свет, – их бы сочли пессимистическими. Но кто из фронтовиков этого не представлял в своем воображении?.. Кто не представлял: «Может, мне и осталось всего...» – путь к немецким окопам через разрывы, следы крови на осоке, что ведут к лесу.

А в конце, там, где холм муравьиный,
Мне придется улечься в песок,
Под деревьями руки раскинув.
И в опавшей листве золотой
Надо мною в тяжелом безлюдье
Прорастет березняк молодой
Через ребра распавшейся груди.

Есть тут момент красоты, юношеского видения красивой смерти (сравним: «Валерик» Лермонтова), но и отсвет познанной реальности очевиден. Чувством тоски, минутой безнадежности рождены и такие вот строки, написанные как обращение к любимой, монолог, как рассуждение, наконец:

Не жди меня, я не вернусь.
К чему напрасные печали,
Тоска, отчаяние, грусть?
Забудь, как многих забывали.

На картах не гадай. К чему
Себя надеждой тешить глупой?..

Не правда ли, невольно вспоминаются симоновские строки: «Жди меня, и я вернусь. Только очень жди». Жди... Жди... Настойчиво, как заклинание, твердо, как хозяйское распоряжение, звучат слова К. Симонова. А и в самом деле, «к чему себя надеждой тешить глупой?..» – не прав ли в этом молодой, никому не ведомый стихотворец, вступивший в полемику со знаменитым стихотворением известного поэта?

Как-то совершенно отрешившись от своей личности, считая очень возможным смертный исход, Сергей Орлов скажет: «В родном краю, в моем доме пусть обо мне поплачут скупом...» – таковым был удел многих. С войны вернулся только один из каждой пятерки сверстников Орлова, – в самом деле, в этом очень немного оправданных надежд, необманутых ожиданий. Ну, что ж, а кому иной удел выпадет, поэт знает: «так хорошо, когда не ждали, прийти живым из мглы атак...».

В таких стихах отражаются «мгновенья жизни на войне», разнообразие настроений в их прихотливой смене. «Не жди меня», – говорит поэт, но это не значит, что вот он уж и гибнуть собрался не сегодня-завтра. Он просто зовет ближних не обольщаться надеждами, которых очень немного обещает война...

Наверное, именно в этом одна из причин того, что тема любви во фронтовой лирике Сергея Орлова едва означена, да тем еще, пожалуй, что по молодости и не успел недавний школьник, ставший танкистом, обрести прочные привязанности. Впрочем, то же самое характерно и для других молодых поэтов-фронтовиков в отличие от поэтов старшего призыва, например, Александра Яшина. Скажем, у С. Наровчатова немногие стихи о любви будто и не предназначались тогда для печати, а скорее, для личного дневника. Интимные переживания С. Гудзенко, П. Шубина, Ю. Друниной тоже не часто выливались в стихи.

Все-таки однажды на фронтовых дорогах под проливным дождем по ассоциации припомнился Сергею Орлову «город Челябинск, весь в столбах голубого дождя» («Обвалились небесные хляби...», 1943). И всего-то было вспоминать: «девчонка с туфлями, босая, в подворотне», – случайная встреча, «разговор ни о чем под стеной», потом несколько кратких свиданий, поцелуй и расставанье... Но помнятся здесь, под Ленинградом, город Челябинск и девочка далекая.

А в другом случае, в 1944 году, С. Орлов написал по-ребячески сердитые, задиристые стихи:

Ожиданием пули не отведешь,
Заклинать судьбу ни к чему.
Будто ты меня силой любви спасешь,
Я не верю совсем тому.

Позабудешь, устанешь ждать за года.
Если мертвым я упаду,
Схорони, забудь, я живой, и тогда
Непременно назло приду.

(«Я своих фотографий тебе не дарил...»)

А судьба – уже годом спустя – будто в отместку сыграла злую шутку, которую рождены горькие строки:

И я пришел, и я спросил в тот вечер,
Ты ухмыльнулась, ведь любовь прошла.
Но даже дерзко дрогнувшие плечи
Сказали больше, чем бы ты могла.

(«Любимая, ко мне приходит снова...»)

Вот едва ли не весь опыт интимных отношений в лирике С. Орлова военных лет. И нет ничего удивительного в том, что самая поэтическая тема поэзии освещена у него столь скупо. Надо просто согласиться с тем, что наши романисты видели на войне гораздо больше

любовных ситуаций, чем их действительно открывала жизнь. Лирик Орлов и в этом остался верен жизни.

Поэт-фронтовик, вынесший до конца солдатский удел, С. Орлов знал, конечно, и драматические сомнения и не мог быть уверен в личной судьбе, да и кто бы мог! И в стихотворении «Кукушка» (1944) звучат сомнения, – полушутя, полусерьезно, на уровне житейского суеверия («В приметы верят люди на войне»). Да и кто бы тут не задумался!..

Кукушка куковала на рассвете,
А лесом шла железная страда...
Мы знали, многим жить на белом свете
Уже не исчислялось на года.

Знали... И когда кукушка накуковала двадцать лет, когда кто-то привычно осмеял приметку, каждый думал:

...Доживу, возможно,
Не всех людей хоронят на войне,
И эти двадцать лет в лесу тревожном
Накуковала птица только мне.

А жертвенность поколения и его выразителя С. Орлова, молодого поэта, была вполне осознанной. Прожито еще совсем немного, и вкусить довелось лишь малость, что дается человеку на веку:

Я друзей, которых знал, не встретил.
Песен очень мало сочинил...
Где, не знаю, ходит в белом свете
Та, какую б крепко полюбил.

(1941)

«Может, и не встретить мне ее», – сознает поэт, потому что «на земле пожары полыхают» и долг юности – идти навстречу врагу, «пулями, расплавленной картечью утверждая радости свои». И этот долг юность принимает до конца:

Может, упадет она на камень
В голубом отеческом краю, –
И тогда не встречусь я с друзьями,
С песнями прощусь, недолюблю...

Очень хочется жить!.. И Сергей Орлов не скрывает этого, и настроения тоски в подобном случае не нуждаются в оправдании. Ведь цена жизни человека ни с чем не соизмерима. Припомним у А. Твардовского: «Жалко жизни той, приманки, малость хочется пожить, хоть погреться на лежанке, хоть портянки просушить...» («Василий Теркин»). Солдат себя жалеет, но эта жалость отчетливее всего и открывает сознание долга и патриотическое чувство в его живом, конкретном, а не абстрактном выражении. «Жизнь одна и смерть одна», по выражению

Твардовского, потому и надо выстоять или погибнуть ради величайшей ценности – ради жизни.

В 1943 году М. Луконин написал знаменитые теперь строки:

В этом зареве ветровом
Выбор был небольшой.
Но лучше прийти
с пустым рукавом,
Чем с пустой душой.

Проблема нравственного выбора – основная для души в условиях фронта. И выбор поэта-танкиста Сергея Орлова раз и навсегда определился с первых дней войны, – он очевиден в каждом шаге его фронтового пути, в любой строчке его стихов.

Придя на фронт совсем молодым человеком, испытав все, что солдату на войне приходится, Сергей Орлов понял простую истину: чтоб выжить и победить, человек не должен быть песчинкой, которая без следа затеряется в бескрайнем огне войны.

...Все по краям пути в пыли,
Дорога сбита до обочин,
Нет, не века по ней прошли,
А только две военных ночи.

(«Пыль», май 1943)

Представьте себе, сутки – равные векам!.. И побеждает тот, кто сохранит себя Человеком, знающим свое место и назначение на земле и в этой войне. В стихотворении-восемистишии «После марша» уже в полный голос, – хотя вовсе не громко, без ораторских интонаций, – звучит уверенность в себе, приходит сознание силы: «Мы все перенесем с тобой – мы люди, а она стальная...». Она – это боевая машина, танк. И фронтовое братство единомышленников – один из источников этой силы.

О том, что связывает фронтовиков на войне тесными узами, не часто пишет Сергей Орлов, но почувствуешь это во многих стихах – в поступке, в душевном движении («Поутру, по огненному знаку...», «Карбусель»). Но в стихотворении «Дружба» поэт все-таки высказался о «негромкой и суровой, в огне проверенной стократ и освященной алой кровью» солдатской дружбе:

Ее начало – в танке тесном,
Где все делилось пополам,
Как черный хлеб, вино и песни,
необходимые бойцам...

Да и только ли начало!.. И горели вместе, а если кто-то успевал выскочить, то на себе и раненого, обожженного товарища вытаскивал... Потому ее надолго и хватало, простой солдатской дружбы, – на десятилетия после войны. И на фронте она ко многому обязывала.

Мы ребят хоронили в вечерний час.
 В небе мартовском звезды зажглись...
 Мы подняли лопатами белый наст,
 Вскрыли черную грудь земли.
 ...Не увидать ребятам высоких пихт,
 За сохатыми вслед не бродить.
 В ленинградскую землю зарыли их,
 Ну, а им еще б жить да жить.

(«Карбусель»)

Смерть жестока и бессмысленна в своей слепоте. Каждодневность трагедии, однако, не сломила воинский дух бойцов, напротив: «Завтра мы возьмем Карбусель!» – эти слова, наверное, даже не высказанные, а произнесенные в сердце, звучат как клятва верности погибшим друзьям и Родине.

Проблема «жизнь и смерть» круто поставлена во фронтовых стихах Сергея Орлова. И – по-разному.

Увидел поэт подбитый танк, что стоит, «над блиндажом поднявшись на дыбы» в последнем порыве, – и этот образ определяет торопливый набросок картины единоборства жизни и смерти («Металл сгорел, и пусто в черной башне...» 1944). В обычном для военных лет сюжете, вне открытых обобщений эта тема звучит в стихотворении «Открытка» (1944). Не нашла открытка адресата, но и возвращать ее уже некому: «О жизни мертвый мертвому писал...» – многозначителен этот трагический до жути и жизнеутверждающий итог...

Выразительное решение проблемы трагического находит С. Орлов в форме легенды, творимого мифа, которая у него реализуется в стихах, по жанру близких к балладе. Так, в одном из них баллада завязывается (как и должно) с первой строфы, и начинается сотворение мифа.

Когда на фронте наступает ночь
 И в небе загораются ракеты,
 Они встают, идут от фронта прочь,
 Белесыми туманами одеты.

Сказочное допущение, вымысел обрастает деталями реальности и складывается в незатейливый, но завершённый сюжет. Призрачна, таинственна обстановка (ржавые воды, голубые мхи), а Они еще пока не названы, но уже высокий смысл происходящего в его трагической предопределенности высвечивается в мрачноватых деталях (Они – «в ислевших гимнастерках и пилотках»). И сами Они не нарушат вековой тишины: «размеренна, тиха солдат убитых тяжкая походка».

Что же подняло их с места? «Их вдаль ведет извечная тоска. К жилищам мирным, к отческому дому они спешат...». Мотив любви к Родине-Отчизне обретает высокое значение в одолении неодолимого – самой смерти, и здесь тема поднимается до высочайшего звучания. Балла-

да оказывается песней, и песенность, скромно заявленная у Орлова, здесь поэтически близка более поздней песне на слова Расула Гамзатова «Журавли».

Миф уже сложился в своем трагически реальном значении, и С. Орлов ведет сюжет к естественному завершению, по-бытовому снижая тему, внося новую, поэтически необходимую мелодию. Далека дорога мертвых к живым, родным людям, не каждый «успеет дошагать до солнечных лучей в село родное» (по-сказочному постоянный мотив), но кое-кто одолеет неодолимое, и тогда:

Проснется ночью старенькая мать,
И сердце больно у нее занеет.

У ней в ту ночь прибавится седин.
В окно глядеть старушка будет долго.
Почудилось, что в двери стукнул сын –
А это ветер в дверь стучит щеколдой.

1943

Сюжет решен до полного завершения; миф сложился, исчерпал себя и нашел даже реалистически сниженное объяснение. Но он есть, миф, и звучит в поэтическом сознании высокой темой, вечной для людей, вечной для искусства и столь трагически общезначимой в наше время...

Уже в обобщении жизнь и смерть противоположены в стихотворениях «Здесь земля дрожала не от страха...» (1945), «А мы прошли по этой жизни просто...» (1944). Как бы в один мотив сливая две мелодии, они раздвигают тему, углубляют. Земля дрожала не от страха, ей горестно было, когда «осыпались звезды, как на плаху, на нее в ночной багровой мгле». Осыпались звезды и ложились «на сосновых надмогильных столбиках», но батальоны русоволосых ребят в краснозвездных ушанках снова и снова поднимались на врага, зная свой смертный удел. От имени их обращается к Родине поэт-фронтовик:

Звездная моя земля, Россия.
Огненным политая дождем!
Ты их на руках своих носила,
Ты их посылала напролом –
Сыновей своих, любимых, кровных,
Может быть, единственных, туда,
Где на дзотах в шесть накатов бревна,
Проволока густо в три ряда...

Многозначно проявленный образ звезды заявляет единую тему в высоком напряжении патриотической мысли в гражданском звучании, и звенящий пафос едва не оборванной струны, – чтоб не оборваться, – сводится к бытовым деталям фронтовой обстановки. Такова реальность, в которой обжились уже солдаты, не привыкшие к гром-

ким словам. И опять от их имени, но уже с подчеркнутой будничностью, пишет С. Орлов:

А мы прошли по этой жизни просто,
В подкованных пудовых сапогах.
Махоркой и соленным потом воздух,
Где мы прошли, на все века пропах.

Поэт рассказывает о сверстниках, чья жизнь – «от привала до привала», в снегах и знойном песке, жизнь, далекая от удач и счастья. Такая жизнь – жертвенна, но не в расчете на монументы, «не для звонкой славы мы замутили кровью столько рек». Жертва – ради самих потомков: «Мы горе, что по праву причиталось и им, далеким, выпили до дна». Тогда это было смыслом жизни и не казалось иллюзией, верилось, что в самом деле «им только счастье светлое осталось и мир всю жизнь, как нам всю жизнь – война». Ах, если бы так быть могло!.. Каждому поколению достается свое, и лирика Сергея Орлова – это гимн сверстникам.

Только любовь к Родине, руководившая советскими солдатами, дала им силу в любых обстоятельствах оставаться личностью. И едва ли не каждый из павших был вправе повторить слова погибшего поэта: «Свой добрый век мы прожили как люди и для людей» (Георгий Суворов). Понятно, что Сергей Орлов чувствовал себя обязанным говорить о человеке на войне крупно, с высоким уважением.

«Ему как мавзолей земля – на миллион веков!» Удивительно и как-то неожиданно прозвучали тогда, в 1944 году, эти строчки, в чем-то предвосхитившие символику «Человека» Эдуардаса Межелайтиса. Только так – крупно, в полный голос – Сергей Орлов считал необходимым говорить о подвиге русского солдата, потому-то стихотворение и осталось жить в поэзии, стало хрестоматийным.

А между тем эти стихи С. Орлова не сразу были поняты в критике, – тогда кое-кому они показались просто-напросто «нытьем». Теперь же проявляется иногда другая крайность: стихотворение противопоставляется порою всей остальной лирике поэта фронтовой поры как явление исключительное. Конечно же, не все равноценно во фронтовой лирике Сергея Орлова, но этот мотив – не случаен. Вспомните «Карбусель», как солдаты «подняли лопатами белый наст, вскрыли черную грудь земли». Здесь тот же образ, но осмыслен он, уже спустя год, во всей своей глубине и значительности.

Трудно объяснить почти магическую власть этих широко известных стихов, популярность которых превзошла всякие пределы. Наверное, простота речи, без всяких украшений, которою прямо определяется масштаб безличного солдатского подвига, в сочетании с лирической взволнованностью космического пейзажа, столь непривычного в подобном контексте, – наверное, это определяет характер образа, рожденного высоким чувством трагического звучания.

И млечные пути пылят
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут...

Интересно еще отметить вот что: стихотворение написано в ходе войны, но поэт, будто провидя долгую жизнь своего детища, говорит словно из дальнего далека времен: «Давным-давно окончен бой...» – из наших дней говорит и завтрашних. Сергей Орлов тогда был по-своему глубоко прав, и его правоту утвердило Время.

6

В 1944 году пишет Сергей Орлов «Стихи о конце войны», представляя, как

Война окончится Победой,
Наступит мир и оглушит,
Когда, отмечен дымным следом,
Последний выстрел прозвучит.

Оставшиеся в живых «второе ощутят рожденье», пушки умолкнут, и у бойцов «кровь остановится в висках», и от сознания счастья, на которое почти не было надежды, «страшный пот покрое лоб»... Поэт настолько сжился с фронтовыми буднями, что и отрешившись от них уже, кажется, остается все еще там, на передовой, кажется, в реальности переживает то, что еще только должно произойти в будущем, пусть недалеко. Но самому услышать последний выстрел Сергею Орлову на войне уже не довелось.

Не долечив тяжелые ожоги, в апреле этого года он сбежал из госпиталя в Белозерск. «Не важно, что не зажили еще раны – сам воздух родного края да свет из родных и любимых глаз будет для них исцеляющим бальзамом... – писал позже Сергей Викулов о своем друге. – Еще долго ходил он по Белозёрску, как рассказывают сегодня его земляки, с забинтованной, похожей на кокон головой – горели из-под бинтов только воспаленные глаза да чернели губы...»¹.

Страшно было взглянуть на свое обезображенное лицо, но еще тяжелее, наверное, видеть сочувствующие взгляды, испуганно уходящие в сторону. Жалость, она тяжело ранить может, а надо было жить... Вот тогда, наверное, и зародились стихи, в которых мужества поэту достало и перед собственной бедой.

¹ Наш современник, 1978, № 8.

Вот человек – он искалечен,
 В рубцах лицо. Но ты гляди
 И взгляд испуганно при встрече
 С его лица не отводи.

Он шел к победе задыхаясь.
 Не думал о себе в пути.
 Чтобы она была такая:
 Взглянуть – и глаз не отвести!

Собственная беда, но, заметим, о себе ведь и речи нет в стихотворении, как обычно у Сергея Орлова, мы имеем дело с непосредственностью переживания по конкретному случаю. «Вот человек...» – человек, каких много, тех, кого жестокою метой отметила война. И опять человек, не утрачивая своих обычных качеств, простой и смертный, обожженный войной, оказывается по-былинному значительным. Вы его видите, совсем рядом видите, чувствуете жалость и растерянность... И, сознавая эту психологическую ситуацию, поэт говорит просто и сухо вато те самые слова, которые и с вас как бы снимают невольную обязанность жалеть, и его, искалеченного, освобождают от тенет ненужного ему сочувствия.

Возвращение – тема в поэзии традиционная и обладает давно привычными атрибутами. Конец войны придает этой теме особое звучание, а кроме того, и личный драматический опыт Сергея Орлова оказывается весьма существенным. В его лирике возвращения мы видим явление весьма примечательное: в ней звучат и торжество победителя, и радость встречи, и трагический мотив невосполнимых утрат. При этом мотивы и образы переплетаются и в своем взаимодействии создают то диалектическое, противоречивое единство, которое и позволяет говорить об истинности поэзии, о ее гражданском звучании.

Конечно, не каждое из стихотворений удалось вполне. Настроения поэта в какой-то мере отражают и такие вещи, как «У той березки, где с тобой...», «Поезд», «Всю вселенную проехав с боем...», но в них С. Орлов еще не находит себя в новой теме и о своеобразии тут говорить не приходится. Скажем, в первом из названных стихотворений обыгран банальный житейский символ: сердце, пронзенное стрелой; конечно, здесь возникает тема нарушенной клятвы: любимая не дождалась солдата. В последнем солдат едет в родной край выбирать невесту, не найдя ее в Праге и Вене, совсем как в песне «Всю-то я вселенную проехал...», которую и перефразирует Орлов в последней строфе. Но в стихотворениях «Перед порогом», «Пароход покричал, покричал...», «Легко и кратко гукнул пароход...», «Возвращение» С. Орлов обретает свободу голоса, свою интонацию и уверенность образных решений. Она приходит тогда, когда человек чувствует себя самим собой, – вместе с простотой поэтического высказывания.

Невероятно трудно сбросить груз тяжелых переживаний, и почти боязно встретиться снова с тем, довоенным, ребяческим, «что помнится с трудом» через фронтовые дали.

Стою и силы нету
Тугую дверь открыть.
Хоть кто-нибудь ракету
Додумался б пустить!

Ах, и тут за фронтовой опыт ухватиться хочется, но все-таки и давнее мальчишеское озорство нашло выход!..

Узнавание родного края переполняет радостью жизни, и не омрачает ее даже то, что его самого не узнают.

Да где тебя теперь, солдат, узнать?
Он усмехнулся ртом, сожженным, криво.
Но вдруг подумал, как заплачет мать
Не оттого, что инвалид, что жив он!

Заметим опять же: пока переживается радость первой встречи с родным краем после войны, поэт говорил от своего имени. Как только речь заходит о моменте драматическом, что может пробудить в людях особое внимание и жалость, он переходит к форме изложения от третьего лица. Здесь фигурирует уже как бы не сам поэт, даже не лирический герой, а солдат – герой объективированный. И соответственно отмечается жест («он усмехнулся ртом, сожженным, криво»), выдающий внутренние переживания. Отмечается со стороны, – о себе так сказать невозможно. Тем самым не только оберегается сокровенное в собственной душе, но и достигается типичность ситуации, а в ней – и характера.

Испуг в чужих глазах, нескрываемая бабья жалость – все нипочем, однако, перед радостью жизни и встречи, когда родимая изба вот уже рядом:

В калитку сердце – не рука стучится,
И взяты за железное кольцо –
Как будто вдруг со счастьем обручиться.

Стихи Сергея Орлова на тему возвращения, написанные в самое первое время после войны, неравноценны и неодинаковы по своей образной сути. Кое в чем он не избежал банальности. В одних случаях поэт возвращается к предметной образности довоенных стихов и тех из созданных на фронте, что навеяны памятью о родине (например, «Осень»). В них как бы забыты, отброшены фронтовые дали и годы и дает себя знать лирическая описательность. В других случаях, когда С. Орлов задевает драматические мотивы, следы войны накладывают свой отпечаток на восприятие возвращенной родины. Тогда лирическое напряжение резко нарастает, а поэтические образы обретают объем и многомерность.

Закончив свои фронтовые университеты и находясь в далеком Белозерске, Сергей Орлов мысленно возвращался к войне. Память обжигала наплывами трагических видений, мучили сны, разум стремился

объять необъятное – все это отразилось в стихах. Бывший танкист сознается:

Забытый орудийный гром
Мне память по ночам тревожит...

Силою неумолимой памяти приходят к нему ровесники, однополчане. Приходят в стихи, «не вытирая с ног земли, шинелей не стряхнув при входе, какими в жизнь мою вошли...» И обобщенно рисуется ситуация, перед которою каждый из них оказывался десятки, сотни раз: дым газойля, тяжелое движение танков; полотнища зари и дыма разметает ветер, и ущербная луна разбивается о камень... И тем, кто час назад из атаки, снова идти в атаку, и снова «огонь по плечи», «снег по грудь...».

Даже теперь этот путь повторяется вновь, и не силою памяти, а непосредственностью самого бытия на войне, – каждую ночь до рассвета, путь, отмеченный кровью на мхах, гибелью на переправах... Так жила фронтовая юность, и «так рождаются стихи о юности, войне и славе».

Тяжкой ценою оплачены эти стихи, невыносимо тяжело... Но пришел, наконец, и тот день, который потом всегда считал Сергей Орлов самым памятным для себя днем...

Позже он сам писал: «...На исходе белой ночи мы, двое демобилизованных по ранению офицеров, поехали ловить рыбу в устье Ковжи. Река неслась стремительно, как время. В ней и над нею стояли нежные, чуть окрашенные в розовое золото облака и две черные стены леса, поделенные вдоль желтыми полосками болотистых берегов. На высоте берега обрывались в спящей глади Белого озера, горизонт которого сливается с небом. Мы залюбовались солнцем. Оно поднялось из озера, огромное, алое, в быстро рассеивающемся дыме тумана. В первое мгновение на него можно было смотреть, не закрывая глаз. Мы еще смотрели на солнце, когда в устье так стремительно, чтогнулись весла, ворвалась лодка. Люди в ней кричали самим себе, берегам, реке, небу, нам: «Кончилась война!» Ни одна лодка не прошла до этого мимо нас в озере. И до сих пор не знаю, почему не из деревни, а из безлюдного сияющего простора вместе с родившимся солнцем пришла эта весть. Она пришла, и на солнце стало невозможно смотреть без слез. И мы, схватившись за весла, поспешили к берегу, к людям...»¹.

День Победы подсказал С. Орлову стихотворение:

В небе красным караваем
Солнце медленно встает.

И как будто бы с обрыва,
Чей – не вспомнить, как волна,

¹ Литературная газета, 1957, 28 ноября.



Сергей Орлов



Прием в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца после окончания VI съезда писателей СССР. Слева направо: В. В. Дементьев, В. А. Жуков, С. В. Викулов, В. И. Белов, Ю. В. Бондарев, С. В. Потемкин (инструктор отдела культуры ЦК КПСС), С. С. Орлов



III Всесоюзный съезд писателей. В кулуарах БКД. Слева направо: Е. А. Пермяк, С. С. Орлов, А. Я. Яшин, В. П. Беляев



Сергей Орлов



Открытие памятника Сергею Орлову в Белозерске

С лодки крик летит счастливый:
«Люди, кончилась война!»

И недавний танкист, «подчистую комиссован, неубитый, молодой», признается в охвативших его чувствах: «Я стою, смеюсь и плачу, белый свет не узнаю».

В тиши своей районной столицы в этот день Сергей Орлов не мог не думать, не вспоминать о своих друзьях, что на фронте дождались Победы. От многих из них, наверное, вскоре он услышал, как они отметили великий день в своей жизни. Такими рассказами, видимо, и навеяно стихотворение «Вино» (сентябрь, 1945), в котором есть что-то и от баллады и от вакхической песни: эмоциональный настрой отмечен застольным юмором и великой радостью.

Много лет хранилось в подвалах вино и, наконец, извлечено на свет: «В тот день на свете мир настал после жестоких войн». И крепким же оказалось старое вино: «Победителей оно валило наземь с ног».

И контрастно этому по лаконичной законченности, чеканности образа стихотворение «Мать» (1945), в котором образ Победы складывается как трагический символ:

Она молилась за победу,
Шесть сыновей на фронт ушли,
Но лишь когда упал последний,
Чтоб никогда не встать с земли,
Победа встала на пороге,
Но некому ее встречать...
«Кто там?..» – спросила вся в тревоге
Ослепшая от горя мать.

Это – страшный вопрос... Тем более, что «страшных» слов Сергей Орлов не говорит, – у него их попросту нет в употреблении. А сюжет баллады развернут в конфликте жизни и смерти, в максимально обобщенных образах Матери («Она молилась за победу») и самой Победы – эпических по своему характеру: это – как Человек и Судьба. Но в обобщенности их – не абстракция, а всеобщность судьбы народной, которая не нуждается в пояснениях и иллюстрациях.

Окончивший военную страду поэт думает и о себе, о своем будущем, чуть иронически пересматривая личный опыт:

В детстве в речке меня ловили,
Откачали, остался жить.
Парнем стал – в поход снарядили,
Шлем танкистский дали носить...

Ах, как просто жизнь распоряжается судьбой человека! И такая судьба («парнем стал – в поход снарядили...») не одного юноши, а миллионов. И эту всеобщность С. Орлов выразил, как видим, в одной строке, двучленным оборотом, построенным по типу поговор-

ки. Здесь то, что немногим миновать довелось, ну а что там в речке ловили – так это случай, от которого никто не застрахован, но немногим выпадает...

Пусть несоизмеримы события, но вопрос ведь стоит о жизни и смерти. «Два раза опаленный» высказывал он из огня и на войне. И вот теперь по-новому проявляется забота о будущем:

Все прошедший – огонь и воду,
 Не в пословице – наяву!
 Сколько лет, до какого года
 Проживу?..

Светлой радостной дымкой подернуто будущее для юноши, вышедшего из огня, и ожиданием само восприятие мира определяется. Мир без войны лежит у ног поэта, бескрайний, подернутый розовой дымкой, пока не познанный заново, – он еще только узнается. В стихотворениях «Ночь», «Над городом синие тени...», «У костра», «Зима» очертания мира мечтательно расплывчаты и зыбки, как сами надежды, владеющие поэтом.

Полна умиротворения ночь у С. Орлова и насыщена отрадными поэту деталями желанного спокойствия и мира. Все – и крик петуха, и комариный звон, и вздох спящего теленка возле жующей жвачку коровы, – все говорит о мире. И спокойно «хозяин спит с хозяйкой на полатах, окончен день и току отдых дан», и добрые сны приходят к рыжим чернопятым ребятишкам. Умиротворение во всем, кажется, мире:

Деревня спит, домишки сбились в кучу,
 Поблескивают крыши, как хребты,
 Под месяцем рогатым и колючим,
 Глядящим на деревню с высоты.

Тишина, желанный мир... И возле сельского совета звучат частушки под гармонь. И только медали на груди гармониста напомнят недавно отпыхавшую войну да Штраус, звучащий по-русски на кирилловской гармошке, скажет о переменах в таком издавна привычном мире...

Отмечая в конкретных приметах приближение зимы, Сергей Орлов с отрадой подчеркивает, что «за пять лет впервые наступает простая невоенная зима».

Затопим печь, забудем о разлуке.
 Пускай мороз, пускай метель метет.
 Никто теперь, дыханьем грея руки,
 В разведку в этот вечер не пошлет.

Ощущение времени в движении его глубинных пластов есть в этих стихотворениях Сергея Орлова, но лишь как живая и непосредственная память о недавнем, как не развернутое в сфере переживаний знание о настоящем и не ясное пока еще представление о будущем.

...Вот крыльцо скрипнуло, звезда упала, и песня-сказка ждет дороги к красавице, что «где-то за горами и лесами», и вот уже «развернулась скатертью дорога, пахучим припорошена сенцом». В стихотворении «За Вологодой метели с бубенцами...» мотивы сказки и детали реальности сплелись радостью ожидания, светлого восприятия жизни и радужных надежд. И тревожат поэта «о светлом, несбывшемся думы», давно знакомые, словно вернувшиеся из ранней юности, и окружающее соответствует им, подсвеченное настроением легкой грусти: «Над городом синие тени, закат отгорел и погас, и света и тени смешенье...». И час этот – «какой-то особенный», даже сумрак – «какой-то торжественный», – жестоких контуров фронтальной лирики здесь уже нет.

В новых условиях, к ним привыкая, Сергей Орлов ищет новые возможности постижения мира и чувств человека. Он прислушивается к незнакомым движениям души, которые для него самого еще не обрели определенности. И отсюда – поиск пока не опробованных им средств поэтической выразительности.

Одной из очень заметных творческих удач представляется мне стихотворение С. Орлова «Огонь на поленьях сосновых в печи...» (1945). Поэт не опубликовал его, и можно только гадать, почему... Это сильное, зрелое стихотворение, в котором чувство поэта открывается в противоречивой многомерности и одновременно цельности, хотя может оно показаться в чем-то и наивным, и излишне глубокомысленным. Но только показаться, хотя не по этой ли самой причине не публиковал его поэт при жизни?..

Те, кто не устает глядеть на огонь, полыхающий в печи, и думать, угадывая в странной игре пламени тайны своей собственной жизни, тот знает, что вольно бьющаяся мысль извлекает из забвенья самые разные образы былого и сочетает их, не принимая в расчет вроде бы заведомую несводимость... И вспоминаются костры на привалах в ночи, раскат журавлиной трубы далекой осенью, – то, что недавно открыли «дороги солдатской судьбы». Ах, какие они и дальние, и грозные...

А это выплывает воспоминание о ней, что когда-то встретила и запала в сердце, а теперь писем не пишет. Почему?.. Время идет, а горькое недоумение исхода не получает, и миг превращается в вечность: «Над черною крышей, рокоча, прошли журавли. И умер огонь. Замолчала за стенкой вода...» – время остановилось. Мгновение схвачено то, фронтальное, и это, мирное – в образе журавлей... Но вот наваждение освобождает поэта и, как бы очнувшись от грезы, он представляет знакомый уже ему огромный мир в этот момент времени: «В рассветную сонь погрузились и в синь города».

Определились: «я и мир», – и логичен переход к раздумью о себе: «Сегодня я старый, и тысячелетняя грусть ложится недаром ударом

на сердце...». Это может показаться если не рисовкой, то уж во всяком случае легковатой «мировой скорбью» человека еще совсем молодого (и в самом деле – только двадцать четыре года!) Но ведь настроение охватило многое, в нем не только грусть о любимой, но и живая память о фронтовой грозе, о погибших друзьях, огонь и сотни смертей, – этого хватило бы на много жизней!

Тысячелетняя грусть – это серьезное и тяжелое реальное чувство. Оно вносит свою поправку в интимные настроения поэта: «...Но пусть. Пусть ты обо мне вспоминаешь не часто, не так. Ерунда!..». Тяжелые воспоминания как бы стряхнул поэт, освободился от оцепенения, освободился и от гнета памяти о любимой: этот миг наступил разом, и верится, что жизнь не остановилась, и видится она на много лет вперед от сегодняшнего мига. Верится, так и будет, – отныне и на века:

Огонь оживет.
Заворкует за стенкой вода.
И годы пройдут журавлями,
И канут вдали журавли.
С годами отстану грустить
И тебя затеряю вдали...

Повторы в композиции утверждают вечность жизни, повторяемость в ней, и утраты уже не представляются невозвратными. Нет! Пусть перемены в своей судьбе видятся хоть и в реальных, но слишком общих контурах («Женюсь. Закажу себе трубку, халат закажу...») – это лишь символ смирения с судьбой в домовитой успокоенности, которую поэт и сам не верит...

Реальной представляется лишь жизнь того чувства, что сегодня безраздельно владеет поэтом. Отсюда эта мысль снова возвращается к огню, что вновь разгорится когда-то, уже в иной печке (которую он почему-то без необходимости называет «грубкой» на белорусский манер). Поэт представляет, как – в том, неясно представимом будущем – положив березовых дров, он разожжет их костром, «и, костер, огонь языкатый, откроет далекий простор, солдатских биваков седеющих дым...». Ах, юность!.. И молодой поэт, в эту ночь проживший тысячу жизней, испытывавший тысячелетнюю грусть, с ее высоты представил, что снова стал молодым, и к солдатскому костру, как бывало когда-то в сладких грезах, пришла она и греется, станет греться с ним здесь у огня, «пока непреложная полночь не скажет – пора...».

Непреложная полночь – от сказки, но вполне отвечает прихотливости настроения, которое в своей многомерности едва уже укладывается в строки, поэт повторяется в словах, сбивает ритм... Здесь это так естественно и многозначительно!.. Да, она, уходя, скажет: «Оставь мне здесь место...» Она еще не раз придет к нему, к солдатскому костру...

И так точно, необходима и не по-юношески мудра концовка, что верить, будто за плечами поэта не двадцать три года, а долгая-долгая жизнь.

Уже вскоре после войны Сергея Орлова волнуют и мирные темы. Но не труд людей в тылу, как можно было бы ожидать, заинтересовал поэта. К этой теме он скорее всего еще не был готов, – довоенный опыт был невелик, а фронтовой требовал переосмысления в новых условиях. И Сергей Орлов обращается, с одной стороны, к далекому прошлому родного края, с другой – к фантастически отдаленному будущему. При этом, думается, первоначальный замысел поэта давала опять-таки война.

Восторг открытия и познания, чувство само по себе вечное, отразился в стихотворениях «Романтика», «И вдруг нахлынет, вновь пойдут слова...». «Хочу в неведомое верить и думать вновь, что мир велик», – пишет поэт, и эту веру его могут пробудить даже незначительные, но остро пережитые мгновения в жизни нынешнего человека, как некогда и землепроходца, открывавшего неизвестные земли. Это побуждает верить, что и в наш век «романтика жива».

Развивая ту же тему на материале поэтического познания, С. Орлов догадывается, что именно от радости открытия рождается поэзия, не профессия, а мировосприятие, и дает это понять на историческом сопоставлении.

Быть может, предок дальний по реке
Плыл налегке и слушал шум уключин,
Увидел дым становья вдалеке,
Холм, облака – весь мир в красотах жгучих,
И вдруг запел, и звук пленил его,
Заныло сердце неизвестной властью...

Вот так власть поэзии, – и нет выше этого счастья творчества, – захватывает человека и ныне:

И вдруг нахлынет, вновь пойдут слова,
И тайный трепет вновь охватит душу,
И захмелеет разом голова...

Историзмом, чувством, выношенным на войне, проникнут триптих «Белозерье», посвященный родному краю, и напоминает он стихи о Новгороде 1943 года. Восприятие реальности поэтом здесь уже формирует представление о давно минувшем: ели – «словно колокольни, подняли к облакам кресты», как скиты – «древней темнотой раскольной полны овины». Древностью отзывают и туманы, плывущие «за раздольем трав духмяных, болотных», и вечный шум тресты на озере. Способ воплощения чувства истории в этих стихах предвосхищает в чем-то позднего С. Орлова («Сказы о Дионисии») и даже Н. Рубцова («Шумит Катунь», «Взбегу на холм и упаду в траву...»).

В триптихе «Белозерье», наметив тему древности и психологически, в деталях, ее подготовив, Сергей Орлов развивает ее, прибегая

к архаизмам, сравнением готовит переход к событийному ряду. Над курганом Синеуса (одного из четверки первых, по легенде, русских князей, что правил в Белозерске) восходит луна; луна – «червленая», «над всею православной Русью как круглый русский щит она». А там, над Непрядвою, «небо скрыто в тучах чадных», и крик над Мамаевой ордой, и князья выводят засадный полк. Прошлое оживает в воображении поэта горьким торжеством: «О, Русь, вот день победный твой!..».

Поэт недоговорил, поскупился на детали, но цена победы познается в плаче белозерской княгини на городском валу (вал этот еще частично сохранился в Белозерске). Нет, она не станет роптать на судьбу, хотя ее князь, муж, возлюбленный «спит на поле Куликовом». Теперь уж «Русь его качает на груди пуховой, возлюбленного своего», а ей – вдовий жребий достался.

А мне, как чайке, убиваться,
Над озером тоску тая...
Не сможет по Шексне подняться
Его узорная ладья...

Но не только в прошлое обращается поэт, его не менее занимает и отдаленное будущее. И первый импульс возник как-то весьма неожиданно, рожденный реальностью фронтовой страды.

Размышляя о минувшей только что войне, молодой поэт как-то сумел отрешиться от реальности, подняться над нею и взглянуть на нее нездешним взглядом далекого-далекого потомка, который «в каком-то многотысячном году» отправляется «на ракетоплане на только что открытую звезду». Взглянул и понял, что нашим разумным наследникам ничем не представить, «как от звона стали земля дрожала в пламени костров и как ракеты толком начинали и посылали предки на врагов».

Как же ему, потомку, все это вообразить, если у него нет и понятий «враг», «противоположность целей», если самоуничтожение (а вне этих понятий войну никак и не осознаешь) с разумом не согласуется. И Сергей Орлов прибегает к предположению:

Он скажет так (и прав, пожалуй, будет,
Лишь по преданьям знающий войну):
«В тот дальний век изобретали люди
«Катюшу» для полета на Луну».

(«Потомок наш о нас еще вспомнит...»)

В 1945 году мирная обыденность жизни радует поэта-фронтовика, но даже она не дает отрешиться от памяти о недавнем прошлом. Закаты над озером напоминают пожары украинских хуторов, гнезда стрижей по береговому обрыву – как следы пулеметной очереди. Пчела представляется пулей, а гроза – бомбежкой. Им конца нет, этим тревожным ассоциациям, невольным сопоставлениям. Даже утренняя

тишина – как затишье, наступающее, когда рядом смолкают орудия, и тогда «слышно вдруг, как дышат люди и как сердца у них стучат». И нет порою доверия этой тишине:

И снова кажутся кометы
И звезды в небе тишины
В ночи шипящую ракетой
С чужой, немецкой стороны...

7

Говорить о самостоятельной поэтике начинающего стихотворца Сергея Орлова в ту пору, когда он пошел на войну, не приходится. Да, поэтичностью видения он обладал и свои представления мог облечь в звонкую метафору или выразить свежим сравнением, неожиданным эпитетом. Да, он впитал с ранних лет напевность северорусского наречия и умел воспользоваться частушечными ритмами, но и только. С таких, пусть и обнадеживающих, начал до зрелой работы в поэзии было далеко. Но как тогда сумел поэт в кратчайшие сроки творчески преодолеть дистанцию огромного размера и создать уже в стихах военной поры неподражаемый лирический эпос Великой Отечественной?

Поэтика, индивидуальная творческая система, начинает складываться у любого поэта вслед за формированием его взглядов как средство их воплощения. И в этом смысле прямое участие С. Орлова в общенародной борьбе с фашизмом ускорило его внутреннее развитие, а вслед за тем или одновременно с тем дало толчок для последовательного складывания его поэтической системы. А об отчетливо выраженной поэтике фронтальная лирика С. Орлова уже дает основания говорить.

Правда, самобытность фронтальной лирики Сергея Орлова критика поняла далеко не сразу. Даже А. Тарасенков, критик серьезный и вдумчивый, полагал, что его стихам «не хватает еще огня, пафоса, идейности, глубины мысли», что «исторического воздуха Победы, его мировых перспектив не видно в книжке стихов Сергея Орлова».¹ Ныне те же самые стихи принимаются безоговорочно и оцениваются как одна из вершин поэзии военных лет. Между тем они не изменялись, почти не тронуты поэтом, изменились лишь наши представления о поэзии под влиянием ее же самой.

А тогда, в условиях всенародной войны, поэзия переживала острейшую ломку. Определить, каким должен быть стих, никто не брался, да это и не нужно, – в регламентациях и рецептах пользы нет. Новое рождалось в творческой практике как живой отклик на события.

¹ Тарасенков А. С. Орлов. Третья скорость. – Знамя, 1947, № 4, стр. 171.

С первых дней войны Сергей Орлов не мог не думать о том, как можно наиболее точно передать в стихе драматическую грандиозность событий, непосредственным участником которых он стал. Он сознавал, что «война задела дымным краем широкий круг насущных тем» (1942). Одно это уже начисто отрицало, казалось бы, привычные (пусть для него привычка и не была еще длительной, устойчивой) поэтические приемы.

Оно и понятно, ведь когда «поэзия страстно хочет заговорить о новом», по словам В. Брюсова, она «ищет для этого нового языка, чувствуя, что старый уже не пригоден». В суровых обстоятельствах фронта «метафор золотые слитки, сравнений буйство, слов покров» в глазах Орлова уже не имеют прежней цены. «Единственным сюжетом отныне и до дней иных, – полагает он, – войдут лишь чтимые поэтом и штык, и лозунг в каждый стих».

Определяющими качествами поэта Орлова явились его интерес к ежедневному бытию человека на войне и его коллективистская психология. При этом молодой поэт оказался в значительной мере свободным от некоторых условностей, характерных для советской поэзии, слабее выраженных в пору войны, но все-таки вовсе не безобидных. Писал он «для себя и для друзей своих», а не для журналов, и мог не оглядываться (так же, как и многие другие поэты его поколения), – отсюда жесткий реализм его стихов. Счастливо избежал Орлов и эгоцентризма, в поэзии обычного, может быть, потому, что по натуре своей был всегда предельно скромнен, может быть потому, что рано понял необходимость и силу фронтового братства, – скорее же всего, сказались обе эти причины.

Как мы видели, был Сергей Орлов обыкновенным танкистом и по одному этому психологию солдата на войне знал изнутри и всегда мог испытать свое знание в сравнении с поведением боевых друзей, чьи души для него были открыты с дружеской доверительностью.

Зоркая наблюдательность поэта-танкиста Сергея Орлова, обостренная впечатлительность, развитое чувство слова, – те слабые, которые предопределяют дарование, – не выделяли его из массы, но открывали ему возможность выразить настроения и переживания своей среды при уверенности быть понятым боевыми однополчанами. Так пришла к поэту искренность, а потом и способность за малыми победами, незаметными делами видеть подвиг солдата (уже – читай – народа) в его исторических свершениях. Но это качество, без которого не может вырасти большой талант, сложилось не сразу.

Не однажды в критике писали о влиянии Н. Тихонова на фронтовую лирику С. Орлова, и одним из первых – А. Тарасенков. По его словам, для стихотворения «Карбусель» молодой поэт «взял у Тихонова эту крепость интонаций, лаконичность выражения, этот строй ладно сбитых мужских рифм, романтически волнующую балладную форму. Все это как бы снова возродилось, будучи примененным к материалу Великой

Отечественной войны»¹. Родство-то в самом деле очевидно, но нельзя возродить нечто из прошлого поэзии в применении к новому. И бессмысленно искать сходство, так сказать, по линии заимствования поэтических средств.

В этой связи обретают свой смысл, стихийно открытый, известные строки С. Орлова:

Пуškai в сторонку удалится критик:
Поэтика тут вовсе ни при чем.
Я, может быть, какой-нибудь эпитет –
И тот нашел в воронке под огнем.
Здесь молодости рубежи и сроки,
По жизни окаянная тоска...
Я порохом пропахнувшие строки
Из-под обстрела вынес на руках.

(«Руками, огрубевшими от стали...»)

Конечно же, поэт не может отрешиваться от поэтики: вне ее, заемной или собственной, лирика не существует, и это прекрасно знает С. Орлов. Однако он полемически утверждает, что поэтика не есть нечто внешнее и безразличное к содержанию, что можно использовать либо отбросить по своему произволу. Нет, поэтика определяется внутренней логикой творчества как способа утверждения себя самого в жизни. Исходя из этого для критика выявляется, по словам М. Бахтина, «основная задача – прежде всего определить художественное задание и его действительный контекст, то есть тот ценностный мир, где она ставится и осуществляется»².

Вот об этом – о действительном контексте, то есть о фронтовой действительности, в отношении к ней поэта со всем его наличным духовным опытом, и о конкретных художественных заданиях, так или иначе реализованных в его стихах, до сих пор и шел у нас разговор. Попутно исследовались и отдельные особенности поэтики Сергея Орлова. Иначе невозможно, поскольку посредством ее воплощается жизненное содержание, в ней себя находит. Теперь же нам остается некоторые моменты суммировать, о других свойствах поэтики С. Орлова поговорить особо, уточняя при этом смысл и значение его поэтического эпоса.

Мы уже отмечали строгий реализм лирики Сергея Орлова: кажется, сама фронтовая страда напрямую отражается в стихе. И верно когда-то отметил Д. Молдавский, что у Орлова «нет ощущения границы, лежащей между поэзией и жизнью, вернее, между «поэтическим» и «бытовым»».³ Такое впечатление создается прежде всего за счет конкретности деталей, которые

¹ Тарасенков А. С. Орлов. Третья скорость. – Знамя, 1947, № 4, стр. 171.

² Бахтин М. Проблема автора. – Вопросы философии, 1977, № 7, с. 153. ³ Молдавский Д. О стихах Сергея Орлова. – Звезда, 1959, № 5, с. 194.

в первую очередь и определяют эпический характер лирики С. Орлова. Подчеркнем, это первое условие, но далеко не главное, хотя и достаточно существенное.

Они бесконечны в своем разнообразии, штрихи суровой фронтовой действительности. Только боевой танкист может знать, как пушка разбитого прямым ударом танка «глядит немигающим глазом в синеву беспредельного неба», как рвутся боезапасы – снаряды, патроны. И каково в такой обстановке экипажу – можно ли представить? Сергей Орлов стремится передать происходящее как можно точнее, чтоб и тот, кто не бывал в подобной ситуации, все это представить мог:

Как руками без кожи
 Защелку искал командир,
 Как механик упал,
 Рычаги обнимая,
 И радист из «ТТ»
 По угрюмому лесу пунктир
 Прочертил,
 Даже мертвый,
 Крючок пулемета сжимая...
(«У сгоревшего танка»)

Здесь – прямое сообщение, рядовой эпизод из фронтовой действительности, – Сергей Орлов вполне доверяется речи точной и нагой, лишенной даже элементов внешней изобразительности. Он добивается глубины поэтического высказывания за счет правдивого отражения того, что он видел.

Прямому высказыванию соответствуют и технические термины, нередкие у Орлова (смотровая щель, шлемофон, трак, артподготовка и т.п.), слова команды или инструкции («Проверь мотор и люк открой»). Образность в его стихах всегда задана окружающей действительностью: «Пламенем задетый, захлебываясь дымом, взвыл мотор», «багровых вспышек непрерывный ряд», «летят ветра, седые клубы дыма разметая», «в золе и пепле вся передовая» («Памятник»); «в огне багровом потонули дали» («А мы такую книгу прочитали...»); «лесом шла железная страда» («Кукушка»); дали «грохочущие», солдаты «усталые» и т.п. Чаше мы встречаем не эпитеты даже, а логические определения. Обычно нет в стихах С. Орлова ни одного экспрессивно «заданного» слова, тем не менее в скромных деталях, неброских эпитетах складывается цельная картина в ее психологической подлинности.

В своей военной лирике С. Орлов не утратил броской метафоризации, но привычные для него образы находят иную, соответствующую условиям подсветку. Скажем, поэт пишет о том, как «наступает фронтовая осень на родных израненных полях», и светлые березы, милые рябины, любимые им с ранних лет, по-фронтовому преобразаются:

«Вся в крови над речкою рябина, все березки тонкие в бинтах» («Ходят тучи, сизые до злости...»), «...угли на снегу с утра – как снегирей багровых стая» («Дымок дыхание костра...»). Припомним, осенью 1941 года С. Орлов писал: «Как знамена, рябины нас зовут на войну» («Как на родине? Осень...») и снова, в 1945: солдат с победой возвратился в родные места и видит, как «рябины, словно флаги, пламенеют по лесам» («Поезд»).

Наряду с этим появляются в лирике С. Орлова и усложненные метафоры и сравнения уже не зрительного характера, но, при всей внешней конкретности, нравственно-отвлеченного плана: «Солдатская простая дружба – как папироса на двоих...» («Дружба»), «идут машины, точно громы, сошедшие с крутых небес» («На марше»).

Иногда образ выглядит изысканным, но никогда не отрывается от действительности» («У огня своя архитектура...») – в огне видит поэт «пламени готические башни, дыма голубые купола», и эта развернутая метафора – плод поэтического осознания фронтовых впечатлений. Пусть поэт не уверен сам, где он видел эти странные фигуры, догадки его справедливы:

Может, за Варшавою костелы?..
Может, церкви белые в Софии?..
Или, может, это наши села
Догорали в трудный год в России?..

За конкретной деталью, которая и сама по себе для Сергея Орлова поэтична, умеет он увидеть и второе, символического плана значение. Таково стихотворение «Смотровая щель» (1944). Весь мир, кажется сузился в одну эту смотровую щель, от которой «может, пятый час водитель не отводит глаз», вцепившись в рычаги во мраке и тесноте машины. «День, словно узкая черта, сквозь щель едва-едва пробился», и ничего, кажется, нет больше:

А щель узка, края черны,
Летят в нее песок и глина.
Но в эту щель от Мги видны
Предместья Вены и Берлина

Однако мало просто отметить сочетание двух, казалось бы, неоднородных, чуть ли не взаимоисключающих способов творческого отражения действительности в лирике Сергея Орлова. Важно понять, найти в этом смысл и значение, определенную закономерность. Ведь подробность более соответствует прозе и для поэзии таит в себе опасность описательности, а символика нередко черевата высокопарностью, – обеих опасностей Орлову удастся счастливо избежать.

Для своих друзей иллюстративная описательность в стихах не нужна, больше скажут подробности, использованные скупно и необ-

ходимо, – так поэт был понят и принят сверстниками. Иллюстрации не нужны и тем, кто лицом к лицу войны не видел, – пусть иначе, посредством книг и кинохроники, масштабных фильмов, – войну они знают. И подробности Сергея Орлова, которые своей непосредственностью не вызовут сомнений, убедят и их, более того, дадут возможность проверить иные иллюстрации и – увы! – нередко убедиться в их несостоятельности. То, что сообщило стихам С. Орлова их жизнь на войне, в кругу друзей поэта, – это же самое открывает им и долгую жизнь в будущем.

Детализация сообщает эпическое звучание поэзии С. Орлова, которое закрепляется, получает размах и масштаб в монументальности символических обобщений. В таком единстве угадывается традиция, идущая от древнерусской литературы. Как ее ведущий признак академик Д. С. Лихачев отмечает стиль «монументального историзма», потому она уже на первом веке своего существования «была оптимистически обращена к будущему. Этот глубокий оптимизм ее символичен. Это великое начало великой литературы». А со временем, подчеркивает Д. С. Лихачев, «монументальность осложняется, приобретает эмоциональные формы, выдвигается личностное начало, психологизм, динамизм осложняет стиль». Разумеется, вряд ли древняя русская литература была широко знакома молодому поэту в фронтовую пору, однако «Слово о полку Игореве» его не раз вдохновляло на драматически проникновенные стихи.

Есть еще одна примечательная особенность военной лирики Сергея Орлова – какое-то неистребимое влечение к песне. Нет, я не о том хочу сказать, что молодой поэт стремился к созданию собственной песни, хотя и такие попытки у него есть, – очень часто он пишет стихи о бытовании песни в солдатском кругу. Таковы «Ирландская застольная», «В танке холодно и тесно...», «Песня – что-то вроде костра...», «Песня о кочегаре», «Отдых» и другие. Впрочем, интерес вполне объяснимый.

«Песня – что-то вроде костра, золотому огню сестра», – сказал как-то раз поэт, начиная одно из своих стихотворений. На песню все охотно сходятся, «никому у нее не тесно и не холодно до утра», помогает она солдату выстоять в ратном труде, придает уверенность в будущем. Кстати, припомним, образ костра – один из самых излюбленных в поэзии Сергея Орлова, и образ звучащей песни – точно так же (впрочем, это и отражение фронтовой реальности). И костер и песня заключают в себе нечто родственное, а именно – дух коллективизма, чувство локтя, которое незримо, но реально живет как в дружеском кругу вокруг огня, так и в единстве переживания песни.

Реминисценции из песен нередки в стихах С. Орлова. Так, вспоминается поэту «затерянный в просторах городок и домик, и, как в песне говорится, на девичьем окошке огонек», – память ассоциа-

тивно сливает личный опыт и популярный песенный образ. В других случаях сюжеты популярных песен еще теснее переплетаются с обстоятельствами жизни воинов на фронте.

Под иглой патефона в землянке звучит «Ирландская застольная», и ее «окопный слушает народ», переживая чужую печаль как свою, и, когда послышался за дверью «мины визг и в дверь – осколков стук», старинные слова песни: «Миледи смерть, мы просим вас за дверью подождать!..» – обретают новый, вовсе не отвлеченный, а безусловный смысл, заданный самой обстановкой. Вот так же включается в личный опыт и «Песня о кочегаре», хотя там, где воюют поэт-танкист и его друзья, нет ни моря, ни реки. Вечерами пели они и знали: «...Кого-то между нами ждет напрасно мать к себе домой». Переживания лирического героя песни созвучны чувствам молодых фронтовиков, и это С. Орлов поясняет прямо, мечтая, чтоб все было иначе. Только на войне надеяться на исполнение желаний трудно, и концовка, как вздох, печальна и безответна: «Песня, песня, где друзья сейчас?..».

Зная властную силу песни, Сергей Орлов как-то и сам попытался создать стихи в этом роде. «В землянке» (Февраль, 1942) – это, несомненно, опыт песни с традиционным обращением к товарищу (он, конечно, «бедовый»), с характерным зачином («Лучше с песней в землянке сосновой разверни на колене гармонь»). Не отмеченная особой оригинальностью, эта песня все-таки и мелодична, и точна по целевому назначению – внушить своим друзьям (и, наверное, себе) уверенность в светлом будущем.

Отгремят, как тяжелые грозы,
Беспокойные эти года,
И к родным белозерским березам
Нас еще унесут поезда.

Опыт народа-языкотворца, как видим, не прошел мимо молодого поэта. Сергей Орлов, впрочем, не увлекся видимой легкостью складывания непритязательных песенок на частушечные мотивы и ритмы. Обращение его к другим жанрам народно-поэтического творчества тоже оказалось эпизодическим.

Сказка из детства не часто навещает поэта: из страны детства дороги на войну заказаны. И все-таки однажды, когда ему вспомнилась мать («Погадай мне в этот вечер...»), вместе с нею пришла принятая с ласковой снисходительностью и сказка как мечта о встрече с незнакомкой (конечно же, «в брюках, в ватнике, с ремнем») где-нибудь в лесной избушке: «Стань, избушка, передом...». Но это лишь тайное и, поэт вполне сознает, неосуществимое желание. А поэтическое воображение работает, разбуженное сказкой, и рождает ассоциации в привычном образном ряду. И кстати ответит молодому танкисту многоопытный всеведущий Пушкин:

«Ни огня, ни темной хаты...» – и строка мастера естественно вписывается в стихи молодого поэта.

Есть в народе поверье: звезда с неба упала – где-то человек умер. В стихотворении «После боя» Сергей Орлов пересоздает поверье. Он конкретизирует общую формулу деталями реальной обстановки («На закате закончился танковый бой. Грохотали моторы, вдали догорали «пантеры»...»). А вслед за этим поэт вводит традиционный символ, сообщая ему совершенно новое содержание, земное и духовное одновременно:

Прокатилась
По синему небу
Над черной землей
И упала
На столбик сосновый
Звезда из фанеры...

Народно-поэтическая атрибутика (небо «синее», земля «черная», упавшая звезда) в сочетании с прозаизмами (сосновый столбик, фанерная звезда) дает неожиданно сильный эффект. Традиционная символика, связываясь с реальностью жизни, обретает высокое трагическое звучание. «Там человек сгорел!» – могли бы мы повторить вслед за А. Фетом, а Сергею Орлову и говорить этого не надо: всем ясно и так, столь много падало звезд...

В народно-поэтическом эпосе важны не индивидуальные, а родовые черты, и война эту меру ценностей, их соотношения заявила своим основным противоположением: «свои» и «враги». Автор в фольклоре анонимен, объясняет академик А. Веселовский, «только потому, что его песнь подхватила масса, а у него нет сознания личного авторства»¹. Так и Сергей Орлов писал «для друзей своих», слившись своим сознанием с патриотическим настроением в общем с ними воинском деле, выражая их и себя равно и одновременно, меньше всего задаваясь тщеславными помыслами.

Единство поэта с воюющим народом нашло художественное воплощение во многих, наиболее ярких явлениях фронтовой лирики (правда, далеко не всегда оно получало мощную опору в традиции народного эпоса). Об этом, скажем, во весь голос заявляет Ольга Берггольц, пережившая вместе с земляками-согражданами ленинградскую блокаду:

И мне любой дороже славы,
Что я ценой моей зимы
владею счастьем и правом
в стихах поставить «я» как «мы».

¹ Веселовский А. Собр. соч., т. 1, СПб., 1913, с. 326.

Только в немногих случаях (этот момент мы уже отмечали ранее) Сергей Орлов говорит «я», – чаще и пишет и подразумевает «мы», – то есть осталось, как самое главное, родовое, а индивидуальное отступило в сторону, на второй план. Конечно же, о полном отказе от индивидуальности не может быть и речи, это немислимо в современную эпоху, и все-таки глубокое совпадение с фольклорным принципом сообщило лирике С. Орлова свой эпический масштаб. А масштаб, в свою очередь, получил подкрепление и в эпическом характере подробностей боевой работы и фронтового быта, и во всеобщности обобщений, выявившись в конечном счете в монументальности поэтических образов.

Вот начинает поэт стихотворение, сразу заявляя былинный размах:

Идут солдаты, от сапог
До плеч белы в пыли,
Среди исхоженных дорог
По лону всей земли...

Или – в другом случае:

Как из камня высечены сталью,
От сапог до самых плеч в пыли,
Разметавшись молча на привале,
Спят солдаты посреди земли.

(«На привале»)

Внешний рисунок не мешает Сергею Орлову с естественной пластичностью перейти к отвлечению, – кажется, обобщающая мысль в нем уже заложена, да это так и есть. В первом случае, наметив контурно объем мира, открывающегося солдатам в походе (шелестят деревья, ручей звенит, в небесах звезда мерцает по ночам), поэт совершает почти неуловимый переход-скачок в развитии образной мысли путем общеупотребительного переноса словесного значения: та звезда – «всегда одна... в пять пламенных лучей!» С эту путеводную звездой идут воины к победе, хотя война еще продолжается. Другое стихотворение уже глубоко дышит воздухом победы: «догорает грозная держава в свежей ржави, пепле и золе», «падают разорванные в клочья небеса нерусские во тьму»... Каков размах удали: повержена грозная держава, и даже небеса чужие в клочья разнесены! И на распутье богатырских дорог

...спокойно за пять лет впервые
Спят солдаты посреди огней,
Потому что далеко Россия,
Даже дым не долетает к ней!

Поэтическая система С. Орлова в его фронтовой лирике очень

устойчивая, что явилось прежде всего выражением целостности личности и мирозерцания самого поэта. Поэтому и стал поэт-танкист одним из самых чутких выразителей настроений советского солдата, воюющего с врагом.

«Костры на ветру», 1982



В. А. Оботуров

СЕРГЕЙ
ВИКУЛОВ



Современник
МОСКВА

1983





ЧЕЛОВЕКУ – НА ЗЕМЛЕ

СЕЛЬСКИЕ ПОЭМЫ
СЕРГЕЯ ВИКУЛОВА



Начиная свой творческий путь, а порой и долгие годы потом, уже добившись признания, художник не ведает своей судьбы, разве что глухо чувствует некое предопределение. А если бы знать? – ах, сколько опрометчивых поступков было бы не совершено, сколько «лишних» сочинений было бы не написано... Но жизнь – она всегда права, предоставляя всем смертным равные возможности осуществить себя в мире, не избавляя и от случайного, предостерегая против чрезмерного самомнения. И художник – сначала просто человек в его бытовой и общественной обыкновенности, а потом уже творческая личность. Будь иначе, творческому началу было бы не на чем реализоваться, – оно находит себя в человеческом, отчего именно гуманность и составляет достоинство искусства.

Читая и перечитывая стихи и поэмы Сергея Викулова, страстного публициста и полемиста, глубокого знатока деревенской жизни, думаешь не только о тех конкретных, порою даже утилитарных проблемах, которые он ставит дельно и профессионально. Невольно ходят и такие вот, в известной мере общие, соображения. Ведь начало пути С. Викулова в поэзии, казалось бы, ничего особенного не предвещало. Он и сам не проявлял самонадеянности, работал много и упорно, шел от провалов к маленьким удачам и снова к срыву, – тут можно было и разочароваться, бросить «баловство» стихами да другим, практическим делом заняться. А он, веря в свое дарование, практическим делом и занимался: изучал деревенские проблемы как экономист, как социолог, как историк, при этом искренне любя деревню, уважая ее стародавний уклад и ее скромных тружеников – крестьян.

Жил Сергей Викулов, как все люди живут, набираясь знаний и мастерства, обретая в опытах гражданскую зрелость, и произошло неиз-

бежное: живая поэтическая страсть преодолела и аккуратную осмотрительность, и косноязычие строки, – поэт родился. Он пришел к людям для того, чтобы сказать о мире, его породившем, чтобы поднять проблемы, гонявшие его из колхоза в колхоз, чтобы заразить людей неуемной страстью, разгоревшейся там, под деревенскими крышами. Теперь-то он понял наконец, что деревня – она не глухой, отставший от века угол, она – исток всему, что ни есть дорогого для человека на земле...

В начале шестидесятых годов поэт с особенной настойчивостью обращается к фольклору – духовному наследию русского крестьянства, размышляет о его месте в жизни современной деревни и в культуре наших дней, ищет ниточку традиции. Раздумья эти нашли отражение и в стихах. Показательны в этом смысле стихотворения «Бабушкины песни» и «Русские сказки».

В первом случае – это рассказ о бытовании народной песни в крестьянской среде. Подчеркнуто обыденные детали обстановки (бабушка Алексеевна «входит в валенках со двора», «из подойника молоко льет в посудинки, дужкой брякая»), но песня возникает естественно, как бы рожденная самой этой обыденностью и освещающая ее поэтическим светом. Поэзия вырастает из быта, а мостиком между ними становится обращение, характерное для сказки своего рода припевка: «Под жужжанье веретена – прядись, ниточка, прядись, тонкая...». И вот «неспешная и негромкая» песня «выпрядается, бесконечная, вместе с ниткой из куделька». Песня эта, о княгине и Ваньке-ключнике, переживается бабушкой как нечто личное – в ней раздумье бабушки «о злосчастной своей судьбе».

Вот это личное, обнаруженное поэтом в народной песне, видит он и в сказках, хотя стихотворение о них написано совершенно иначе, в форме размышления, публицистически заостренного. В нем возникает обобщенный образ русского человека, внешне темного и забитого, но озорного, с бойким умом:

А он, дурак, был вовсе не дурак!
В своем углу, где крепок дух овчинный,
он хохотал над барами,
да так,
что тухли, в стенку воткнуты, лучины
и лопались застежки на портах!

Смелость ума, свойственную лучшим представителям народа в прошлом, наследовали люди современной колхозной деревни. В стихотворении «Есть у нас в селе Иван...» характер положительного героя сложился с большой отчетливостью. Бескорыстие, безоглядную прямооту ценит в нем поэт. Без таких любое собрание – «словно тесто затворили, а дрожжей не бросили», – потому что у многих еще в силе оглядка:

Нет чтоб встать да хоть раз
сказануть не в бровь, а в глаз,
вскрыть все неполадки.
Где там... Вдруг да не даст
бригадир лошадки.

Но «прения без шуму у нас-таки редки», – люди, подобные Ивану, становятся не одиночками. И это отмечает поэт как обнадеживающий момент в жизни деревни: крестьянин-хлебороб обретает собственный голос.

Серьезно размышляет С. Викулов о своей собственной причастности к судьбам крестьянства («Стихи мои о деревне...», «Своей тропинкой», «Моя родословная»). Личное начало, приглушенное в ранних стихах и поэмах С. Викулова, все более крепнет, набираясь сил в чувстве кровного единства с народом. К началу шестидесятых годов складывается четкая поэтическая система Сергея Викулова. Среди поэтов-современников нет другого, кто бы столь основательно знал проблемы развития села, как он. Поэт по своему нашел ключ к характерам земляков из деревни; обращение к народному творчеству помогло увидеть и понять глубину души крестьянина. Этот же источник существенно обогатил его поэтический арсенал. И главное – сам поэт поверил своему личному опыту, понял, что у него за душой есть свое несказанное слово.

I

Исподволь накапливая деревенские впечатления и наблюдения, осваивая их в стихах и публицистике, Сергей Викулов готовил себя к большой работе. Здесь он шел в том направлении, что и вся советская поэзия, – в начале шестидесятых годов резко возрос интерес к жанру поэмы. Однако для С. Викулова это был собственный путь, и в выборе материала он остался верен себе. Деревенская жизнь, со всем тем новым, что тогда происходило в ней, открывала простор для самых широких обобщений.

Крупно и резко поставил С. Викулов наиболее актуальные для первой половины шестидесятых годов вопросы жизни современной колхозной деревни в поэмах «Окнами на зарю» и «Против неба на земле». Первая из них сразу встала в ряд заметных достижений советской поэзии в лиро-эпическом жанре. А большой успех – всегда испытание, для каждого поэта. Можно ли вновь подняться на взятую высоту? – такой тревожный вопрос долго не дает покоя. И Сергею Викулову после поэмы «Окнами на зарю» нелегко было сделать новый значительный шаг. Но и в следующей поэме, оставаясь верным действительности и своим убеждениям, он закономерно пришел к большой удаче.

Они очень разные, эти две поэмы. Если первая – это лирический монолог поэта-публициста, где жизненный материал пропущен сквозь призму характера лирического героя, то вторая – объективное пове-

Нет, жизнь меня не обделила,
Добром своим не обошла.
Всего с лихвой дано мне было
В дорогу – света и тепла,
И сказок в трепетную память,
И песен матери родной,
И старых праздников с попами,
И новых с музыкой иной.
(«За далью – даль»)

Сходство не удивительно: оба поэта пришли в большую литературу от одного начала, говоря словами Твардовского, «мы все – почти что поголовно – оттуда люди, от земли». Оба имели за плечами традиции народной крестьянской культуры, сложившейся в быту, отразившейся в устном поэтическом творчестве, в ремеслах и прикладном искусстве.

Чувства Вискулова к деревне иногда противоречивы, но всегда согреты искренностью. И когда поэт не скрывает своей грусти об уходящей старой деревне, его не упрекаешь за это, а чувствуешь здесь особую искренность, непридуманность переживаний.

Эта прямота заставляет проникнуться уважением к рассказчику:

Не могу я,
по памяти, словно по луту, проходя,
наступать на цветы, не могу!

Пристрастность поэта оказывается условием его убедительности. Именно только тому, кто любит и помнит народные песни с мальчишеских лет, могут они припомниться так: «Как ливень в округе, из-под радуги ливень! И гром в вышине...». Или о разудалой пляске: «Коли бросило в круг, надо пол проломить, или о пол разбиться, или высечь огонь каблуком о каблук!». С восторгом вспоминает поэт деревенские праздники, когда «кони летели по кругу, пронося, словно радугу, полем дугу...».

Даже в этом:

Не умела деревня – характерец чертов! –
ни вполсил работнуть, ни вполгорла хлебнуть, –

слышится восхищение рассказчика. Есть в таком празднике силы – на работе ли, в гульбе – тот дух русской удали, который восхищал и А. Твардовского:

Как дорог мне и люб до гроба
Тот дух, тот вызов удалой
В труде,
В страде,
В беде любой –
Тот горделивый жар особый,
Что – бить – так бей,
А петь – так пой...
(«За далью – даль»)

Конечно, далеко не во всем можно разделить восторги лирического героя викуловской поэмы, но понять его – можно. Ведь почти вся жизнь послеоктябрьской деревни протекала на его глазах, прошла сквозь его сердце. Отсюда страстная сыновняя заинтересованность в судьбе отчего дома.

В конце концов, не будущее устаревших обычаев тревожит С. Викулова в первую очередь, а судьба людей. Он, разумеется, ясно понимает, что «к старому нету возврата», – его любовь к деревне не слепа, но она проникнута ощущением родства прошлого и настоящего, как бы они между собой ни разнились. И не заклинание ретрограда, а выношенное убеждение, выстраданное признание звучит в обращении поэта к России:

...и когда я кричу,
что деревню люблю, – это значит, Россия,
я тебе в этом чувстве признаться хочу!

Ты иная сегодня. Ты в космос врубилась...
Но и громом ракетным встречая свой день,
я хотел бы, Россия, чтоб ты не забыла,
что когда-то ты вся началась с деревень.

Поэт выходит к читателю, в широкий мир полпредом лучших людей деревни. Это и дает ему право от их имени обращаться на «ты» к самой России, к каждому в России. Обращаться тогда, когда некуда ему деться «от зрелой памяти своей» (А. Твардовский). А память порою диктует горькие страницы и внушает острое чувство стыда, но и очищение несет, без которого нет веры в будущее. За Александром Твардовским – ему более других обязана советская поэзия наших дней раскованностью, прямою отношением к острым жизненным проблемам – ведет Сергея Викулова его гражданский темперамент.

...Сюжет поэмы несложен. Рассказчик везет сына в деревню, чтоб тот узнал наконец, что «заглавной фигурой у хлеба не пекарь, не короной увенчанный продавец». Поэт – свой человек в деревне: едет запросто, не в гости – гости летней деревне в тягость, – а покосить у родных. Чем он еще может им помочь! – привязанность рассказчика к своим сельским родственникам деятельна, и это не может не вызвать к нему симпатии. Но, разумеется, поездка в деревню – повод лишний раз увидеть, что там к чему сегодня, поразмышлять...

Поэт смело исследует историю становления колхозной деревни во всех противоречиях, которые раскрываются и в лирических отступлениях, и в рассказе о судьбах героев. Любовно рисует С. Викулов картины труда и быта. Живописны в поэме пейзажи. Память поэта сохранила многие приметы прошлого. И все это складывается в подвижную картину, создает впечатляющий образ деревни.

С. Викулов убежденно и страстно полемизирует с теми, кто не хочет замечать трудностей в современной деревне и кто смотрит на нее как

бы со стороны. А поэту тряская ухабистая дорога напоминает путь на Берлин – и не случайно! – «здесь бескротный, но яростный катится бой»:

...стучат молотки здесь у каждого дома,
и моторы дымят, и в ходу топоры...
Вот что значит деревня!
А вы мне: солома,
да коровы еще, да еще комары...
Здесь в безмолвных озёрах свирепствуют жуки,
обжирается спелой малиной медведь.

Взять корзину бы в руки! Но заняты руки:
осыпается рожь. И пшеница, как медь.
И «скрипит», припотев, допотопная бабка
на льняной полосе. Как-никак человек...
Вот что значит деревня!
А вы мне: рыбалка,
да с малиною чай, да на сене ночлег...

Здесь по три да четыре избы на посадке,
здесь по десять девчонок на парня в бригаде.
Здесь проблема разлуки да скуки сейчас
есть одна из великих проблем для девчат.
И не диво. До клуба порой от избушки
не дострелишь из пушки: и лес и ручей...
Вот что значит деревня!
А вы мне: частушки,
да любовные вздохи, да скрип дергачей...

Нету старой деревни! Кого нам обманывать?
Моргунка тоже нет. Уработался. Спит.
Нет! И строит деревня сегодня

все заново:

избы, клубы, дворы, психологию, быт.

Викулов отчетливо видит своего противника, человека с идиллическими представлениями о деревне, и знает, что им противопоставить. Конечно, есть и в деревне свои нехитрые радости. Но ведь от идиллии всегда очень недалеко до потребительского отношения к жизни, а оно поэта возмущает. Отсюда его наступательность, стремление сказать всю правду о деревне. Позиция поэта – позиция гражданина, сознающего свою ответственность за дела на земле, стремящегося в других пробудить эту ответственность.

Старой деревни больше нет. Нет в ней и того мятущегося мужичка-собственника, который гадал когда-то, быть ему в колхозе или не быть. Все это осталось, в прошлом, – иные явления определяют теперь судьбы села и крестьянства.

Облик современной деревни противоречив, и главное в ней – вот эта «стройка невидная», которая «в ряду тех, великих... есть великая самая»,

которой больше всего нужны рабочие руки, «молодые притом, и влюбленные в эту стройку», а «не только прорабы, да проекты, да планы».

Сергей Викулов явственно представляет всю грандиозность новой стройки в деревне и ее значение. Помочь этой стройке – его поэтическая задача. Поэтому нежелание видеть село реальным, как оно есть, во всей сложности, он расценивает как равнодушие, как нежелание участвовать в строительстве. Отсюда – полемическое начало в поэме. Поэт осмысливает прошлое, чтобы в стройке «заново» не повторить старых ошибок. Этим и определяется всепроникающий историзм произведения.

Интерес к истории – распространенное явление в поэзии конца пятидесятых – начала шестидесятых годов, и С. Викулов в своих исканиях идет в общем русле, находя самостоятельные пути и решения.

«Всеобщее стремление художественно осмыслить широкий круг жизненных явлений, показать действительность в ее сложности, в столкновениях и борьбе» считает Е. Осетров характерной особенностью поэзии начала шестидесятых годов. Это верно, однако в поэме поиски в этом направлении начались гораздо раньше.

Пятидесятые годы прошли под знаком такого крупнейшего произведения, публиковавшегося частями, как поэма «За далью – даль» (1950 – 1960) А. Твардовского. Тогда же появились поэмы «Середина века» (1943 – 1956) В. Луговского и «Признание в любви» (1952 – 1959) М. Луконина. Были известны читателю поэмы А. Прокофьева, В. Федорова, Я. Смелякова, Б. Ручьева и других. Много самобытных явлений в жанре поэмы появляется в шестидесятые годы. Удивительное многообразие принесли эти произведения в поэзию социалистического реализма.

Романтикой комсомольской юности пронизаны «Строгая любовь» (1955) Я. Смелякова и «Прощание с юностью» (1961) Б. Ручьева. Обращенные к минувшей войне «Кровь и пепел» (1963) Ю. Марцинкявичюса и «Суд памяти» (1962) Е. Исаева звучат как предостережение. При этом Марцинкявичюс ведет сюжетное повествование о горьком прошлом, о драматических судьбах жителей литовской деревни, а Исаев, напротив, идет от материала современности. В диалогах, которые он широко использует, обнажена борьба идей – отсюда полемическая заостренность его поэзии. Социально-философским характером отличаются поэмы «Проданная Венера» (1956) и «Седьмое небо» (1968) В. Федорова. К культурно-исторической тематике обращаются С. Наровчатов – «Василий Буслаев» (1960) и И. Драч – «Вишневы ветер» (1963). Оригинальны и многие другие поэмы, появившиеся в середине шестидесятых: «Против неба на земле» С. Викулова, «Чегемская поэма» К. Кулиева, «Обугленная граница» М. Луконина.

Разнообразны направления стиливых исканий в поэме. Интерес к конкретной бытовой детали проявляют Смеляков («Строгая любовь») и Ручьев («Любава»), переосмысливающие некоторые страницы нашего недавнего прошлого. Детализированным письмом, психологической

разработанностью характеров выделяются «Седьмое небо» В. Федорова, «Кровь и пепел» Ю. Марцинкявичюса. В свою очередь, есть в «Седьмом небе» и элементы условного, что сближает эту поэму с произведениями Исаева и Драча, в которых широко использованы фантастика, гротеск, символика.

При всей непохожести многочисленных поэм, созданных поэтами разных национальностей, очень рано с большой отчетливостью наметились и коренные черты сходства, которые не ушли от внимания критики. Одна из самых существенных особенностей – историзм. «Верность исторической правде, отсутствие желания как-то приукрасить и сгладить трудности и противоречия, с которыми пришлось столкнуться простому советскому человеку, – отличительные черты этих поэм», – замечает П. Выходцев, подчеркивая в них еще одну грань: «соотнесение рассказа о прошлом с насущными проблемами современности»¹. Отсюда критик выводит близость жанровых признаков, в частности то, что «основную композиционную нагрузку во всех этих поэмах несет личность поэта». Своеобразно преломленные в творчестве лучших поэтов, эти качества, проявившиеся еще в предшествующем десятилетии, сохраняет и поэма шестидесятых годов.

В одних случаях обращение к прошлому служит непосредственно осмыслению исторических судеб народа – в поэмах Кулиева, Наровчатова, Драча. В других – например, у Исаева или Федорова – историзм является средством, инструментом исследования проблем современности. Обе эти тенденции имеют место и в тех произведениях, поэтическим материалом которых стала деревенская жизнь.

Впервые у нас в поэзии жизнь деревни в связи с историей всей страны предстала в поэме М. Луконина «Признание в любви». Как пояснял сам автор, «поэма эта – мое признание в любви к своей земле, к жизни, к Волге, к людям. В ней – долгий путь нашего народа к свободе. Это все пережитое мной, моим отцом и матерью, в ней опыт нашей жизни, все личное от самого детства». Связь с современностью в поэме – самая общая; по существу это произведение историческое. Аналогичный характер носит «взгляд из сегодня, попытка представить то время таким, каким оно было на самом деле»², в поэме о коллективизации А. Поперечного «Черный хлеб», по своему значению, конечно, куда более скромной, чем «Признание в любви».

К изображению деревенской жизни нередко обращается В. Цыбин, но единство истории и современности ему не дается. Уже в первой его книге «Родительница-степь» (1958) опубликована поэма «Бабье лето», на уозость взгляда в которой повлияла временная замкнутость. В другой своей поэме – «Две крови» (1962) – В. Цыбин обращается к коллективизации. Близость к поэтике Павла Васильева – пластика стиха и психология характеров – помогла изобразить накал классовой борьбы в деревне. Но и у Цыбина тот же взгляд из настоящего в про-

¹ Выходцев П. О времени и о себе. – «Нева», 1961, №3, с. 188-190.

² Красухин Г. Поэмы последних лет. М., 1964, с. 26.

шлое, что у Луконина и Поперечного. Обратной проекции – на современность с учетом исторического опыта – в поэме «Две крови» нет.

Взаимопроникновение времен – характернейшая особенность поэмы А. Твардовского «За далью – даль», непосредственно проявившаяся в главе «Две кузницы», но и не только. «Поэт выносит в своем сердце определенное представление о будущем, будет на наших глазах допрашивать прошлое и искать доказательств в настоящем»¹, – писал А. Макаров по поводу поэмы Твардовского, перефразируя слова Белинского. Путешествие по дорогам России не завело поэта в деревню, – туда он обращается только горькой памятью.

Трудности пути, пройденного страной, более всего сказались на деревне. Это выразил А. Твардовский «в символическом образе тетки Дарьи, олицетворении народных бед и долготерпения», – отмечал В. Гусев, подчеркивая, что «образ дается лирически», что «перед нами не портрет, а настороженный, открытый трепет «авторского чувства»². Обращаясь к другу «пастушеского детства и трудных юношеских дней», поэт говорит о послевоенных годах, о грандиозном размахе «вселенской» наметки. И вспоминая тут же «смоленский, забытый им и богом, женский, послевоенный вдовый край», о своей невысказанной боли говорит поэт:

И я за дальней звонкой далью,
Наедине с самим собой,
Я всюду видел тетку Дарью
На нашей родине с тобой;

С ее терпеньем безнадежным,
С ее избою без сеней,
И трудоднем пустопорожним,
И трудоночью – не полней;

С ее дурным озимым клином
На этих сотках под окном;
И на печи ее овином,
И среди избы гумном;

И ступой – мельницей домашней –
Никак, из древности седой;
Со всей бедой –
Войной вчерашней
И тяжелой нынешней бедой.

В силу замысла своей поэмы А. Твардовский оказался далеко от деревни. Он не ставил цели детально разобраться, что довело тетку Дарью до жизни такой, – он дал один, общий ответ. Но опыт «Страны Муравии» и других произведений Твардовского о «великом переломе»

¹ Макаров А. Идущим вослед. М., 1969, с.87.

² Гусев В. В середине века. М., 1967, с. 239-240.

ме» в деревне не был забыт поэтами. На одну из особенностей лирики Твардовского указывает В. Дементьев. «Чувства людей сельского мира, переживших всемирно-исторический процесс ломки прежних устоев, мучительно трудное вызревание нового общественного уклада, – пишет он, – сильнее оттенялись эмоциональной памятью человека, запахами, звуками, красками деревенского детства»¹. Это открытие поэта нашло продолжателей в лице едва ли не всех тех поэтов, кто на рубеже пятидесятих – шестидесятих годов обратился так или иначе к теме коллективизации, в том числе – Кулемина и Викулова.

«Противоречия времени пропущены в поэме через судьбу героя, через личность автора»², – замечает М. Синельников по поводу поэмы Василия Кулемина «Отец» (1962). Образ лирического героя, человека, лично причастного к судьбам деревни с детства до последних дней, преломляет все события и в поэме Викулова. И не только это сближает Викулова и Кулемина с Твардовским. Оба поэта творчески восприняли опыт его работы над произведениями о коллективизации, усвоив достижения большого мастера в сочетании с той высокой гражданственностью и партийной взыскательностью, которые проявились в поэме «За далью – даль».

Жизнь села находится в центре внимания в поэме В. Кулемина «Отец», «лирически нежной и вместе с тем мужественной по силе и остроте заключенной в ней большой суровой правды»³, и поэме С. Викулова «Окнами на зарю». Разумеется, нет в этих произведениях тех масштабов, что у А. Твардовского, но есть скрупулезнейшее исследование деревенских проблем. Их видят оба поэта не изолированными, а во взаимосвязи, и потому добиваются объективности в изображении жизни. Обратились они и к опыту таких людей, как тетка Дарья, чьи ответы на любой вопрос, по словам Твардовского, «всего ценней». Все это и позволяет утверждать, что именно Кулемин, несмотря на определенные различия, Викулову ближе других поэтов по характеру историзма.

Сергей Викулов к истории становления колхозной деревни обратился не впервые. Еще в 1957 году написал он поэму «Конек на крыше», рассказывающую о пути мужика в колхоз. Поэту было важно самому понять значение этой вехи в истории русского крестьянства и в ту пору, когда колхозы переживали трудный период своего развития, убедить читателя в жизнестойкости колхозного строя. А многие – в первую очередь сами колхозники, хотя и далеко не все, – голосовали тогда против колхозов: заколачивали окна и двери своих домов и уезжали «на сторону».

Думается, поэту удалось в какой-то мере решить тогда поставленную задачу, потому что шел он от жизни, а не от умозрительных кон-

¹ Дементьев В. Насущный хлеб поэта – слово. – «Наш современник», 1972, №2, с. 116.

² Синельников М. Под голубым шатром России. – «Москва», 1967, №12, с. 206.

³ Алексеев М. Однополчане. М., 1967, с. 190.

цепций, и в жизни крестьянина – за сцеплениями, связями отдельных частных фактов и явлений – стремился увидеть существенное.

Конек на крыше, по меткому определению поэта, это –

...идол крестьянской удачи –
И вера, и бог мужика.

Викулов, хорошо чувствуя поэзию деревенского быта, находит в коньке ту сквозную деталь-образ произведения, через которую передает особенности переломного момента в жизни крестьянина.

От детали-символа идет поэт к историческому обобщению. Используя двуплановость, которая реально заключена в этом образе, рожденном народной фантазией, Викулов плавно переводит действие на конкретную почву крестьянской жизни. Мужик и конь рисуются в бытовых, реалистически определенных подробностях, но тем не менее это образы обобщенные, сознательно лишённые поэтом индивидуальности: его интересовало главное – судьбы крестьянства в коллективизации. Ведь без предыстории нынешнего колхозника сегодняшних его судеб не уяснить. И очень правомерно в книге «Хлеб да соль» (М., 1965) обе поэмы встали рядом: одна по-своему дополняет и продолжает другую, и обе объединены идеей утверждения колхозного строя. «Конек на крыше» – это и предыстория поэмы «Окнами на зарю».

Обращаясь в прошлое этой своей поэмой, Сергей Викулов ищет те причины, которыми порождены трудности в деревне, в результате которых произошло отчуждение крестьянина от земли. Думается, неправ был один из критиков, когда утверждал, что «Викулов иногда упрощенно решает вопрос о виновниках упадка хозяйства колхоза»¹, якобы сваливая всю вину на председателя Степана да уполномоченных. Нет, как мы увидим позже, С. Викулов в своей поэме вскрывает целый комплекс взаимообусловленных причин отсталости деревни.

Поэт не скрывает личной заинтересованности. Ведь оставил деревню и отец его, исконный землелепашец. Размышляя, автор обращается к земле как к существу одушевленному:

Он ли, пахарь, тебя разлюбил, обленясь,
ты ль над ним вековую утратила власть, –
неизвестно. Но ясно: какая-то жила
между ним и тобой в ту весну порвалась, –

и поясняет:

Слишком много на эту неслабую жилу
было в те времена удалого нажима...

А можно ли говорить о лени человека из тех, «кто знал себе цену, кто в удаче на свой лишь хребет уповал»? В пору, когда уже шел слух об организации колхозов, отец строит хлев, новый овин, не боясь, как

¹ Якушин Н. О людях, о земле и хлебе. – «Север», 1966, № 6, с. 153.

многие, что зря – не для себя («Понапрасну, старатель, мол, силушку гробишь, все колхозное будет! – пророчил сосед»). Нет, и перемен не боялся он, полагаясь на свой здравый смысл и опыт: «Коли дело пойдет, я, как старый журавль, не отстану от стаи...». От стаи он не отстал, но через несколько лет уехал из деревни.

С. Викулов ироничен и внутренне полемизирует с расхожими мнениями о причинах ухода крестьян из деревни (лень мужицкая, утрата вековой власти земли и т. д.), образом отца подтверждая свою правоту, разъясняя происходившее. Главная же мысль именно в пояснении и заключается. «Удалой нажим» начался еще в те времена, когда более всего нужна была осторожность, – в период коллективизации...

В поэме Викулова мы видим, как «Кирюха-матрос», который «учился на флоте уговаривать контру», безоговорочно требует: «Чтобы на сто процентов, не меньше! Вот так!» Здесь уже само имя говорящее: и в житейском обиходе, и в литературе давно сложился тип размашистого, безоглядного в своей решительности, даже разухабистости, «Кирюхи».

Точный расчет поэта на ассоциативную активность читателя да три категоричных утверждения в одной краткой фразе Кирюхи, – и создан образ бездумного деятеля, напористого исполнителя чужой воли, который настолько убежден в справедливости приказов сверху, что не хочет и не может понять требований реальной обстановки.

В нескольких строчках поэт набрасывает картину тех бурных событий в деревне:

за полночной сходкою новая сходка.
 Поначалу без баб – так велось искони, –
 а потом, чуть прослышат, бегут и они.
 Соберутся – потеха! Что крику! Что реву!
 А о чем – не опишешь сегодня пером...

Поэт слегка утрирует картину – она воспроизводится как воспоминание человека, давно все это пережившего, когда уже все страхи той поры ушли в прошлое. Ну и что там, подумаешь сейчас, лошадь отдать, корову на общественный двор отвести, или волнение о некогда собственной лошади: «запряжет кто-нибудь не спросясь – и айда!» – теперь-то эти волнения почти забавны нам. Но Викулов помнит, что эти «мелочи» тогда для крестьянина вопросом жизни были.

Нет, не зря «бычились пахари лбами и жгли до рассвета табак», не случайно предостерегали они: «Не распаривши дуги-то гнете». Викулов согласен с ними, когда заключает:

непростая задача: минуя предбанник,
 прямо в баню попасть. Было все-таки так.

Однако в то время этой непростоты задачи многие понять не захотели.

О том же писал Василий Кулемин в поэме «Отец»; правда, он вспоминает себя ребенком и события рисует так, как виделись ему, мальчику.

«Что-то вдруг в тебе переменялось, словно бы меня ты разлюбил?..» – замечает мальчишка. Но скоро он понимает, что отцу не до него теперь: «До петухов соборья начались с посулов и угроз. А к чему? Ведь решено заране, что организуется колхоз...».

Отчетливо ощущается здесь корректировка мальчишеских воспоминаний взрослым человеком. Вопрос о создании колхоза предрешен, вне зависимости от намерений мужиков. Примечательная деталь: уполномоченный Петрович, рабочий из города, убеждая в необходимости решиться на объединение, сравнивает колхоз с большим колесом: «маленькое – крутится на месте, а большое – р-раз! И понесло...». А на дерзкий чей-то вопрос, исполненный чувства собственного достоинства: «Мы-то кто же, спицы в колесе?..» – он «кричал, что кулаки, как волки, кто, мол, ихним голосом запел?» Распространенный в те времена прием...

Впрочем, В. Кулемин не грешит в развертывании характеров – этим во многом определена значительность поэмы. Она «крупна и нова по тем основным вопросам, которые автор переосмысливает в ней по-своему, – писал поэт Д. Ковалев и подчеркивал: – Образ человека нашей деревни в ней значителен и внутренне очень сложен. Его противоречивость и верность земле увидена так, как мог увидеть сам себя советский крестьянин с высот сегодняшнего дня»¹.

Петрович у Кулемина – в самом деле фигура противоречивая. Крутой по характеру, он не лишен человечности. Временами «вспоминал какого-то Ванюшку, говорил, что мается по нем», неровен был в отношении к людям: «Волею неведомой влеком, то мягчел душою в горе нашем, то стучался в душу кулаком».

И последний штрих в его образе. Когда 2 марта 1930 года была опубликована статья «Головокружение от успехов», утром «все узнали: ночью застрелился наш уполномоченный в селе». Смысл поступка неясен, конечно, для ребенка, но читателю приоткрывается напряженная внутренняя жизнь героя, его страдания от сознания невольной ошибки, от вины перед сельчанами. Однако скрытая душевная жизнь не сближала Петровича с людьми: нежелание сверять приказы с реальной жизнью подавляло в нем человеческое.

Викулов, как и Кулемин, подчеркивает ошибочность того, что к голосу мужика не прислушались, это стало серьезной причиной сложностей в колхозном строительстве. И если раньше крестьянин сам перед собой и своей семьей отвечал за общее их семейное благосостояние, то теперь очень многое зависело от руководителя. Он должен был иметь хозяйственный опыт, знания, сметку. Не многие сочетали в себе эти качества.

Такое как раз явление и отмечает С. Викулов в своей поэме. Первым председателем колхоза стал безлошадник Степан. Две-три черточки характера, пристрастий, деловых качеств, прямо названные, да жест – и верный портрет создан:

¹ Ковалев Д. Молодость пришла поздно. – «Москва», 1963, №5, с. 212.

...страсть был какой боевой!
 Вел дела неказисто. Зато неустанно
 раздувал на планете «пожар мировой».
 Говорун был, частоха! Начнет о навозе,
 а закончит пожаром... Аж горло сорвет...

Ответственность оказалась Степану не по силам – председателю, помимо всего прочего, нужны еще и хозяйственные способности. (Кстати, Кулемин тоже о своем отце, который был избран председателем у себя в деревне, как бы не нарочно, мимоходом обронил: «Был он раньше мужиком не цепким», – обронил, хотя из этого замечания ни к каким выводам и последствиям не пошел.) Может показаться, что дело только в личных качествах председателя Степана. Но почему руководителем только что в муках родившегося колхоза стал именно он? Да потому, что настоящий хозяин не соглашался с теми же «Кирюхами», раздумывал, колебался...

Припомним еще одно свидетельство – повесть-хронику Сергея Залыгина «На Иртыше». Степан Чаузов – единственный потенциальный руководитель новорожденного колхоза, середняк – оказался выселенным за то, что у него есть свое достоинство, свое разумие в разных вопросах (пусть иногда в чем-то и ограниченное, не в этом беда). Другие кандидаты на пост председателя в колхозе села Крутые Луки – или Фофан Ягодка, старательный хозяин, но слишком увлекающийся человек, или Павел Печура – родной брат Степана из викуловской поэмы, только более честный и умный: он понимает свою неспособность руководить общественным хозяйством. Но мужикам безразлично, что их председатель Степан живет не заботой об артельном хозяйстве, а оглядкой на начальство. Примечательно, что, выдавая «громобойную речь» на колхозном празднике, Степан «косил на районного гостя взгляд... И видел, что речью доволен был гость». А кроме этого, ничего и не умел председатель.

Интересен тот факт, что мужики поначалу прощали ему такие качества. Колхоз начинался живо, азартно, с энтузиазмом и верой. Сергей Викулов с увлечением рассказывает о том, как «новью свои утверждала в деревне законы». Здесь и радость коллективного труда с общей для каждого заинтересованностью и ответственностью («В стенгазете, бывало, такую картину поместят, словно выстрелят в совесть в упор!»), жажда знаний, охватившая всех («за партой рядком с молодайками – дед!»), возможность трудиться каждому («открыты детясли – работайте, жинки!»). Все это позволяет поэту сделать решительный вывод о том; что крестьяне

...не жалели о старом.
 Дескать, дружно – не грузно, а порознь – беда!

Народ убедился в преимуществах коллективного труда на деле, поверил, что «беде уже нету дороги назад». Но ведь это только начало, будущее зависело от руководителя. А председатель – «потянет» ли он? Одно замечание довершает его образ:



Сергей Викулов



Сергей Викулов



В Вологодском книжном издательстве, 1961 год (слева направо):
С. Викулов, А. Романов, А. Сухарев, И. Тихонов, Л. Фролов, Б. Ромодин



С. С. Орлов, Ю. В. Бондарев, С. В. Викулов, начало 70-х годов



Сергей Викулов. 1975 год

Интересна переключка с Викуловым Ярослава Смелякова в одном из поздних его стихотворений. Негромкий, но пронзительно точный образ нашел он для того, чтобы по достоинству оценить подвиг деревни в ту пору, ее безмерный вклад в дело индустриализации страны. «Затишье перед первой пятилеткой» вспоминает Смеляков. Тогда,

Чтоб ей вперед неодолимой быть,
готовилась крестьянская Россия
на голову льняную возложить
большой венок тяжелой индустрии.

Была огромная необходимость строительства, и крестьянин, недавний собственник, нынешний колхозник, отлично понимал это: «с радостью даже ребят провожали... А сыны не жалели себя для страны». Но деревня тем временем пустеет: ведь бывшие крестьянские дети «теперь приезжали в село только летом, чтоб выйти – и грудь наголо, чтобы, пыль подметая штаниной широкой, поразить деревенщину модным фокстротом...». В гору пошли крестьянские дети – простор открыт: и один стал врачом, летчиком – другой, третий – капитаном.

Не чужой и не свой уже в отчем дому...
И стыдятся девчата-доярки ему
протянуть пятерню: не бела, не мягка
и не в меру, к тому же еще, велика.
Да и сверстники, смотришь, пред гостем робеют...

Викулов не только воспроизвел процесс социальных изменений в обществе (явление в целом, безусловно, положительное), но и показал их некоторые отрицательные последствия. Сложилась своеобразная общественная психология, в которой не осталось места для былого уважения к труду на земле, к профессии хлебороба – в новое время другие оказались необходимее. А тут еще над крестьянином жупел «собственника» тяготеет (все ведь «политически грамотные» стали в горожанах!). Поэт вспоминает, как он сам тогда, молодой еще, приезжал, красовался, наплясывая белозерского «ленчика» в церкви и читая стихи, пока еще чужие:

и особенно хлестко
про паспорт серпастый.
Ритм железный скреплял я движеньем руки,
доставал из штанины свой паспорт и хвастал,
хвастал так, что глотали слюну мужики.

В этой сегодняшней, до предела обнаженной откровенности, и горечь, и сочувствие этим мужикам. Да, историю судить трудно, тем более – общественные настроения былого времени. А тогда –

...не все, на беду, понимали вполне,
что достоин с Героем любимым наравне
встать и тот, кто к земле пуповиной прирос,
кто великою верою верил в колхоз...
Верил он,
хоть ему причитались в излишке
за работу порой только палочки в книжке...

Василий Кулемин о той поре вспоминает глухо, мимоходом обронив одну горькую по своему содержанию деталь:

...всегда мне нелегко от слов,
Что отцу из города большого
Я везу плоды его трудов...

Какова же была стойкость тех, кто оставался «на земле! Вера этих людей в будущее страны, свидетельствует Викулов, доказана десятилетиями тяжелого, иногда и дарового труда. Их усилиями (не менее веско и значительно, чем делами покинувших деревню) укрепилась «железная статья» России, на них держалась в годину войны. Тогда «суровый оратай... не ныл, не стонал, не искал виноватых, а работал! За сына. За мужа. За брата. Отдавал он войне все, что поле рожало, – до зерна, до куска...».

Так вечно продолжаться не могло. Некоторые горе-руководители попытались переложить свою вину за неправильное руководство деревней на мужика, доказывая его нежелание и неспособность самостоятельно работать на земле. Значит, надо «помочь», заставить! И вот:

Кто картошку едал, все брались мужика
просвещать, наставляя и толкать под бока.
И пахать-то его обучали и сеять,
понукая при этом его, ротозея.

Такое неуважение, которое кое-где проявлялось к трудовому человеку села, отнюдь не способствовало улучшению дел в колхозах. Да и что можно было ожидать от «знатоков» из конторы «Утиль», например, из музея». Разоблачая вред «деятельности» такого рода, С. Викулов беспощаден в своем сарказме. Он добивается цели прямым выявлением несоответствия возможностей «знатоков» тому делу, за которое они берутся, резко протестует против практики нажима, толкачества, которая ни к чему хорошему привести не могла...

Но все же ошибки исправляются не в один день, и рьяному администратору, у которого, кроме начальственного пыла, за душой ничего нет, избавиться от порочных методов руководства непросто. Вот поэтому снова и снова отстаивает С. Викулов ценность труда на земле, достоинство крестьянина. С нарастающей силой страсти он повторяет одну – важнейшую для него! – мысль:

хлебоборб – он же издавна знает:
мать – сырая земля не от сводок рождает –
от любви неизменной!
В ответ на любовь
отдает она людям зеленую кровь!

Эта публицистическая мысль – одна из центральных в поэме. В том, чтобы восстановить хлебоборба в хозяйских правах, пробудить в нем угасшее чувство хозяина земли, дать ему развернуться, видит Сергей Викулов залог и корень перемен...

Поэма густо населена: на сравнительно небольшой объем – более десятка персонажей. Впервые добился С. Викулов, склонный ранее к подробной описательности в изображении героев, такой сжатости и четкости общественно-психологических характеристик. Этого потребовал от поэта замысел: нужно было многое сказать и показать на небольшой площади, нужно было, оставаясь конкретным, привести читателя к общественно-политическим выводам.

Каждый персонаж в поэме поставлен в такие связи, чтобы мог выявиться возможно полнее. Существенна в этом роль контраста, приема, обнажающего в столкновении крайние точки зрения. Позволяя персонажу раскрыться в поступке, поэт дает ему возможность и высказаться, а к случаю – впрямую определяет его, чаще всего народными словечками. Эти приемы создания характера общи почти для всех персонажей. Кроме того, существенна и роль интонации, которая в каждом случае уточняет отношение Викулова к своему персонажу и углубляет наше представление о герое.

Дверь открыла и – ах! И рукой по подолу:
– Да ужель это вы?! – И сама не своя,
привечая гостей, закружилась по дому
Маремьяна Васильевна, тетка моя...

Так С. Викулов впервые представляет читателю колхозницу тетку Маремьяну. Будто слышишь ее напевный голос, видишь ее с этим характерным жестом деревенской женщины («рукой по подолу»), с ее приветливостью и сноровистостью. Одинокая (муж ее Яков умер лет восемь назад, а дети «разлетелись» кто куда), она рада гостям, может быть, особенно потому, что устала от одиночества, не может забыть утраты. Не случайно каждый пустяк в поведении гостя напоминает ей о муже («– Да кури... Сам-то вон как дымил... – И замолкла. И прямо, не мигая, глядела с минуту она...»). Но это вовсе не значит, что перед нами сломленный жизнью, тихий, незаметный человек. Наоборот:

Тетка – баба не промах. Гроза! Кипяток!
По земле – никому ничего не должна –
по-хозяйски ступает сегодня она.
И касается всякое дело ее,
и сужденье о деле у тетки свое.

Сначала повторяя, видимо, оценки односельчан, потом высказывая свое мнение, поэт набрасывает общий эскиз характера, а далее дополняет, уточняет.

Скажем, в том, что ей до всего дело есть и обо всем свое мнение, мы убедимся не раз. «В колхозе сей год клевера-то ди-икушшие! – говорит мне она. – А ведь чуть не порушили! Приезжал по весне тут один... енерал...» Ведь какая смена интонаций – радость удовлетворения, сокрушение, ирония, – а и всего-то три кратких фразы. И по ним уже угадывается характер крестьянки.

Или вслушайтесь в слова Маремьяны Васильевны о пенсии, о которой она не хлопочет, хотя и верит в нее: «Писать не могу, неразборчивый почерк. Заслужила – дадут...». Сколько тут чувства собственного достоинства, сознания своей цены! Это подтверждает и авторскую оценку, делает образ женщины-крестьянки завершенным и убедительным.

Самыми впечатляющими стали, однако, образы Якова, старого коммуниста-фронтовика, теперь уже покойного, и Кузьмы, ровесника поэта, товарища его детских игр, ныне бригадира в родной деревне. Это и закономерно – в них нашла наиболее четкое выражение мысль о коренных переменах, наступающих в жизни деревни.

Всего какая-то страничка посвящена образу Якова, но С. Викулову удалось набросать характер подлинно эпической силы. Один из тех, кто даже в самые трудные годы не покинул деревню, не ушел от земли, один из тех, кто прошел фронты Великой Отечественной и «вернулся домой, да израненный весь», он «остатнюю силушку на кон всю поставил: стонать, мол, велика ли честь!». Это и давало ему право быть прямым, не бояться резких оценок, не мириться с кривдой, а суровая жизнь научила его переживать всякие трудности, даже преследования: «Пусть я, – скажет, бывало, – вызываю огонь на себя. Ничего... Я бывал под огнем!»...

В кратком рассказе тетки Маремьяны о спасении клеверов от ранней потравы, невыгодной для хозяйства, возникает образ одного из последышей «знатоков из конторы «Утиль», требованию которого – скосить клевера – не подчинился Кузьма. А вслушайтесь, как прямо и веско умеет он сказать свое слово, выразительность которого не исчезает даже при передаче: «Если ведает тот, как прямее проехать, пусть садится и правит! Бригаде нужна не красивая сводка – мол грош ей цена».

Поэта восхищает поведение бригадира. Достаточно вспомнить факты засилия толкачей, о каких идет речь и в поэме, чтобы понять глубинный смысл этого поступка Кузьмы. Бригадир понимает, что теперь – «не те времена»...

Кузьма – не «винтик», не безропотный исполнитель навязанной ему кем-то роли. Знающий цену себе и вообще крестьянину, раздумывая об отношениях с руководителями, – а для многих из них «погонялка» еще остается главным средством управления, он с уверенностью

утверждает, что настоящему пахарю понукания не нужны («покудова в землю ни брошено семя, хоть до пояса пусть отрастет борода, пахарь плуга не бросит»). Он и земля – «в узел издревле накрепко связаны оба».

Мысли бригадира выношены, продуманы до конца, потому-то так убежденно он и заявляет: «Трудно, да... Но и радостно это служенье: без упреков, без клятв, без биения в грудь». Вот отчего всякое пустозвонство, должное создать видимость бурной деятельности, раздражает Кузьму:

...А теперь – коли сев, то, конечно, «сраженье»,
коли жатва, то «битва»...
Послушаешь – жуть!
Шуму, треску! Гляди, телефон разорвется...
И приказ, и указ... И еще шелкопер
из газеты...
И все призывают «бороться».
С кем бороться – не ведаю я до сих пор.
Да и некогда, знаешь ли: столько работы!..

Хотя Кузьма и сам смущается этих своих по былым временам так и вовсе невероятных мыслей, но ведь он глубоко прав. Викулов здесь очень тонко отметил действительное отношение колхозника-труженика к никчемному шуму и сам это отношение разделяет (припомним ироническое: «И мчит нас бывалый автобус... Мельтешат на щитах – только глянешь вперед – разноцветные цифры... А мало ли, много означают те цифры, сам черт не поймет...»). Заметим, не только потому, что «пылит, пролетая, машина»). Извечная крестьянская мудрость с очень существенной поправкой сегодняшнего дня чувствуется в рассуждениях Кузьмы, в его словах. И впрямь, не пора ли всем суматошным деятелям, что вокруг поля вертятся, заняться серьезным делом?!

Как видим, размышления Кузьмы выходят уже далеко за околицу родной деревни. И чтобы показать неизмеримые силы такого человека, поэт набрасывает последние, завершающие штрихи. Нам открывается картина сенокоса:

На клеверном поле, у нас на виду,
люди, солнышком залиты, ставят скирду.
И Кузьма среди них.
Вот он, выпрямься, встал.
Вот он запросто граблями небо достал,
двинул по боку тучку и шумную ношу,
подхватив, приподнял и у ног положил.
И опять распрямылся...

Глаз поэта с точностью объектива кинокамеры заснял происходящее. Со стороны, снизу так и кажется: человек, стоящий на высокой

скирде, задевает граблями небо. А за первым, зрительным планом ненавязчиво возникает второй, подтекстовый, и все воспринимается как гипербола. Образ Кузьмы вырастает до размеров былинного богатыря. С такими людьми, как Кузьма, связывает С. Викулов свои надежды на будущее деревни, на ее обновление...

II

Поэмой «Письма из деревни» (1976) Сергей Викулов обращается к жизни современной деревни, умея разом захватить широкий комплекс проблем. О них он немало писал в очерках («Вторая целина», «Вокруг избы») и свой взгляд на происходящее в деревне высказал определенно. Ему нет необходимости повторяться и решать сызнова средствами стиха то, что освоено публицистически. «Письма из деревни» интересны прежде всего отчетливо проявленным отношением коренного обитателя деревни к переменам, его точкой зрения. В этом смысле очевидна близость произведения С. Викулова поэме А. Романова «Черный хлеб», при всех различиях в характерах героев, в форме выражения представлений. Сходство в главном – в направленности.

А. Романов имел возможность тематически строить каждую главу («о вечерах», «о войне», «о женитьбе» и т. д.), – форма задушевной беседы, которая вьется, как бывает, вокруг одного предмета, на сегодня вдруг взволновавшего и притягивающего новые и новые детали и аналогии, – эта форма открывала возможность всесторонне или, во всяком случае, достаточно широко раскрыть каждую из занимающих поэта проблем.

Напротив, ожидать последовательности изложения того или иного «вопроса» в письме не шибко грамотного пожилого кузнеца вряд ли следует. И прав С. Викулов, когда вполне доверяется логике писем, каждое из которых говорит вроде бы сразу обо всем и ни о чем определенно, – зато характер героя являет себя в непосредственной точности. А в целом поэма в письмах создает объемную, завершенную в себе картину деревенской жизни, убедительно открывает представления героя-крестьянина и острое ощущение современности поэтом. Обрамление от авторского «я» попросту помогает понять замысел поэмы, расставляя без нажима последние штрихи. Как видим, композиция поэмы проста и естественно необходима для достижения поставленной С. Викуловым цели.

Простота и одновременно своеобразие замысла поэмы, в какой-то мере новая для Викулова форма изображения и оценки жизни вызвали разноголосицу в критике. Так, Ал. Михайлов, отмечая, что «Письма из деревни» представляют собою «поиски новых возможностей «широкоформатного» охвата жизни современной северной де-

ревни в канун ее грядущего преобразования»¹, однако усомнился в возможностях такой формы, считая сильным в поэме лишь ее лирическое обрамление. Скорее всего, критик рассматривал поэму С. Викулова с точки зрения повествовательного жанра, – на деле же здесь мы имеем нечто иное.

Для эпической поэмы обязателен развернутый сюжет – здесь его нет. В «Письмах...» складывается цельная картина жизни, но не в описательном плане, а через восприятие героя. Нам более важна его оценка жизненных явлений, нежели они сами по себе. Немаловажно и почти полное совпадение позиций поэта и его героя.

Как видим, несмотря на значительную роль элементов эпического в поэме, лирическое начало оказывается в ней ведущим, что хорошо почувствовал поэт Дм. Ковалев. «Сергею Викулову, думается, – писал он, – близка точка зрения, высказанная в свое время А. Твардовским о дальнейшем сближении прозы с поэзией. Он на собственной практике стремится сблизить рассказ со стихотворением, поэму – с повестью. Вот и в данном случае проза как бы вошла в ткань «Писем из деревни» и, оставаясь непринужденно свободной, стала поэзией»².

Главное слово в поэме – за старым кузнецом, который время от времени пишет письма в город родственнику – поэту. К своему герою С. Викулов обратился не впервые, поэт посвятил ему «Песню о друге» – в конце пятидесятых годов и снова через двенадцать лет – «Песню о кузнице». Жанровое определение «песня» условно в том и другом случае – оно выражало некую неопределенность жанра, незавершенность мысли поэта. Судя по всему, он еще сам тогда не чувствовал права и силы на поэму.

Теперь – иное дело. Поэту нет более нужды усиленно подчеркивать близость: «Мы с тобой и в самом деле много соли вместе съели...» («Песня о друге»). Не только годы и встречи, но и общность забот действительно объединили поэта и его героя. В «Песне о кузнице» есть уже цельность характера (хотя в свое время, признаться, я поторопился сказать и о «полноте жизни» его; об этом – сейчас уже ясно – дала основания говорить только поэма «Письма из деревни»). В первом случае, полемически заостря лишь некоторые черты своего героя, С. Викулов рассказывал о нем. Во втором, пользуясь спокойной повествовательной манерой, поэт рисует развернутый образ Ивана Шилова.

Есть в «Песне о кузнице» картины былого и одна, подробно прорисованная в деталях, сцена дней сегодняшних – проводы в армию шестого, последнего сына. Характер главного героя раскрывается в воспоминаниях поэта, который давно знает Ивана, и в собственных словах кузнеца.

В «Письмах из деревни» образ старого крестьянина, кузнеца Ивана Шилова раскрывается во всей своей многогранности. Это человек

¹ Михайлов Ал. Пути и перепутья жанра. – «Литературная газета», 1977, 16 февраля.

² Ковалев Д. Деревенские письма. – «Литературная Россия», 1976, 5 ноября.

большого трудолюбия и недюжинной силы, горячо убежденный в ценности труда на земле, глубоко равнодушный к радостям и бедам села, к его будущему... Задумывается он о жизни, о смысле ее. Гордится кузнец своими трудовыми руками, гордится и сыновьями. Он ощущает себя счастливым человеком и думает о том, как сберечь это счастье – свое и Родины:

Но бывает – маюсь думой, старый:
вдруг да снова... г р я н е т...
Ведь тогда
шестеро Ивановичей встанут,
встанут в строй для ратного труда.
Встанут молодые, стиснув зубы,
зная точно, биться за кого...
Родине, конечно, будет любо.
Ну, а нам-то с маткой каково?

Сам фронтовик, старый кузнец с горечью сознаёт, каких огромных жертв требует война от страны, от каждой семьи; но он верит в своих сыновей и знает, что они до конца будут преданы Родине. И нет в словах Ивана Шилова противопоставления личных, семейных интересов общественному долгу – есть единство разных граней отражения сложной жизненной проблемы...

В «Письмах из деревни» С. Викулов интересно воспользовался правом обратной оценки. Не только он пишет о кузнеце, но и тот высказывается по поводу стихов поэта: «...спасибо, что отметил ты нашу жизнь, как есть она, в газете... По этакой по круче провел у всей России на виду...». Не льстил ведь поэт своему герою, и иной бы ох как обиделся (мало ли таких случаев в литературной жизни), – здесь правда дорога обоим и принимается несуетно, без задней мысли, как она есть. Открытая двусторонность мнений и оценок дает, может быть, неожиданный эффект – укрепление контакта с читателем.

Своего третьего героя – читателя – Сергей Викулов вводит уже во вступление, с первых строк. Представляясь одновременно ему и сам, поэт говорит о своих родовых корнях. Невольно снова вспоминаются слова А. Твардовского, которые теперь уже осознаются как закон жизни и судьбы многих и многих: «Мы все, почти что поголовно, оттуда люди, от земли...». Как этот закон правит человеком в обыденности жизни, и показывает С. Викулов в своей поэме.

Всем нам в назначенные сроки,
в урочный час, в счастливый день
приходят письма из далеких,
больших и малых деревень.
Всем, кто рождением оттуда,
кто от земли свой начал путь,

всем, у кого еще покуда
есть там, в деревне, кто-нибудь;
чей дом пока под крышей низкой
помалу дышит, не забит;
кто не забыл родных и близких
и сам ответно не забыт.
А кто забыл – к чему упреки?
Бог, так сказать, ему судья...

Вдруг, неожиданно начинают восприниматься эти строчки как прямое обращение: «Всем... Всем... Всем...» К вероятным своим читателям обращается С. Викулов, намечая, условно говоря, линии взаимопонимания.

Поэт надеется прежде всего на понимание тех, кто сохранил живые связи с деревней, – немало их, кто рвется на родину, в деревню (говорят: «Домой!») – хотя десятилетиями живут по городам), не пугаясь утомительной езды «на перекладных»:

Сначала поездом полсуток,
потом «Ракетой» три часа,
да от райцентра на попутной;
через поля, через леса,
часок – с горушки на горушку,-
коль сухо, коль не замело...
И все!

Хорошо стремиться в родные края, когда знаешь, что дожидается тебя там самый близкий человек; но, признается поэт, «нет уж матери на свете. И дома отчего давно нет у меня. Мне в душу светит теперь лишь дядькино окно...» Родовые корни вымораживает время, но постоянной оказывается привязанность к деревне.

С. Викулов ведет доверительный разговор со своим читателем и откровенен в своих привязанностях и симпатиях. «Пройтись с косой по зорьке ранней, сварить уху на берегу» ему желанно до сих пор, тоска по деревне не умирает, потому и письма так отрадны.

Они приходят, хоть не часто:
и месяц нет порой, и два...
Тем дольше в сердце мне стучатся
простые
писем тех слова.

Из разрозненных, как бы случайных сообщений в поэме складывается развернутая, цельная и впечатляющая картина деревенской жизни в наши дни. Вместе с тем С. Викулов вполне выдерживает форму писем, характерных именно для пожилого человека, неискушенного в премудростях эпистолярного жанра. И начинаются письма с каких-то необязательных обстоятельств, нередко – с разговора о погоде (впрочем, для сельского жителя тема эта не беспредметна), иное даже во-

все без начала – с чего пришлось. И строго обязательного завершения писем искать не надо – нет в них такой выстроенности, да и не должно быть. А вот по обыденной житейской причине закончить послание вполне уместно: «Уже стемнело. Утром надо браться за пчел: они теперь роятся. Зевнул – и нету...».

...Вот они, письма, бесхитростные и непритязательные. И о хворях своих и старухиных сообщит кузнец; об извечном круговороте привычных домашних забот расскажет – жизнь продолжается; о будничных деревенских новостях – ожидании гостей или, например, о смене продавщицы в магазине; о делах колхозных своими соображениями поделится... И то в одном, то в другом тень прошлого вдруг замаячит, а порою – сквозь прозу повседневности – проявится неожиданно облик представимого будущего.

Жизнь человека «Письма из деревни» открывают в неразрывной цепи неостановимого времени, образ которого просматривается в поэме на разных уровнях: житейское время – как сменяемость крестьянских работ неизменно повторяющегося из века в век годового цикла; время личной биографии героя как отражение истории страны; наконец, время как текучесть сиюминутных перемен, в которых рождается день завтрашний...

И на любом временном уровне властвует сельский труд с его уже привычной, неизбежной непрерывностью:

Считают: если пенсию оформил –
одна тебе работа – домино!
А у меня и ныне дел по горло:
одно не кончил – новое подперло,
на зорьке начал – глядь, уже темно!..

Движение времени отражается в поэме многомерно. Вот, скажем, весна рисуется в приметах пейзажа («...сжигает ветер вешний на нивах посиневшие снега», «...скворцы поют утрами на скворечне») и быта («В заулках, по сравнению с зимой, заметно поубавилось поленищ...»); и в труде в свой черед приходят сезонные заботы: «Подвозят ко дворам в бригаде здешней на тракторах последние стога».

Свои заботы наваливаются с весною и на стариковы плечи: хочется и на озеро сбегать с утра пораньше, на пирог леща из озера достать, а там надо подкормить пчел и улы в огород выставить, натаскать торфу на грядки, картошку посадить – и обязательно «из-под лопатки» (уважающий себя хозяин «под пласт» не сажает). Действительно, весной – «все в кучу, разом».

С надеждой на подмогу ожидает старик гостей из города на эту пору: «Ну, правда, обещаются ребята на выходные. Лишняя лопата не мешает: пусть приедут, пусть!» Пусть, мол, и они погнутся на грядках, думается старику; только такие надежды не всегда оправдываются: чаще «гости» в деревню приезжают, по моим ежегодным наблюдениям, когда сено застоговано (позагорать и рыбу половить), когда кар-

тошка выкопана (сходить за грибами и прихватить с собой в город мешок-другой картошки)... Так-то.

Пора, когда сенокос с уборкой урожая сходится, дает новые наблюдения, и опять – выводы и суждения.

У нас ведь, сколько б ни было косилок,
а без косы никак не обойтись:
иные сенокосы залесило,
а на других – травища в рост, а сыро –
на тракторе попробуй покрутись!

А людей, которые бы с косой могли пройтись и копны к стогу поднести по болоту, не хватает. «Ведь у нас людей-то, парень, не прибывает, а наоборот», – замечает Иван. Малолодье скажется и на уборке: зерно из-за погоды то мокнет, то осыпается, – комбайны не в силах сохранить урожай.

Потерь не было, когда жали хлеба вручную, досушивая в зародах, потом обмолачивая, – так что же, к старому пятиться? Нет, «...не может быть к серпу возврата» – в этом старый кузнец убежден. Однако, раз так, должен город дать такую технику селу, чтоб она обеспечивала качественную обработку и уборку полей. Конечно же, старик прав в своих требованиях.

Особые заботы и тревоги приносит осень. Неустойчивая погода, конечно... Но главное – недобросовестность и равнодушие людей: «...рожь поспела, ломается... всю течет зерно... Но никому-то, смотришь, нету дела до этой ржи... Хотя б совсем сторела – хлеб в магазине будет все равно!» А какая осень стоит:

Чуть ступишь в лес – и ахнешь: неба просинь
да золото берез слепят глаза!
А по чащобам грузди – что те блюдца!
Волнушки – шляпки в двадцать пять колец!
Все пропадает – некому нагнуться,
вот утренник ударит – и конец.
А клюквы на болоте, а брусники...

Осень деревенские нужды обнажает с особой яркостью: не только хлеба некому своевременно убирать, но и грибы с ягодами остаются... А там и новые заботы подкатывают к крестьянину с заморозками:

...до снега заготовили дровец.
Ванюшка трой тракторные сани
припер. Пилили с бабкой лично сами.
Сложили... Все в порядке, наконец.
Потом, опять на тракторе, из лога
по снегу вывезли стожок.
На эти дни случился, слава богу,
наш младший из Череповца, Серега,
а нет бы... В общем, здорово помог.

Идет время своим чередом, вовлекая в труды всех деревенских жителей, – на каждый сезон приходится свои заботы.

Но проблемы сельские связаны, понятно, не только с трудом на земле. И все перемены, все радости и беды, события даже незначительные не оставляют безразличным старого викуловского героя.

Суждения старого деревенского кузнеца касаются многих явлений жизни и вовсе не замыкаются деревенской околицей. В каждом из них есть своя целесообразность, самобытность взгляда и единство нравственной оценки. Вдумаемся лишь в некоторые из мнений Ивана Шилова.

Он уверен, что при хороших условиях труда да при старании и на северных землях многое можно выращивать. И вот аргумент. Пригляделся он к садовым участкам возле города и удивился: «Сказалась все ж крестьянская закваска, нашла-таки отдушину душа», – тут тебе и овощи, и ягоды...

Посмотришь – ахнешь: что земля-то может!
 Да если бы и в поле каждый клин
 вот так же был обласкан и ухожен, –
 уверен, что теперь и наш бы тоже
 не пустовал бы, парень, магазин!..

Зайдет ли речь об охоте, старый кузнец, зная минуты страстного ожидания на тетеревином току, с горьким недоумением осудит горе-охотников, которые бьют птицу прямо из машины чуть не в упор. «До сих пор он, тетерев, машины не боится», – замечает старик, – значит, птица перед стрелком на колесах совершенно беззащитна. А и так уж ей лесов мало остается, –повырублены, удобрениями химическими отравлены: сваливают в поля и вносят в почву их часто как придется, не соблюдая норм охраны окружающей среды. В этих сетованиях, надо признать, немало правды.

Рассказывая в письме о том, что весной засуха прижала яровые, потом рожь в цвету побило заморозками, старый Иван с горьким юмором резюмирует: «...не в зад природа нас, так в рыло нещадно лупит!.. Дивные дела!» Он серьезно доискивается ответов на вопросы, что «подкидывает» жизнь. Размышляя о том, что погода стала капризной, неустойчивой, он переходит к мысли о долге человека перед природой, о бережном к ней отношении:

Мы только замечаем, что она
 и норовистой стала, и беднее...
 А впрочем-то, и наша перед нею
 есть, думаю, немалая вина.
 Болота осушаем без разбора,
 лес рубим, будто шерсть с овцы стрижем.
 И вот – мелеют реки и озера...
 Нет, надо поубавить бы задора

и нам. И мы ее не бережем,
природу-то: сознания маловато...
А техника – хоть гору свороти –
у нас в руках!..

Любое событие ведет викуловского героя к определенным умозаключениям и выводам, наводит на воспоминания и сопоставления. Вот в кои-то веки побывал Иван в гостях у сестры в недалекой деревне Перкино по случаю призыва ее внука в армию. «Ну, свиделись с сеструхой, потужили, когда успели столько, мол, прожить?» – у него-то у самого сыновья уже отслужили. Идет время, и не зря сестра пеняет:

«Совсем забыл. Ко мне все не дорога...
И дети – тоже: встретятся у гроба
ужо... И остальная вся родня...»

Почему же Иван не бывал в Перкине четыре года? «А просто потому, что у народа теперь гоститься не заведено». Как замечает старик, «теперь, вишь, где сбежались – тут и праздник», – всех на свой устав не переиначишь, да и сам, пожалуй, станешь жить, как все. И остаются только воспоминания о былом родовом общении.

А раньше ждали праздничного дня
и взрослые и дети – худо разве?!
А блюд да разносолов сколько разных
готовили! Съезжалась вся родня!
Чтоб свидеться, чтоб в буднях не утратить
родства – беда и радость пополам!
И дети тут, и кумушки, и сватья...

Собирались на пиво («хмель и солод у каждого водились про запас»), – не ради пьянства; умели и общению радоваться: «а в застолье – песни непременно, а также пляска...» – вспоминает старый Иван. Их невольно припомнишь, старые песни, если новые кузнецу не по душе. Послушал он, послушал песню призывников да и подошел: «Больно уж не здешний мотив, прошу прощения, у ней...». Не обидели ребята старика, но понять не захотели (старый, мол, ему не до магнитофона), да и трудно им понять его глубокую большую мысль – не часто приходится им об этом слышать:

«Да, старый я. Но я, ребята, с т а р ы й
с о л д а т еще, позвольте доложить.
И грустно мне – ведь вы не за амбары
с девчонками – под эти тары-бары.
Отчизне отправляйтесь служить!
Не та у песни вашей, парни, нота!
Не такими знали нас враги...

К подобным суждениям Ивана Шилова есть резон прислушаться – в них убеждения, подтвержденные долгой жизнью, трудовым и боевым опытом. Тут невольно и на другие, как бы попутные замечания старого кузнеца обратишь внимание.

Вот в одном случае старик иронизирует: «Из каждого окошка: «Шайбу! Шайбу!» – несется, заглушая лай собак...». В другой раз, сообщив своему адресату-поэту, что журнала «Москва» с поэмой «Песня о кузнеце» он не нашел, Шилов добавляет: «...как почтарь ответил, такого в целом нашем сельсовете никто в глаза отроду не видал...». Неплохое, конечно, дело телевизор, но ежели он собой всю культуру олицетворяет, то это уже худо. И может быть, небезосновательно Иван Васильевич жалеет об утрате старых форм культуры на селе?..

Мнения Шилова обо всем интересны и важны, но пора вдуматься, что говорит герой С. Викулова о самом главном для тех дней в деревне.

Доводы старого кузнеца против сселения деревень, надо признать, поначалу не очень основательны, более того, даже противоречивы.

...Нет, ты, наверно, поприбавил...
К тому ж у нас, писал я, новый клуб
почти готов... А ты – переселенье!
Покрашены и стены, и полы,
и занавес повешен... К сожаленью,
не ладится чего-то с отопленьем:
как будто завезли не те котлы...

Ну верно, что и некому, пожалуй,
ходить в тот клуб уж... Строили пока –
кто помоложе – в город убежали,
а новых бабки – вишь, не нарожали
(прости за эту шутку старика).

Семь ребятишек на три класса в школе.
А было, знаешь, по десять в одном!..

В самом деле, как тут не сселять деревни, если в клуб ходить некому, если школа пустует... Все это понимает старик, но он-то бы предпочел видеть свою деревню в несколько посадков, клуб в ней многолюдным и школу полной ребятни. Самый же главный, действительно серьезный его аргумент – трудности с обработкой земли, возникающие при сселении:

Деревни-то не так уж трудно в кучу
стащить зараз куда-нибудь на кручу...
А ты попробуй землю сволочи!

Не за лесом она, так за болотом,
за озером нередко, за рекой...
Вот будет председателям заботы

весной ее, родную, обработать,
когда туда дороги никакой.

Ревнивая она необычайно,
земля-то наша! Любит, чтоб мужик
под боком был... А нет – так заскучает,
поддастся лесу живо, одичает,
да так, что не отыщешь и межи!..

Наверное, кое-кто отмахнется от подобных высказываний, увидев в них лишь стариковское брюзжание. Нового времени, мол, не понимает. Однако, нет, не стоит отмахиваться! Старик сознает, что на Кубани с ее просторами – «иное дело», а тут, на Севере... Прав старый деревенский житель: трудно сохранить землю в большом отдалении от жилья.

Земля щедро платит добром за заботу, но не прощает ошибок. Недаром сетует Иван Шилов: ведь в результате различных «экспериментов» площадь пашни на Вологодчине стала значительно меньше, чем даже в 1940 году. На огромных фермах скоту нередко не хватает кормов, а дальние покосы не выкашиваются, зарастают лесом. Культурные пастбища в течение десятилетий остаются кое-где только предметом разговоров, а строящиеся комплексы часто не имеют необходимой кормовой базы...

Заботой о завтрашнем дне деревни проникнуты все письма Ивана Шилова, о чем бы он ни писал. Разумеется, Сергей Викулов не рассчитывает, что каждое слово его героя будет принято как программа действий. Но чтобы не допустить повторения ошибок, стоит прислушаться к мнениям старого сельского труженика – за ними сила жизненного опыта и непосредственной близости к земле. Самого С. Викулова издавна волнует эта забота, и мнение народное, которое выражает Иван Васильевич Шилов, поэту особенно дорого.

Все на свете интересно старому кузнецу, до всего есть дело, обо всем – свое разумение, и высказывается оно в письмах к земляку-поэту с полной откровенностью. Из соображений Шилова по различным поводам складывается проблемное содержание поэмы, а характер его становится тем центром, который организует произведение. Поэту естественно, что именно образ главного героя поэмы привлек особое внимание критики. «Неординарность натуры Ивана Васильевича определяется пронзившим все его существо чувством хозяина своей колхозной земли», – полагает М. Числов и подчеркивает, что в письмах старый кузнец «как бы между прочим высказывает свое отношение к серьезным и важным проблемам сегодняшнего времени»¹. Относительно «неординарности» героя я, пожалуй, не очень склонен согласиться с критиком: Иван Шилов – современный крестьянин, каких много. Типичность героя – большая удача С. Викулова, а то, что он может показаться неординарным, необычным, говорит лишь о неистраченных

¹ Числов М. Движение жанра. – «Правда», 1977, 14 апреля.

возможностях русского крестьянства. А вот особенность композиции поэмы, неназойливое проявление проблематики М. Числов уловил очень верно.

Развивая ту же самую мысль, В. Дементьев существенно дополняет ее, отмечая органическое взаимопроникновение идейного, психологического и бытового начал в поэме. Он пишет: «...мимоходом оброненные замечания побуждают читателя к серьезным размышлениям, и наоборот: как бы ни была серьезна та или иная социально-бытовая проблема, речь героя не превращается в комментарий к этой проблеме, а его характер – в иллюстрацию к ней. Нет, дядька живет полноценной своей жизнью, в которой случайное и существенное переплетается, создает как бы единый поток человеческого бытия»¹. В этом прежде всего мнение народное обретает полнозвучное значение художественной правды.

В немногих словах говорит Сергей Викулов о своем герое Иване Васильевиче Шилове, но за ними – большая жизнь, отражающая в самом существенном и жизнь страны. У дядьки – «все есть»: о том, что у него шестеро сыновей, мы знаем еще из поэмы «Песня о кузнеце», а кроме того, «десять с той войны ранений» и «специальностей – не счесть!». Здесь уже четко намечена и биография как реальное содержание жизни (не просто безликие анкетные данные), и характер.

Попал, скажем, старик в больницу – «из-за пустяка», по его словам. Что за пустяк (впрочем, мало ли хворей у стариков)? Ан, «открылась снова рана... На костылях не двадцать ли два дня скакал...» – фронтное прошлое дает себя знать. Иван Васильевич «давно уж не у горна», однако без дела не сидит. Кузнец, столяр, печник, пчеловод – он «всем нужен до зарезу», даже зимой – гнет салазки, делает к лету заготовки для граблей, рамы да сети вяжет...

Под стать Ивану и жена его Елена, трудовой подвиг которой дано понять нам, так сказать, по косвенным деталям. «Елена лечит руки, – сообщает старик в одном из писем. – Ей уколы назначили. И ванны. И массаж...». Сами старики понимают, разумеется, откуда хвори идут, и это мы уловим в скупых словах старого кузнеца: «Что делать: пооббили мы подковы, исхрястались донельзя, бестолковы... И то: нелегко был возок-то наш!».

Не от жадности, не от стремления к заработку «исхрястались» старики: долго только за «палочки в книжке» работали они, сознавая необходимость своего, по сути безвозмездного труда. Теперь то это и понять почти невозможно, особенно молодым. Даже в словах старого Ивана ироническое «бестолковы» проскочило, – но нет здесь переоценки ценностей, как нет и желания пожаловаться на судьбу.

Как и у всех, сыновья стариков разъехались по городам и «навещают только летом – с детьми и женами». Иван Васильевич понимает это

¹ Дементьев В. Исповедь земли. М., 1980, с. 436.

как должное, однако сам торопиться вслед за суматошным веком не желает. «Я лично ни в Архипово, ни в город не собираюсь... Я надеюсь тут дожить свой век!» – упрямо заявляет он. «Я от земли, от дел моих привычных свободы не хотел и не хочу!» – пишет старый кузнец в одном из своих писем.

И дело не только в том, что вечная «неволя» у земли дает средства к существованию. Пройтись меж гряд, радуясь буйной зелени, полюбоваться деловито снующими пчелами, сорвать молодой огурец – есть в этом для сельского человека неизъяснимая прелесть.

Да мало ль чем она еще одарит,
земля! Особо летнею порой.
Чего вовек не купишь на базаре,
тем паче в магазине... Так что, парень,
мне счастье трехэтажное не строй.

Старик вполне доволен своей жизнью: «А пенсию я нынче получаю побольше бабки – семьдесят рублей! Как инвалид... Уважили солдата!» Он рад признанию своих боевых и трудовых заслуг. При этом благополучие не рождает в нем жадности. Успокаивая знакомого фронтовика-инвалида, что вместо «Москвича» получил мотоколяску, он и тут находит резон для удовлетворенности: «Мотоколяска ж – легкая, как птичка, хоть в лес ужо, хоть к озеру на ней!» – тогда как «Москвичу» хорошая дорога нужна. Жажды обладания дорогими вещами нет у старого кузнеца.

К жизни он привык относиться вдумчиво, со спокойным юмором. «Живем да хлеб жуем», – традиционным присловьем оговаривается он по поводу непримечательной обыденности своей жизни. Иронизирует он и над своими хворобами: «Обошлось покуда: как барана, на этот раз не резали меня», – говорит он с грубоватой шуткой о давнишней ране и болезни.

Легкое отношение к труду и деньгам возмущает старика, хотя он искренне рад, что люди стали жить лучше. За рубль они уже работать не пойдут, «а рубль-то – семь буханок хлеба, брат!» – кузнец еще помнит старую меру ценностей, но что она значит для нынешних... «Теперь и в сенокос выходят в восемь, а в пять уж загревают самовар», – отмечает старик. Он-то помнит, как с вечера приходилось крутить тяжелые жернова, чтоб напечь хлеба, а в пять утра уже на покос бежали, пока роса. Молодое поколение не очень вспоминает о былом:

Забыли, черти, как в нужде-печали,
когда уже закончилась война,
всего по двести граммов получали,
и то неполноценного зерна!

А и тогда надо было вырастить детей, выкормить и обусть-одеть, когда магазины были пусты и бабы волей-неволей «на рубахи и штанишки

перешивали платья прежних лет». Конечно, Иван Васильевич о старом не жалеет и понимает недоверие молодых к рассказам о трудном былом.

...я теперь уже
и сам не верю: к новому привык.

Не верю, что в избе еще лучина
тогда светила мне по вечерам,
что я – уже не мальчик, а мужчина –
когда-то удивлялся тракторам.

Свою жизнь старый кузнец считает счастливо прожитой, несмотря на все трудности и беды, и верит, что новое поколение будет еще счастливей.

Кузнеца Ивана Шилова и заботы, его волнующие, мы узнали так, будто всем нам он свой, родной человек. Горячая заинтересованность С. Викулова в делах и судьбах деревни, духовная близость со своим героем и уверенное мастерство поэта обеспечили его успех. Важна здесь проблематика поэмы, отбор материала и язык – «естественность слова, цвета, жеста»: М. Горбунов отмечает, что это качество, свойственное вообще творчеству С. Викулова, сполна проявилось и в поэме «Письма из деревни», которая представляет собой «прекрасный образец «аранжировки» своеобразной, народной, именно – вологодской, причем современной речи, и еще и этим достигается художественная подлинность повествования»¹. Разумеется, речевая «аранжировка» – лишь один из способов поэтического решения творческой задачи С. Викуловым, овладевшим цельной системой художественных приемов.

Автору удалось достигнуть и пластического единства речи (писем) героя – старого крестьянина, и поэта – нашего современника. И хотя С. Викулов не часто высказывается «от себя», роль непосредственного авторского слова в поэме очень значительна. Так, поэт берет себе слово в заключительной части – «Письме в деревню». Листая письма, он представляет родную избу, в поле кузницу с прогнившей крышей, а возле нее никому теперь не нужные «тележные колеса и станок дляковки лошадей». Видит он гору Высокую и лес окрест, и на этом фоне – деревенька. «Боже, до чего ж она мала!» – в который раз сокрушается поэт, помня, какой многолюдной деревня была когда-то. А теперь...

Реденько стоят ее посадки,
если не пусты – полупусты,
реденько, как воинов отряды
возле штурмом взятой высоты.
Скоро уж конец и им, бедовым...

¹ Горбунов М. Постоянство любви и тревоги. – Москва, 1978, №8, с. 208.

Обращаясь к своему герою со словом благодарности и признания, С. Викулов подчеркивает, что «не забавы ради» он «пустить решил» по рукам его письма, – пусть над ними подумают земляки, да и другие люди, пусть они сами определяют, в чем прав старый кузнец, в чем не прав. Но даже в чем-то, может быть, и ошибаясь, старый кузнец глядит все же не во вчерашний, а в завтрашний день, думает и заботится о будущем села.

В «Письмах из деревни» с законченной полнотой и большой художественной выразительностью воссоздан быт русской деревни на новом этапе ее развития, взыскательно и всесторонне исследованы насущные проблемы, которые надо решить, чтобы двигаться вперед... Дело свое – с полным правом мы можем сказать «историческое дело» – Иван Васильевич Шилов исполнил до конца с высоким достоинством и сознанием долга, с какими бы оговорками мы ни судили об этом герое. Кто же следующий, кто станет наследовать дела и традиции старого крестьянина-колхозника?..

Этой проблеме посвящает С. Викулов поэму «Остался в поле след». Герой, о котором прежде он лишь попутно упоминал, занимает здесь центральное место. Снова обращается поэт к испытанному жанру повести в стихах, но это не повторение пройденного, не использование отработанных приемов. Поиск новых художественных решений определяется уже тем, что новая повесть вовсе не «деревенская», а, так сказать, городская.

Свою поэму С. Викулов строит как ряд эпизодов из жизни Григория Дворова. Характер героя не прорисован с полной отчетливостью; в нем гораздо определеннее черты некоей всеобщности, нежели свойства индивидуальные. И некоторой обобщенностью отмечены рассказы о его жизни – такое бывало со многими людьми, схожими с Григорием по судьбе. Так заявляется в поэме типичность героя.

Главный герой поэмы С. Викулова Григорий Дворов – городской рабочий, и все-таки деревня остается здесь в центре внимания поэта как некий идеал образа жизни. Нет, не всеобщий вовсе идеал, но жизненно необходимый для людей типа Григория Дворова, некогда оставивших деревню, нашедших в городе место и специальность, создавших семью, но тоскующих по деревне, стремящихся к ней и не способных принять решения, казалось бы, столь легко достижимого.

Чего уж проще – уволься с завода, пиши заявление на работу в совхоз. Тем более и у матери в далекой деревне, и у тещи в недалеком селе сохранились свои избы – живи и работай. Ведь там, в обезлюдевших краях, так нужны крепкие рабочие руки и добротная квалификация. За чем же дело?!

Судьба человека не есть некое абстрактное понятие, но определяется конкретными обстоятельствами, и хотя характеры людей индивидуальны, судьбы многих складываются стереотипно, задавая тем

самым и типичность характеров. Контекст судьбы своего героя, если так можно выразиться, Сергей Викулов намечает уже во вступлении к поэме.

В крае, «не слыхавшем звона отроду, кроме звона кос», вырос металлургический завод и начал работать так, что «в дальних деревушках и селах пели сквозняки». И началось передвижение народа:

...ярой силой
тех ветродуев, что ни день,
сносило к городу, сносило
людей из сел и деревень.

Страхнуло людей с насиженных мест, «заводу – ясно, что на радость, а деревушкам на беду», – но в этом видит поэт не столько противостояние, сколько связь города и села. Она уловлена в своем значении четкой поэтической формулой: «тот город, обликом железный, нрав все ж имеет полевой». Оба некогда в поэзии контрастирующие определения (С. Есенин) объединились для выявления сущности современного города.

Понятно, находит она выражение в характерах обитателей города и их деятельности. Влекомые силой родовой памяти, они по выходным дням еще до зорьки «мчатся шало во все концы» – по деревням, где еще живут их близкие, а порою – уже к родному пепелищу. Заботы их в деревне не только личные, – туда ведет их зачастую и общественная необходимость.

Посмотришь: там они тропинкой
в леса, что издавна любы,
бегут по ягоды с корзинкой
иль с кузовочком по грибы.

А там монтируют бригадой
автопоилки... А пошлют –
и косят («Надо – значит надо!»),
и жнут, и пашут, и куют.

В чубах их – стружка и солома
и зерна теплые в горстях...

Хохочут (с детства все знакомо!)
и забывают, что не дома
они...
Не дома, а в гостях.

Да, «дома» и «в гостях» – тут есть заметная разница. Настолько заметная, что определяет собою иногда и мироощущение, и всю жизнь иного человека.

Таким человеком и является главный герой поэмы Сергея Вику-

лова Григорий Дворов. Его легко представить себе повзрослевшим, возмужавшим Степаном Завьяловым из ранней поэмы Викулова «В метель». Как и он, Григорий «пришел из армии – и в город, на град общественных укоров махнув решительно рукой». Нашел он в городе работу, женился, получил комнатку в общежитии молодых, обзавелся двумя детьми, которые пристроены в детсаде.

Жизнь вроде бы наладилась, но Григорий Дворов так и остался «лишь по званию городской», и это обстоятельство С. Викулов подчеркивает в самом начале поэмы, отмечая, что у его героя «болит древнею душа». Не о том ли когда-то предупреждал поэт Степана Завьялова поэмой «В метель»:

...заманчивый город,
тот, куда тебя тянет,
домом станет не скоро
или вовсе не станет.
Будешь ты у буфетов
пиво пить городское,
деревенское лето
вспоминая с тоскою.
И сухие мозоли
на руках ковыряя,
вспомнишь скирды на поле
заозерного края,
вспомнишь волн перекаты,
спор гармоник задорных...

Вот так и Григория Дворова «не радуют, как мужика, ни стадион, ни кружка пива в толкучке общей у ларька», ни мебельный гарнитур, ни дачка, – и «все веселье городское ему – что есть оно, что нет». У него другие радости:

Как хорошо сбежать с крылечка
в час предрассветный,
с кузовком,
когда еще в тумане речка
и ни одна в округе печка
еще не пыхнула дымком:

Сбежать – и к лесу, вдоль осека,
услышав лишь, как в тишине
петух вослед прокукарекал...

Но хотя Григорий «лишь по званию городской», живет он все-таки в городе и за нечастую (по выходным) радость пожить в деревне должен платить тягостной суетой сборов, дорожными мытарствами, неизбывной тоской.

Как же возникла эта тягостная раздвоенность героя С. Викулова и есть ли у него возможность и силы преодолеть ее? Обратимся

к некоторым эпизодам повести и попытаемся выявить вехи судьбы героя.

Григорий Дворов запомнил проводы в армию из родного села после окончания школы и простые слова председателя:

«Служите Родине отважно,
не забывайте свой колхоз!

И возвращайтесь. Ваше место
никто, ребята, не займет.
Вас обещают ждать невесты
и – точно! – будет ждать народ!..»

Памятной стала и традиционная горсть родной земли, дар «особого значения и смысла», врученный матерями в надежде, что земля позовет ребят назад. Но в тот же вечер парень услышал от своей подруги совсем другие слова, обжигающие холодом. «И ты... – она поджала губы, – и ты уверен – позовет она назад?» Парень не допускает и сомнений, однако девушка гнет свое: «А что ты... – Люба перебила, – что будешь делать здесь, герой?» Она полагает, что на всю жизнь – только кабина трактора, – маловато для человека.

У юного Григория еще не остыл восторг проводин, и он красноречиво клянется в привязанности к родному краю. Грай грачиный над весенними полями, проливной дождь над бледным цветом картошки летом, звон колосьев по хедеру и золотистое жнивье ранней осенью – все ему мило и дорого. Но нет, не захватывает пыл юноши его рассудительную подругу: «А я учиться дальше буду...» – она своим решением уже оборвала деревенские корни.

Первая болезненная трещина пролегла в душе юного Григория Дворова.

На службе Григорий тосковал по родине, и отец в письмах подогревал светлое чувство сына. И была потом радость встречи с отчиной, баня с веником, застолье, выходы на охоту, отрадные хлопоты по ремонту избы, изгороди... И была тоска по девушке, которая уже не вернется в деревню... В правление Григорий пошел, хотя привычный мир несколько померк в его глазах. Свободной машины для молодого механизатора, как часто водится, тоже не оказалось.

Пришлось Дворову работать в мастерской, каждый день за восемь километров «тащиться вдрызг разбитым трактором». Удивительно ли, что те дни «ему запомнились особо... и погодой невеселой и беспросветною тоской». В душе прибавилась еще одна трещина. И когда по весне пришло письмо от друга-однополчанина, в котором тот рисовал прелести городской жизни, Григорий «день-два поколебался – и полетел на зов дружка...». Этот грустный финал стал началом нового этапа в жизни Дворова. Тоска настигает Григория и в городе; только на побывке в деревне он сознает свою жизнь наполненной и осмыс-

ленной. Вот он вышел за грибами, и Сергей Викулов сочно, многокрасочно живописует щедрое изобилие леса, будто завлекая туда читателя вслед за героем:

А справа, слева – «Ну картина!» –
грибы! Да не по одному,
а, в самом деле, коллективом
навстречу топали к нему.

Григорий ахнул: «Ну народец!
Ну пошехонцы! Ну орда!
Да вы кого-то ждали вроде?
И потому сошлись сюда,
на эту старую дорогу?
Но стой! Куда она ведет?
Или вела?..»

Не меньший восторг вызывает встреча с лесным озером, полным непуганой рыбы; но удручает мертвенно тихая, обезлюдевшая деревня на прекрасном берегу. Напоминает она Григорию и родную дальнюю деревню, – ее судьба, наверно, будет такой же... Но вернулся ли бы на родную сельщину Григорий Дворов? – он сам задается этим вопросом и отвечает, хотя и с некоторым сомнением, утвердительно: «А что! Пожалуй, был бы рад...».

А между тем возвращается Дворов на «Метеоре» в город – так ездят тысячи череповчан в Шекснинский, Кирилловский, Белозерский районы. Григорию, как гостю, коротки два дня в деревне, и удивительно ли, что «в душе не память, а поминки», и героем овладевает печаль. Завидует он тем, «кому сейчас ни плыть, ни ехать совсем не надо никуда», а тут снова утомительная возня переезда с детьми и узлами. И «Метеор» – «чудо-птица» из пластика, стекла и металла – ведь, казалось бы, какое удобство! – не радует Григория.

...он курил и, горбя спину,
с тоской бросал на берег взгляд,
где сердцу милые картины
неслись назад, назад, навад...

Там, на берегах, в одном месте мелиораторы роют траншею, в другом строится животноводческий комплекс... С особой завистью Григорий смотрел на крановщика в белой рубашке, – ведь и он по той же специальности работает на заводе, и ему бы тут, на сельской стройке, место нашлось... «А может, еду я из дома, – мелькнула мысль, – а не домой?» Нет, она вовсе не случайна, эта мысль... Так что же его держит, Григория Дворова, в городе?

Колоритно набрасывает С. Викулов картины быта в «доме молодоженов»; поэт не скупится на детали. На общей кухне, где «пестреют молодости флаги – трусы, пеленки, ползунки», где звучит «то гром свалившегося таза, то рев чьего-то малыша», – там, в тесноте, да не обиде (впрочем,

всякое бывает), молодые женщины склоняются каждая над своей плитой с кастрюлями. Случается, вдруг и незабытая хромка заиграет:

На кухне или в коридоре
она поет, она скулит,
как птица в клетке, у которой
душа по волюшке болит...

Ну а поскольку душа болит, то боль выхода требует, и вот уже кто-то предлагает: «Швырнем по рваненькому в кучу, тем паче – есть чем закусить». Дружно сходятся молодые мужики, стаскивая к общему столу снедь, запасенную в деревне: грузди, соленые огурцы, копченых лещей... И невольно вспоминаются труды на тещином огороде, рыбалка, походы в лес по грибы.

Память деревни тревожит души, но отношение к ней у всех разное, поскольку неодинаковы жизненные цели молодых людей (а многие и вовсе ни о каких целях не помышляют). Одним прельстительно накопить на «Жигули», и вне города своей жизни они уже не представляют. Других, и среди них Григорий Дворов, неудержимо тянет в деревню.

Было бы ошибочно утверждать, что каждый выходец из деревни мучается в ностальгических переживаниях по ней. Ведь работник, самые острые чувства которого направлены помимо его главного жизненного дела, не в силах дать работе максимум того, на что он способен. Наши горожане в огромном большинстве своем – уроженцы деревни, если не в первом, то во втором поколении.

И это они создали мощную индустрию, они занимают заметное место в культуре, образовании и других отраслях. Живя половинчато, двойною жизнью переживаний, они были бы не способны к выполнению своей новой жизненной роли. Следовательно, большинство так или иначе преодолели двойственность своего положения, но не все.

Тех, кто душою остался в деревне, не так уж мало. Их положение и психологический склад заслуживает самого пристального внимания и изучения. Необходимо это хотя бы для того, чтобы найти оптимальные варианты для создания удовлетворяющего их образа жизни, во-первых. Во-вторых, надо иметь в виду, что генофонд деревни в результате переселения в города наиболее жизнеспособной части населения чрезвычайно обеднел.

А пополнить его можно именно за счет мятущихся, в ком сохранились еще крестьянские гены. Они, нереализованные, и не дают прижиться в городе этим людям, мучая неизбывной тоской по деревне.

Тяга в деревню не в силах оборвать житейские цепи, что держат человека в городе, и тоска неизбежна. «Это не смертельно! – успокаивают соседи Григория Дворова. – Тоска, как корь, сама пройдет...». Для многих она и проходит бесследно, и эти многие уже не разделят деревенских тревог, будут скептически судить о деревне и ее обитателях («Да в наши дни, вообще-то, кто живет в деревне? – спросить. Да темные они!»).

Все переворачивается с ног на голову в их сознании. Для них деревня – потребительница, на которую работает город; они будут с издевкой иронизировать над стремлением вернуться на село:

Из центра, так сказать, культуры –
в глушь, где медведи дуги гнут...
Да ведь тебя за это куры,
ты слышишь, куры засмеют!

И хоть горячится Григорий Дворов, отстаивая свою мечту вернуться к сельскому труду, в этом обиходном мнении есть властная нерассуждающая сила и содержится один из серьезнейших мотивов невозможности вернуться.

Есть и еще один, не менее сильный мотив того же рода: семья. Действует сей фактор скромно и незаметно: если мужики спорят между собой чуть ли не до драки, отстаивая свои позиции, то жена и в спор вступить не станет.

«Да никуда мы не поедем!
И прекратите... этот крик!»
Все оглянулись. Это Юля.
Она,
 склонившись над плитой,
мешала ложкою в кастрюле
и плакала...

Пусть муж пререкается с соседями, – тихие слезы жены решат практически исход спора: «Да никуда мы не поедем!» – так в подобных обстоятельствах реальной жизни и решает проблему большинство. Узел затянулся...

Деревня между тем крайне нуждается в таких людях, как Григорий Дворов. Припомним еще один эпизод – встречу нашего героя с колхозным бригадиром в деревне.

Задиристо ведут беседу старые знакомые, даже здороваются в подчеркнуто вызывающей форме. «Привет, рабочий класс!» – говорит один, в глубине души обижаясь, что недавний сельчанин ушел от деревенских забот. «Здорово, труженик села!..» – отзывается другой, как бы отмежевываясь и в то же время стремясь скрыть неустойчивость своего состояния.

Бригадир Павел Крутов измучен нехваткой людей, неустойчивой погодой, и многочисленные шефы для него не спасение. «Для шефов все-таки поля – другая, брат ты мой, планета», – говорит он, подчеркивая: «Не любит набегных земля... И всяких безобразий снести не в силах...». Он во многом прав, потому что заводскому рабочему с его отношением к мертвой вещи, средству производства (оно закономерно на заводе), трудно, почти невозможно перестроиться на отношение к земле, требующей индивидуального подхода во всем (структура

почв, особенности растений, влияние погоды и т. д.). Павлу Крутову и передоверяет С. Викулов свои самые дорогие мысли.

...великим, помнишь, переломом
зовет История тот год,
когда пошел мужик отсталый
в артель. В колхоз...
А перелом –
великий, собственно, иль малый, –
как ни крутись, болит потом.

Припоминая трудности и издержки той далекой поры, бригадир Крутов ведет свою мысль к осознанию современного момента. «Начался новый перелом в деревне, – говорит он. – Малый ли, великий, не знаю... Знаю, что каюк деревне старой...». И против этого деятельный деревенский житель не восстает – его тревожит другое:

Беда не в том, что опустели
деревни... Рано – вот беда!
Ведь вместо них-то, по идее
(они исчезнут без следа),
должны бы встать и в самом деле
пускай не агрогорода
так села новые хотя бы...
Чтоб, как на первой целине,
в них и культура и усадьбы –
все было с веком наравне!

Пока еще до этого далеко...

Деревне необходимы рабочие руки: многие горожане, теряющие себя на асфальте в тоске по деревне, никак не найдут пути назад – из этого противостояния нет стихийного выхода.

Григорий Дворов мог стать новым героем, однако – в силу неоторимой жизненной логики – пока не стал. И будет ли?..

Тревожной мыслью о том, как разомкнуть порочный круг, стремлением пробудить своих читателей – бесчисленных Григориев Дворовых, живущих по городам, – пробудить и позвать в деревню, проникнута поэма Сергея Викулова «Остался в поле след», впечатляющая резко и сильно, активная и наступательная по характеру...

На новом для себя материале С. Викулов раскрыл еще одну важнейшую сторону постоянной для своей жизни темы. Активность позиции поэта-гражданина, мысль о служении Родине, о необходимости каждому человеку быть ей полезным в меру сил своих проходит через все поэмы С. Викулова.

«Сергей Викулов», 1983

ВАСИЛИЙ
ОБОТУРОВ

Степень
родства

Современник
МОСКВА

1977





НА САМОЙ ГРАНИ

КРЕСТЬЯНСКАЯ САГА
АЛЕКСАНДРА РОМАНОВА



В этот старый деревянный дом с огромными окнами по улице Советской, почти на берегу реки Юг, в большую светлую комнату, в которой размещались все четверо литературных сотрудников газеты «Никольский коммунар», Александр Яшин в самом начале шестидесятых годов запросто заходил не раз, не два. Усаживался и спрашивал, спрашивал без конца, где и что делается по району, и, казалось, неинтересного для него просто не существует.

На этот раз внимание Яшина привлек номер газеты «Вологодский комсомолец» в моих руках. Броско сверстанная, поданная в голубом цвете полоса была густо заполнена неровными колонками стихов.

– Что, поэму Романова дали? – он, судя по интонации вопроса, знал о ней раньше.

– Да-а, очень необычна...

– Подарите мне этот номер.

Спокойно, ненастойчиво сказал это Александр Яковлевич, но по взгляду его было понятно, что ему очень хочется получить газету с новой поэмой Александра Романова тотчас же. И разве мог я устоять перед этой просьбой, хотя и мне поэма понравилась и побудила едва ли не впервые серьезно задуматься над тем, а каков он, поэт Александр Романов?

Мне вспомнилась тогда первая встреча с молодым поэтом годами пятью раньше. Широкое, открытое, несколько даже самоуверенное лицо; густые, откиннутые назад волосы; голубые, чуть насмешливые глаза... И то небольшое, что знал я из биографии поэта: родился в деревне Петряево Сокольского района, окончил педучилище в Вологде, потом там же – педагогический институт, работает в газете, опублико-

вал три книжки стихов – ничего особенного все это не представляло.

Книжки А. Романова я знал, хорошие для дебюта книжки, и все-таки не захватили они меня. Вот разве что в сборнике «Сыновья любовь» стихи о матери, в них были истинные боль и нежность. Новая поэма, видимо, явилась тем случаем, когда поэт, может быть, еще и неосознанно, вышел на главное для него направление. А вскоре эта поэма под новым названием «Художники» и с посвящением А. Я. Яшину была опубликована в книге А. Романова «Семизвездье» (1963). В большинстве своем стихи из первых сборников А. Романова «Признание друзьям» (1956) и «Утренние дороги» (1958) – это стихи созерцателя, командированного, что ли, человека: заинтересованного и наблюдательного, но – со стороны. Позже, сердцем постигая жизнь матери, молодой поэт, наверное, осознал, что настоящими стихи становятся, когда отражают судьбу человека, что поэзия обретает подлинность, когда отражает судьбу поэта.

В поэме «Художники», мне думается, и сошлись в одно два оптических фокуса. Судьба деревенских женщин понята по сходству с жизнью матери поэта, а его собственные искания преломились в представлениях художников, приехавших в деревню в поисках старины. Герои поэмы Романова духовной цели еще не нашли, зато он сам обрел единство, цельность своей поэтической природы.

Почему я вспоминаю давнюю поэму, едва ли не забытую и самим поэтом? Да потому, что в ней – исток зрелого творчества А. Романова. После нее были стихи, и очень удачные и рядовые, новые поэмы, книги, изданные в Архангельске и Москве, – но вот эта проблема – художник и жизнь – стала главной для него. Разумеется, со временем она развивалась, уточнялась; образ поэта постепенно наполнялся жизнью, все теснее сближаясь с личностью самого Романова. И отсюда постепенно выкристаллизовалось житейски самое характерное для него состояние: положение человека «на самой грани» меж городом и селом, горожанина в первом поколении.

Среди шумного многоголосья поэзии конца пятидесятых – начала шестидесятых годов голос А. Романова едва различим. В чем-то он выглядел провинциальным (опять, мол, стихи о деревне), в чем-то – вторичным, неоригинальным (стихи о дороге – и кто их только не писал тогда)... Но было в этом и свое «чуть-чуть»: деревня – дом родной матери, а дорога – к родному дому. Понял поэт негромкие откровения своей матери и, усвоив откровенность как норму творческого поведения, вызвал своих героев на разговор о сокровенном. А они немногословны и застенчивы, его герои, не каждому откроются. И чем полнее постигал поэт их души, тем освобожденнее становилась его собственная душа, распахиваясь навстречу свету жизни и любви.

Внутреннее зрение, которым постигается сокровенное в человеке, открывает и глубину минувших времен. Ведь национальный характер имеет длительную историческую протяженность. Поняв

современников – крестьянина с крестьянкой и их городских сыновей, А. Романов уже не плутает в потемках прошлого, а ясно различает главное. В свою очередь, свет из прошлого помогает отчетливо увидеть и день нынешний. Не избегая внешнего и событийного, А. Романов в стихах и поэмах нередко повествователен. Но эта повествовательность обладает всеми качествами эпического стиха, народного по существу своему. Так, единство личного, сокровенного в его героях и исторически преемственного, постоянного в их характерах сообщили стихам и поэмам Романова глубокую социальность и активную гражданственность.

Важно отметить завидную верность Александра Романова самому себе. Писал он о том, о чем душа велела, за модными темами не гонялся. В свои ранние годы, когда шумела так называемая эстрадная поэзия, он не лез к публике на глаза, а исполнял как умел свое дело и не стремился казаться иным, чем есть, – более значительным. И верность всегда вознаграждается: одна за другой появляются поэмы А. Романова, в которых он по-своему увидел привычный ему мир русской деревни.

Учителя у него были, и учителя хорошие – Александр Яшин и Александр Твардовский, Сергей Видулов и Ярослав Смеляков, позже – Сергей Орлов. И Романов учеником стал по-хорошему непослушным: многому научился у них, а писать писал по-своему. Потому что была у него своя жизнь, через свой жизненный круг познанная. Вспомним очерк А. Романова о хлебе – «Святыня» или другой – «Встревожишь душу – жить начнешь» – он обращается к опыту, отстоявшемуся во многих поколениях русских людей, занятых благородным хлебопашеским трудом.

Поэтический талант пришел к поэту как щедрый подарок многих поколений крестьянской родни – людей, живущих в ладу с совестью в нашем песенном северном крае. И уйди Романов к другой тематике, допустим, воспевай романтику моря или первооткрывателей кладов земных – геологов, вряд ли бы он достиг той цельности и полнокровности, о какой мы вправе говорить сейчас. Крестьянский сын, овладев поэтической культурой, он себя нашел на земле отцов, и родная земля открыла ему сокровенные тайны.

В поэме «Художники» (кстати, написанной еще до того, как традиционное направление в литературе набрало силу) молодой поэт был в новых условиях первооткрывателем темы, ставшей теперь одной из самых значительных в поэзии и прозе. То была поэма о связи художника с жизнью, о вечности народных национальных традиций в искусстве. И более зрелые произведения А. Романова – поэмы «Земля», «Черный хлеб», «Пласты», «Три зари» – в разных планах открывают современный мир и характер национального героя, явленного в живых движениях души, алчущей и постоянства, и обновления.

Поэмы Александра Романова уверенно встают в ряд с лучшими произведениями, созданными в русской поэзии наших дней о

тружениках села, – поэмами С. Викулова, Н. Старшинова и Ольги Фокиной – произведениями истинно народными, по праву снискавшими общественное признание. И в лирике А. Романова слышится биение совестливого сердца, тревожный пульс стиха отражает состояние беспокойной души нашего современника, ищущего чистоты и благородства в общении, совершенства – в мире.

Не захватанная «проблематика», не заемный пафос владеют поэтом, а истинное знание жизни, живые искренние чувства... Заметим, что поэт бывает очень разным: то эпически размашистым, живописным, картинным, то лирически самоуглубленным в прихотливость переживаний, то философски сосредоточенным над извечными проблемами бытия... Но каким бы разным он ни был, тем не менее всегда остается самим собой: искренним и совестливым человеком, который видит жизнь и людей добрым, светлым взглядом.

Обо всем этом думаешь, перелистывая снова и снова последние книги Александра Романова «Пятистенки» (1978) и «Северные поэмы» (1979), в которых представлен почти весь творческий путь поэта. Начинаясь тропочкой, он не свернул в сторону, а становился шире и шире, и вот уже видится большаком в жизнь народную, по которому идут многие поэты. Они как-то не очень заметно вышли на широкую дорогу (впрочем, на них критика не очень внимательно поначалу и посматривала), а теперь... Там, вдаль, уже недостижимые для нас, видны Александр Яшин и Николай Рубцов. А тут, рядом, идут Сергей Викулов и Николай Благов, Николай Старшинов и Ольга Фокина... Многолюдно теперь на этой дороге, и песни здесь звучат чистые и ясные в своей простоте, искренности и высокой одушевленности.

С теплотой и благодарностью принимаются эти песни в народе. Вспоминаю, как в клубе деревни Воробьево в совхозе «Доброволец» земляки принимали Александра Романова. Здесь знают и любят его стихи, а вечер встречи, видимо, по причине скромности и поэта, и его читателей-героев, проводился впервые. И может быть, стоило так долго – четверть века – идти до этой встречи, чтоб полностью унести для будущих трудов тепло, доверие и благодарную отзывчивость, – чувствовать их так важно для творчества...

...сердце ничего не позабыло,
И я поклоном кланяюсь земным
И слово древнерусское «спасибо»
Произношу всем существом своим...

А от нас, друзей и читателей Александра Романова, деревянной России спасибо за солнечный талант, подаренный ему поэту.

Как хорошо родиться на земле
И жить на ней. И верным быть родному
Обычаю, порядку и огню!..

Сдержанной силой, какую-то особенной значительностью звучат эти строки, узловые в поэме Александра Романова «Черный хлеб». Могут они показаться несколько отвлеченными: мысль поэта выражена прямо, обнаженно подготовлена она конкретностью бытовых деталей заключения. Деревенский рассвет – с березовым огнем в печи, извечными хлопотами хозяйки – будит ощущение спокойного довольства, умиротворенности. И подкрепляется оно тем чувством, что вошло в душу свежестью родниковой воды и льняного полотенца. Счастье не иллюзорно – конкретным символом его лежит на столе «каравай с достоинством высоким».

Край родной, что там лежит, «за морем березовым», дорог поэту неизменно. А и кому, скажете, не дорога земля отцов?.. Своеобразие тут, в самом деле, найти нелегко. Однако оригинальность «не должна быть искусственной или изысканною...» – писал В. Г. Белинский, определяя главную цель поэта, он «если должен о чем-нибудь заботиться, так это не об оригинальности, а об истине выражения: оригинальность придет сама собою».

Меньше всего Александр Романов заботится о том, как «позавлекательнее» показать свой край. Он внимателен к дню бегущему, а свои впечатления поверяет опытом прошлого. Не сразу пришел успех, но в стихах, собранных в книгах «Поземка» (1972) и «Радуга дней» (1973), поэт обрел глубину дыхания, голос его зазвучал самобытно и сильно.

I

Еще в 1962 году Александр Макаров, рецензируя третью книжку молодого поэта, предсказывал: «Его лето, может быть, будет неброским, как та сторона, что питает его творчество, но плодотворным и пленительным в своей сдержанной красоте и мягкости красок»...

...Родился Александр Романов в 1930 году, в деревне Петряево. Юность, однако, увела его в город, в Вологду, где закончил он педучилище и педагогический институт. Здесь вышли и первые книги его стихов: «Признание друзьям» (1956), «Утренние дороги» (1959), «Сыновья любовь» (1961).

О ранних опытах А. Романова можно сказать, что они свежи, искренни, то, что справедливо говорится о тех, в ком дарование несомненно, но еще не нашло определенности, отчетливо выраженного своеобразия. Боль и гнев, злость и нежность, любовь и ненависть зазвучали только в книге «Сыновья любовь», – в ней живет А. Романов уже действительной жизнью чувства.

Выразительность разговорной крестьянской речи чувствовал А. Романов с первых своих шагов в поэзии.

Молодому поэту дается броский картинный образ, но принципиальности в отборе изобразительных средств стихи пока не обнаруживали. Вот он пишет: «Как будто бы в большой зеленый город вступаешь в теплый августовский лес»; или «елка зеленой ракетой нацелена в небеса», «елки на пути, как семафоры, как перроны – белые холмы», – так ведь мог написать и поэт, воспитанный в другой, например городской, среде. Но уже немало картин иного плана, иного характера: кисти на рябинах – «словно жмутся на ветках чистых красногрудые снегири». Это уже видение человека сельского по складу мировосприятия. Или в том же роде:

Половики, что вьюги нам настлали
На тропках, на дорогах, у крылец,
Из белых уж коричневыми стали
И износились к марту под конец.

Гораздо важнее, правда, другое: Александр Романов, говоря словами А. Макарова, стремится теперь «не сообщать о вере и симпатиях... а заражать ими». Симпатии же поэта в «Сыновьей любви» уже принадлежат деревне. Добрые строки рождает образ матери («Наши матери», «И младший сын уже оставил дом...», «Разговор с матерью»), с интересом приглядывается поэт к землякам («Парни», «Дипломат», «В доме крестьянина» и др.), много пишет о природе. В его работе нет пока цельности, но уже обретена одна из первых, существенных для него истин: «Умом мы обязаны городу, а сердцем – деревням», – написал Романов, и самоопределение в мире состоялось.

Любящим взглядом видит теперь А. Романов деревню и ее обитателей. Ему близки их радости и печали. Он знает и ощутимо передает тяжесть их работы. Неоднопланово и своеобразно это сказалось в таких стихах, как «Дождь», «Посвящение в родню», «Когда он сказал...» и других. Они открывают жизнь деревни в лирическом ключе, хотя и не лишены повествовательного элемента.

Драматизм первого из названных стихотворений звучит в любой детали, подбор их точен и необходим. Потому-то упругие динамичные строки убедительно передают дыхание беды:

Дождь, дождь, дождь...
На колени упала рожь;
А была до чего ж сильна!
Под струю, как будто под нож,
Попадают головки льна.
Ни просвета который день...

Сквозь пластику описаний пробивается настроение, в котором и создается образ председателя колхоза с его беспокойством за судьбу

урожая, с высоким чувством ответственности за дела на земле. Летает «газик» председателя с поля на поле:

Темнота и морось кругом...
И машина шла напролом,
Светом фар в полях мельтеша.
Словно там металась огнем
Человеческая душа.

Строки, завершающие «Дождь», дают понять меру авторского сочувствия, способность проникнуться нуждами и заботами крестьянина-земледельца, оценить силу его недюжинного характера. И то еще важно, что человека видит А. Романов в единстве с окружающей действительностью, с природой, которая на его склад души наложила неизгладимый след, да и во многом предопределяет творческое восприятие мира самим поэтом.

Есть простор и улыбочивость в его стихах, когда пишет он о первой встрече невестки со своей свекровью или делает нас участниками обеденного действия в деревенском доме. Счастье трудовой крестьянской семьи дает почувствовать А. Романов и в картинности описания приоткрывает добрые нравственные традиции:

Буханку, как доброе чудо, держа,
Он резал и щедро и медленно
И, крупные ломти снимая с ножа,
Клал горкой на стол обеденный.
И я, побродивший свое по земле,
Опять постигал заново,
Насколько же вкусен черный хлеб,
На жарком поду зарумяненный.
Насколько горчица свежа и крепка,
И перец горяч до горечи,
И суп из рабочего черпака
Насколько же добр и солнечен!

Александр Яшин в свое время с одобрением отозвался об этих стихах, отметив, что в них Романов «...самобытен, живописен, эмоционален», и особо подчеркнул, что у него «все без натяжек, все естественно».

Такою естественностью отмечены многие стихи А. Романова, посвященные и судьбе русской женщины. Не сразу был понят и по достоинству оценен им подвиг матерей, крестьянок и солдаток. Со временем пришло и сознание того, как трудно немолодой женщине, когда «ушли сыны на разные дела». Мудрые и великодушные, они умеют перемочь горечь одиночества, понимая неизбежность расставаний с повзрослевшими детьми: «...срок пришел, и это позвала их от тебя уже другая мать».

Привычка к труду, не покинувшая их даже в самую трудную пору, любовь к детям и сознание долга перед Родиной – все это достойно высочайшего уважения. Наверное, поэтому А. Романов не стремится

противопоставлять поколения. Он, конечно, видит разницу, но она для него имеет свой смысл, с которым может согласиться любой человек. «И по грамоте больше знаем», – говорит поэт о себе и своем поколении, но «в чем-то все же они умней и глядят с тревожным участием на ученых своих сыновей». Да, у матерей хватает ума и такта на тревожное участие, чего не всегда скажешь о сыновьях. А ведь они, деревенские матери, больше нуждаются в таком участии. Об этом убедительно говорит поэма «Судьба».

Что ж, это обычное явление: женщина-мать, всю жизнь прожившая в деревне, уезжает под старость к сыновьям в город. Такой случай стал основой поэмы, которая по своей сквозной интонации драматична. Все привычно и знакомо в ситуации, но поэт впечатляюще остро передал атмосферу тревоги. Он сумел значительными показать переживания матери-крестьянки, в жизни которой наступает резкий перелом. Это удалось, наверное, потому, что в обобщении поэт объединил и образ крестьянки-матери, и образ земли-кормилицы. Земле

...как и матери, несладко,
 Нехорошо жилось порой;
 Она войну была солдаткой,
 Потом она была вдовой.

Как видим, образ сельского жителя уже не мыслится для Романова вне связи с землей, с северными русскими просторами, с привычными приметами быта. Все отчетливее понимает поэт внутреннюю связь тех слагаемых, которые определили формирование духовного облика русского крестьянина.

Думается, в постижении судеб деревенского жителя очень важными оказались для Романова его попытки заглянуть в прошлое. Поэт пытается оценить свершения предков и понять их духовный мир. Связь времен едва ли не впервые наметилась в стихотворении «Русские деревни», которое и до сих пор остается свидетельством самой постоянной его привязанности: «...Я с малых лет к деревне любовь свою несу за мудрое терпенье, за строгую красу».

Поэт попытался преодолеть поверхностность внешних, первых впечатлений и, рисуя обобщенный портрет деревни с извечными палисадами да рябинами, стремится понять «характеры хозяев по облику домов». Он отмечает существенные черты русского крестьянского характера – простецкую открытость души, которая родни нашим просторам, мастеровитость и деятельную любовь к красоте, отличное выражение которых – «цветы по дереву, старинная резьба».

И не случайно позже мы встретим в развернутом решении темы, едва намеченные здесь в стихотворении: связь прошлого с днем сегодняшним, деятельное трудолюбие крестьянина и судьбы его в связи с судьбами деревни. Пусть А. Романов только предположил, что на-

звания российских деревень происходят от безымянных трудолюбивых мастеров, что «легенд древней». А в стихотворении «Предок» поэт представляет образы тех, кто до нас обживал землю. «Кто он был? В каком таком обличье?» – размышляет он, и видится ему предок могучим, вольным человеком, который из поединка с природой вышел победителем.

Так рисовалось прошлое в воображении молодого поэта.

Но история была и совсем рядом. Александр Романов не мог не видеть обострившегося интереса к старине, за которую горожане поехали в деревню. Такая тема таила в себе своеобразные противоречия, и за нее берется поэт в поэме «Художники». Богатая по ритмическому рисунку, ясная и точная по образной структуре, она стала, на мой взгляд, одним из самых заметных произведений А. Романова в начале шестидесятих годов.

В Москве говорят:
Север богат,
Что ни наряд –
Радует взгляд.
Юбки, оборки –
Боже мой! –
Так и веет стариной.

Увы! – «гостей», столичных художников, интересуют «юбки, оборки» лишь сами по себе. С неудовольствием, разочарованно отмечают они, что Марья, хозяйка, в доме которой они остановились, ходит «в кофте ситцевой, сшитой, как и в Москве, например», что нет на ее кофте «ни кружев, ни вышивок». А Марье что надо? – «Лишь бы подольше стала носиться». И все. Не до жиру...

Гостям, людям далеким от жизни, это пока непонятно, и вопрос, единственный, волновавший их, задан: «Скажи-ка, Марья, людям приедем, где же наряды прежние, где же?..». Вопрос всколыхнул все существо крестьянки, но пересилила она себя, «смотрит: нет, не чужеземные, ну, а до чего же далеки!». Вот потому-то она «улыбнулась грустно, через силу: – Вам-то, не пойму, к чему она?».

Тактична Марья, сдержанна. В самом деле, к чему им эта старинная «одежа», им, которых не заинтересовала сама Марья! Ведь и судьбы старинной красоты связаны с судьбами народа, которым она создана, в котором бытует. Женщине весьма кстати припоминается былое: сенокос, «травница, как зеленый брод, и она, Машутка, в сарафане яблонево, розово идет». Здесь к месту сарафан, когда и косы на лугу счастьем поют; вспоминается и погибший на фронте муж Степан, вместе с которым сгинуло счастье... И теперь все эти сарафаны да кофты – лишь старая «одежа», если забыть, не подумав о Марье, как не подумали гости-художники. Не у одной Марьи такая горькая жизнь: старались люди, да ничего найти из старин-

ного не могли. Вот тогда и задумались гости и впервые «вдумчиво» поглядели на Марью.

Нет, кое-что они, конечно, нашли. Увидели резные карнизы, причудливые крыльца, которые вновь пробудили мечту художников о встрече с чудом красоты. И уже взялись они за кисти, уже работают, но все «это не пело, как ни старались». Ведь и старинное зодчество – частица жизни народной – только в связи с ней обретает смысл. Художникам еще надо это понять: ребята они честные, хотя и по-своему ограниченные. Вот снова и снова «всплывают, словно издалека, тетки Марьи грустные глаза, руки на коленях, как упреки...». Не сразу поняли друг друга гости и хозяева, но поняли.

Живая взаимосвязь прошлого с современностью – это уже новое качество историзма, и оно постепенно вырисовывается в поэзии А. Романова. В стихотворении «Бывает, ельниками еду...» по поводу разрушенного храма он замечает с горечью:

Не камни рушим – а века
И нашу собственную память.
Ужель она не дорога?..

Пока это не более чем догадка, но догадка перспективная. Позже мотив памяти, духовно связующий поколения, получит развитие, наконец, благодаря тому, что А. Романов постоянен в интересе к современности, к судьбам своего поколения.

II

Волею неумолимого времени тысячами уходили в города деревенские жители. «Ах, город село таранит!» – иронизировал Николай Рубцов по поводу всхлипов и вздохов. И Романов избежал наивного противопоставления города деревне, уловив их взаимосвязь, поэтически воплощая ее в цельном образе:

Я – хлебопашеского древа,
Но лишь с меня который год
Оно шумит не над деревней,
Оно над городом растет.
Не просто ветвью быть последней
И цвезть уже в черте иной.
Когда в глуби тысячелетий
Прямой и трудный корень твой.
Не просто быть на самой грани
И вырастать наискосок,
Когда порой саднит и ранит
Идущий с корня горький сок...

Будут ли понимать эту «непростоту» уже через одно поколение? Надо, чтобы понимали, – ради этого и родились многие стихотворения Александра Романова. Вот, воротившись на родину, бродит в опустевшем старом доме последний потомок тех, кто веками жили здесь («Старая боль»):

Кросна, пыльную божницу
По углам я нахожу,
Старый серп, трепало, прялку,
Крюк железного светца...
Нет, мне этого не жалко,
Жалко деда и отца,
Жалко материных весен
Пролетевших...

Перед нами – не собиратель модного старья. За каждой вещью – жизнь близких ему людей в былом, а значит, и биография лирического героя. Она будет не полна, если не установить связь с прошлым, утратить какие-то чрезвычайно важные духовные истоки. Знакомо подобное чувство, например, и А. Жигулину: «Может, за далью размытой, за луговиной степной что-то навеки забыто, что-то потеряно мной?...» («Здравствуй, родная деревня...») Так приходит «возраст перевальный», с его, кажется, неразрешимыми мучительными вопросами. «Это старое болит», – не очень вразумительно, но точно определяет такое душевное состояние старик-пасечник в стихотворении А. Романова и поясняет: «Вот тебя тоска и мучит: дела требует она».

Таким делом – художественным освоением прошлого в его значении для человека наших дней – и явились поэмы А. Романова «Северяновна» (1968) и «Земля» (1969), очень несхожие по своей фактуре.

Несколько особняком стоит в творчестве А. Романова лирическая поэма «Северяновна». В ней поэт чаще, чем обычно, прибегает к условности, шире использует и поэтику фольклора.

Характеры героев поэмы едва намечены, и не они интересуют поэта в первую очередь, а настроения, в развитии которых и рождается мысль.

Мировосприятие, характерное для народной поэзии, оживает в динамике действия, контрастности образов, в активности сил природы. Реализовавшись в бодрых напористых ритмах, чувство героя своим лирическим напряжением готовит нас доверительно принять образ его любимой. И теперь от сказочных средств, полностью сыгравших свою роль, поэт переходит к реалистическим, однако, сохраняя настроение праздничного подъема.

Встреча традиционна: молодая хозяйка «постлала скатерть новую (честь-почесть дорога)»; мать девушки, узнав о цели визита, «платок поспешно вынула и скомкала в горсти». Кстати, памятью матери в нескольких штрихах очерчено прошлое невесты: когда девчонку вы-

везли из блокадного Ленинграда, приютил ее и вырастил суровый, но приветливый северный край. И наказ, который женщина дает двум любящим, – это наказ быть достойными Родины.

Красоту Родины надо видеть, знать, и Романов показывает свадебное путешествие – не в заморские края, а по северным местам. «Надо ей, молоденькой, родину казать. Чтоб на сердце – ясно, чтоб в глазах – не дымно, чтоб не слой – три слоя жизни было видно», – по-народному просто и мудры проникновенные напутственные слова матери. В тон их настроения воспринимается весеннее ликование природы с раздольем воды и пургой черемух.

Не такие ли светлые картины видели некогда новгородцы, осваивающие здешний суровый край? Вот они, представляется, какие были:

Выгребают молодцы –
Дюжая кость.
А в глазах – полнеба,
В бородах – ветра...

От фольклора идет гипербола, открывая в образах мощь, которую созданы удивительные храмы и белые терема. Под стать этой прекрасной силе – нежность славянки, «с добротой, с достоинством, с верностью навек».

А поймет ли любимая лирического героя, наша современница, глубину времен как собственное прошлое?.. Ее образ внутренне не раскрыт в поэме, – она видится глазами суженого. Он же с надеждою отмечает: «чувствует родство», «видит, видит главное, то, что видно мне». Эстафета поколений, будем верить автору, принята.

Поэмою «Северяновна» Александр Романов весь в наших днях. Поэт, воссоздавая жизнь интимного чувства, наметил путь постижения молодым современником образа Родины в ее далеком и близком прошлом, в ее настоящем...

III

В «Разговоре с художником Корбаковым» А. Романов задался тревожным вопросом:

...Куда же Русь уходит?
А Русь уходит в нас!.. –

и сам, как видим, дает обнадеживающий ответ. Пока это не более чем заявление, а поэтическую реализацию его мы находим в стихотворениях книги А. Романова «Поземка».

Зачином, эпиграфом «Поземки» могло бы стать стихотворение «Земля отцов и дедов...». О том, как кусок ржаного хлеба, выращенного на скудных подзолах, колодезный журавель с его привычным скрипом,

потолок родной избы «в морщинках», напоминающий материнские ладони, – как все настаивалось в душе чувством родины, земли отцов и дедов, принятой в наследство нашим поколением.

Мотив «деревня – родина» стал одним из самых распространенных в современной поэзии. Звучит он в творчестве А. Яшина и Д. Ковалева, С. Викулова, В. Федорова, Л. Мартынова... А у поэтов младшего поколения, таких, как Н. Благов, А. Жигулин, А. Передреев, Н. Рубцов, В. Шапошников и многие другие, мотив этот стал сквозной темой, хотя и преломляющейся у каждого по-разному.

Александр Романов в книге «Поземка» предстает поэтом наблюдательным и серьезным, совершившим значительный шаг вперед. Его уверенность в себе питается сознанием равноправного места в череде сменяющихся поколений:

Меж ушедших и живущих
Я – единое звено...

Звено «единое» – слово тут несколько неловко звучит, но верно. Единое, связавшее в одно прошлое и настоящее, неразделимое.

Неизменный интерес влечет поэта туда, в старую деревню. «Сеновал», «Радуга дней», «Поземка» – каждое из этих стихотворений приоткрывает быллой мир трудового крестьянства. Открывает с позиций лирических: это всегда его, Романова, личное представление о прошлом, его мысль, его видение.

В одном случае он представляет поэтическую будничность жизни трудового человека. В другом радуется, что дано ему видеть те же берега, тот же лес, те же глубокие небеса над головой, как и его далекому предку. Радует той общности, за которую, наверное же, есть и сходство чувств, душевного склада. А в «Поземке» пригрезилась поэту встреча с мужиками, предками в четвертом колене...

Здесь уже все гораздо сложнее. Видятся мужики, что «крепки и красивы в своей простоте». Прадед вызывает особое восхищение: «скулы тверды в черной оправе густой бороды. А взгляд простодушен, даже свят...». Голос крови, родства диктует эти слова. Но как резка грань, прочерченная временем!

А. Романов уловил неодолимость пропасти. Бледнеют мужичьи лица, когда «потомок» садится к столу, «не умея креститься». Не понять им, тогдашним, почему вдруг стало: «сколько хватит глаз – вся твоя земля...». Да и обличьем пришелец не покажется мужикам своим человеком...

Верно, не поняли бы мужики своего потомка, случись такая встреча. Но нам-то предков понимать надо. У потомка всегда есть одно преимущество: «Я их вижу, они меня – нет»... И рождается поэтическое обобщение:

Как тайна, как чудо,
Текут года:
Видно – откуда,
Не видно – куда...

Видно – откуда... Уже немало. В былом – бесконечная череда поколений, которые ушли, с собою «не взяв ни камушка – не надо»... Все оставили потомкам. Наследство – огромная прекрасная Родина, и ее также придется оставить сыновьям. Оставить! Не так это просто, как передача имущества по описи, но люди часто не склонны задумываться над этой сложностью и даже замечать ее. Будь иначе, справедливо полагает поэт, и все мы «были б в жизни настоящей и помудрей, и поскромней». Путеводная нить, связующая прошлое с будущим, найдена.

Держась этой мысли, будет оценивать Александр Романов явления дня нынешнего. Скажем, возросший интерес к древним народным традициям, который возрождается, не сразу преодолевая вульгарность моды. Вот тройка вдруг показалась на городских улицах («Масленица»). И хотя «в сторонке держатся такси», но все-таки лошади «неловко, отрешенно, конфузливо бегут»... Нет размаха, удали, естественности: что-то очень существенное в традиции потеряно, и не безнадежно ли?..

Наверное, подспудное биение важной поэтической мысли обращает А. Романова к образу писателя-народника П. В. Засодимского, его земляка. Заботился о том старый писатель, как «не растерять в развитии России народный облик и народный дух»... В известной мере – это и мысли самого Романова. Мотивы повторимы, пусть хоть и на совершенно иной основе возникают. Ведь то, чем жил народ испокон веков, дорого людям. Может быть, особенно остро чувствуют это те, чьи руки лежат на пульсе современности. Со встречи с космонавтом («В гостях у Павла Беляева») запомнились поэту его заинтересованные вопросы о родных краях:

Как там ныне с сеном, с хлебом,
Как охота, как грибы...
Он вздыхает: снова не был,
А хотел, хотел побыть.

И понятно, сам космонавт, человек простой и сердечный, в звездный путь шагнул от тех мест и от тех дел. Выросший в деревенской среде, поэт Александр Яшин («Улица Александра Яшина») принес оттуда в мир поэзии большое трудолюбие и высокую совесть:

...Сам себя бессонницей
Сжигал, в трудах суров,
Чтобы зывала к совести
Первооснова слов...

Люди эти смогли остаться сами собой, хотя и «ушли от сохи», повидали немало стран, городов и даже миры иные. В чем-то существенном они остались родней русской женщине из стихотворения «Африка». Она «из городов лишь Вологду и видела, поди». А сын вот из Африки прилетел к ней в гости. И для нее пораздвинулся мир. Но событие она воспринимает просто, храня чувство гордости за свое, родное (пусть

хоть оно несколько забавно выражается: «нет, наше повкусней», – говорит она, отведав молока из кокоса).

Любовь к родному, совесть дороги А. Романову в людях. В ряду этих нравственных ценностей для него и иные черты, которыми отмечен русский национальный характер. Участь щедро наделены герои его стихов («Домой, в деревню...», «За самоваром»), любовью к жизни и веселым нравом, приветливостью («Анна», «Болото»).

Человека в одиночестве, кажется, и не представляет Романов. Поэтому острой пронзительностью чувства отмечено стихотворение «Телеграммы». Жизнь человеческая предстает в нем во многих пересечениях. В тревоге за старого друга («он что-то стал нездоров») и за сына-солдата:

Ведь с той и другой стороны,
Где он на рубеж поставлен,
Смертельно расчехлены
Запасы всемирной стали...

Беспокойна и дума о матери, которая живет одна в родной деревне:

Там стынет родимый дом
Большой неуклюжей лодкой,
Повернутой кверху дном
Возле рябины горькой...

Пусть несколько общий характер носит образ угрозы, он без лишних «красот» понятен многим. А образ «дома-лодки» дышит незащищенностью: он так неподвижен, этот дом, и витает вокруг него тень одиночества, покинутости. Даже и тот, кто жил, «в беде не хмурясь», у кого «всегда меж слов лукаво таилась мудрость», не избавлен от беды. Хрупка человеческая жизнь... А одно, другое, третье связано в единый узел – сердце современника, сердце поэта:

Пройдя сквозь горечь утрат,
Мы поняли запоздало,
Что мир так людьми богат,
А близких, в сущности, мало...

Для поэта нет просто «людей». Общие понятия – не для поэзии. Общее – «люди» – для поэта существует в конкретном, единичном – «близкие». В постижении этой поэтической правды человеческого общежития, думается мне, следует А. Романов за Александром Яшиным («Да, отзывчивая, да, сердечная... и др.), сам решая тему в мягком лирическом ключе.

Разнообразны мотивы стихов в книге «Поземка», но они скрепляются единством характера лирического героя, человека, объединившего в себе чувство нового и чувство истории как поэтическую реальность. Это и сообщает произведениям поэта новое качество, которое с наибольшей отчетливостью проявилось в поэме «Черный хлеб».

IV

Единство времени определяется в новой поэме А. Романова уже тем, что в ней два героя – люди разных поколений: лирический герой и старик-рассказчик. Он дорог поэту, этот «знакомый, старый русский человек». Мы не узнали его имени, зато можем узнать в жизни – их много таких, мудрых стариков, по деревням необъятной России. Поэт и его герой – оба живут одной правдой, одно и то же их волнует.

Говорит в новой поэме Александр Романов о жизни и смерти, о смысле человеческого существования и тех сложностях, которые опосредуют преемственность поколений, особенно на крутых поворотах истории. За темы, что в давней иерархии тем считаются вечными, берется поэт спокойно и уверенно. Не отсюда ли, от сознания зрелой силы, и широта дыхания и смелость художественных решений?..

Проста композиция поэмы, до примитива проста, но в ней вольно разворачивается поэтическая мысль – полно и цельно, до конца. Вступительная и заключительная главы – от имени самого поэта, остальные – голосом героя, лишь изредка перебиваются ремарками автора. Скупо и сухо озаглавленные («Родство», «О вине», «О пенсии», «О войне» и т. д.), в стилистике своей они не имеют существенных различий. И это не однообразие, но единство. Единство богатое и выразительное.

Стих поэмы емко и точен. Сплавилась в нем спокойная повествовательность с лирическим напряжением, бойкость поговорки и замедленный ритм мудрой мысли о жизни, свежесть житейского юмора и торжественные интонации гимна, завершающего поэму. Средства художественной выразительности гибко варьируются, и Романов, следя за переливами, нюансами развития темы, добивается, чтоб «слово каждое светилось».

Вот в начале поэмы поэт рассуждает о былой прочности семейных связей, которая и в словаре закрепилась:

...придуманное ловко,
Могут впрямь свести с ума.
Слово дерзкое «золовка»
С обольстительным – «кума»...

Теща – слово «строгое», зять – «удалое», сноха – «тихое», божатка – «доброе»... С удивительной пронизательностью схвачена самая суть терминов, слов, за которыми – святая древность родства, составлявшего некогда силу, опору в жизни человека. Поэт и теперь горд заметить: «я и сам, конечно, спица в колесе того родства».

Такой конкретной содержательностью, непридуманностью отмечен язык всей поэмы – разговорный язык крестьянской северной России. Установка на использование образности живого народного языка определена тем, что в нем отразилось не только складывающееся веками мировосприятие, но и нормы народной нравственности, активная оценка жизненных явлений.

Своеобразную свежесть языка поэмы во многом определил выбор героя. К каждому его слову чуток А. Романов, к каждому жесту, ко всему, что его окружает. И старик не резонерствует: его речи сильны житейскими примерами, оценками жизненных случаев, которыми он подкрепляет свои неспешные размышления вслух. Речь старика выразительна и впечатляюща. Нет, не за счет словечек типа «текёт», «покурлыкал в сельсовет», «смыряет», «гулявы», «как следно»... Не эти слова определяют особенность его языка, но сама стихия народной речи в ее эстетической наполненности, структуре фразы, ощущение предметности, образной содержательности слова.

«Окольное выражение, переносная речь, простое иносказание» (В. Даль) характерны для крестьянского языка, и старикова речь естественно влетает поговорки. Они, как правило, видоизменяются соответственно случаю: «на радость горя половину сумей всегда переложить», «рубаха близко к телу, а смерть и ближе, может быть», «ветром жизнь свою не пишут...». Нередко поговорка принимает юмористическую окраску: «пока не помер-так женись», «все мужики у них на мушке, все на прицеле старики»... Уж и не заметишь, где традиционная поговорка, где «собственное творчество» героя или близких ему людей: «а что касательно здоровья, так на здоровье, мол, попьем».

Озорное богатство речи героя воспринимается естественно, поскольку она по-народному образна во всем. Вот, скажем, о будничности брачной церемонии в сельсовете: «...как будто сходили вместе за водой»; о старости: «уж до того она стара, что куриц выпустит на волю и заплутает средь двора»... Слова точны, и радует народная обиходность фразы, веселая и серьезная (и, пошутив, тут же заметит, что «на старость без смеха надо бы глядеть»). Самые важные мысли находят афористически краткое выражение: «теперь главенствует бутылка, а раньше было – каравай» и т.п.

Разумеется, А. Романов не может отказаться целиком от общелитературной поэтической традиции, она находит место в речи самого поэта. У него если утро, рассвет, то – «облака, как длинные волокна, на розовых лучинах подожглись». Или: «брызжут звезды в небе стылом, словно трещинки во льду»; «красный жар, что гроздь пламенной калины, в совке он тащит в самовар»; «светят лампочки в окошках сквозь куржавину и лед, словно спелая морошка»... Тут мы легко узнаем раннего Романова с его пластикой: любая строка создает броскую впечатляющую картину, несомненно поэтична. При этом образность, как правило, локальна и свободно уживается в единстве с языком «деревянной» России, оттеняя его безыскусную выразительность.

Про самое заветное, что сердцем понято там, под тесовыми крышами, говорит Александр Романов в поэме «Черный хлеб». Вся она – о наших днях, а современность пронизана народным опытом прошлого. Они сплывались воедино, вчера и сегодня, и в этом единстве бьется мысль о будущем, трудная и напряженная.

«Добро вершил – добро осталось. А нет – развеется зола»...– глубокий нравственный смысл человеческой жизни по-своему мудро выражает старик, хвативший лиха на своем веку. Он знает, ради чего живет, и далек от дешевых суетных притязаний: «век живу – не надоело, хоть было горя и обид». Любовь к жизни определяется вовсе не благами, которые ему дарованы, потому-то и смерть старика не пугает. Страшит другое: тот последний час, когда

...лишь покаяться возможно –
 Поправить ничего нельзя
 В своих словах, слетевших ложно,
 В своих годах, прожитых зря.
 Я мыслю так – меня не путай, -
 Что человек без всякой лжи
 Лишь в те, предсмертные минуты
 И узнает, как надо жить.
 Но рассказать уже не может,
 Других не может научить.
 И тайну с ним на смертном ложе
 Погасят черные лучи.
 Оно дается нам – как следно
 Уйти и свет не заслонить...

Сознанием высокой ответственности за свою жизнь, за свои слова и дела обжигают эти размышления вслух. Верится в их непридуманность – они рождены трудовым опытом старого крестьянина, подтверждены всей жизнью. Ведь тою же мерою оценивается жизнь и смерть пожилой колхозницы Катерины. Более того, мысли старика во многом навеяны кончиною этой простой русской женщины. Рассказывает о ней сам старик, и потому каждое слово открывает его собственные представления о жизни и смерти.

Как и у многих солдаток, муж Катерины погиб на фронте. Каково ей пришлось – догадаться нетрудно, «но никаких от бабы жалоб и никакого людям зла». Труженица, она и смерть встречает на поле, «в руках со льном». Ей понятно случившееся, но и в сознании неизбежного она шутит: «Теперь уж я – ни в сноп, ни в горсть»... В ее простых словах нет страха, не может быть рисовки и в поступках (не тот тип характера): в том, что она «баб испуганных просила сорвать какие-то цветы»; в том, как, остановившись у березы, что под окном ее избы, «бесслезно кору погладила». А в избе она «так ясно, чисто заглядела, да так спокойно»... В смерти – не страх, а умиротворение не зря пожившего человека. Не нарушает ни логики характера, ни настроения минуты ее последняя просьба: «дали бы напиться, с реки»... Ведь в том, как «роса дымится на стакане, а в нем качаются лучи», – частица ее жизни отразилась, она еще теплится, а другая, уже отошедшая, – на снимке мужа-солдата. Она готовилась «как следно уйти», у нее уже и «одежды горестный запас приготовлен» – «заране сшила, знала час». Умирает старая крестьянка Катерина так же несуетно, как и жила.



Александр Романов



По Волго-Балту, 1967 год. Стоят: Д. Голубев, Л. Беляев, В. Белов, В. Коротаев, А. Романов, А. Яшин, В. Щербаков, П. Соколов.
Сидят: Н. Рубцов, Б. Чулков, С. Чухин



Александр Романов, Виктор Коротаев



Александр Романов



Александр Романов



Василий Оботуров и Александр Романов

Спокойное достоинство отмечает старик в кончине Катерины, а уж он ли смертей не выдывал! Сам со смертью рядом не раз бывал: «в плечо попало на гражданской и на Отечественной – в грудь», – но война-то, может быть, и научила более всего ценить жизнь человеческую. А сколько она сгубила! Собрались как-то немногие, оставшиеся в живых, мужики с округи, и «выяснилось вскоре, что все фронта в избе сошлись». Тогда любовь к Отчизне не давала помыслить о себе – и о патриотическом чувстве скажет старик негромко и просто:

Как широка Россия наша
И в горе, знаешь, как любя!
Лишь за нее нам было страшно.
Совсем не страшно за себя.
Вот потому-то нас и мало...

Выдавший виды, старик помнит как самое драматическое, в чем отложилось его представление о войне, – пляску рослого инвалида: «И начал топтать да кружиться, да на одной-то все ноге. Стонало горе в половицах»... Вспомнив погибшего брата, расстроился мужик, и не смешон он в своей пляске на костыле, а трагичен. «Добро, что бабы не видали», – одною фразой своего героя дает поэт нравственную оценку и войны, и горя, и славы...

Его герои – «люди от земли», в которых уважает поэт трудолюбие, достоинство, негромкую любовь к родине. Они уже старики и доживают свой век в деревне, где стали они свидетелями начавшегося переворота в производстве, быту и культуре села. Разумеется, происходящее не оставляет их равнодушными, побуждает вспоминать былое, сравнивать.

Старик весело вспоминает, как потрясенно был встречен на деревенском телевизоре; теперь-то к ним уже привыкли, и теперь «телевизоры у нас зовут бездельниками», – замечает он («в шутку, хоть и правда»). Но помнит он и другое, давнее, – «как по вечерам сходились женщины и пряли и сами пели песни нам. Ах, были песни!..». Конечно, он понимает, что «это боле не вернется, как ни жалея, а не придет... Иной устав и облик ноне»... Но есть и у стариков свои пожелания: «нам про старые бы годы и без критерия про нашу жизнь» да песен настоящих, а те поют «с притрясом, как не по-русски». Знает он, что у молодых свои запросы, но все же...

А к молодежи старик серьезно приглядывается, и без старческой предвзятости, хотя тревожат его не только песни «с притрясом». «Двух веков крестьянский житель», он видит, что для молодого поколения земля, что всегда была основой основ, – «лишь песни да слова». Для него же – не только пахота, которая в новом веке «будто бы остыла, когда пошла под общий плуг», а часть жизни. Понадобилось время понять простоту истины: «начинай устройство поля с переустройства души». Тем, кто пришел на смену старикам, тоже придется это понять.

Труд на земле стал механизированным, а молодой тракторист Ванюха Быстров – главной фигурой на селе, и без него – «теперь никак»

– картошку ли посадить или хлеб посеять. Это его, Быстрова, трактор «на центральную усадьбу уж полдеревни уволок». Последнее не очень любо старику, и он ворчит на Ванюху с усмешливым попреком:

...у тебя такой напор,
Что свез бы всю Россию в кучу,
А ей ведь надобен простор...

Однако силу, которую дала Быстрову техника («в его руках – сто лошадей»), его умелость («он звук ведет, как будто пляшет»), старик ценит. С крестьянской приметливостью и одобрением он отмечает, что тракторист «раньше всех встает в деревне, да и ложится всех поздней». Достоин уважения Быстров, и все-таки есть у старика одно «но»: он – как мастеровой – «не столько в землю, сколь в железо пока вникает головой»... Без техники, верно, теперь никуда, но молодым и землю еще надо понять. Нуждается она в любви и поклонении, стандарта, который несет с собою индустриализация, не терпит. Ведь земля – трудовая душа хлебороба, – так было, – а ныне ниточка преемственной связи оборвалась. «Последний, может быть, крестьянин в своей деревне – это я», – с грустью констатирует старик. И не напрасно тревожится он о будущем:

Земля покуда нашим ходом –
Ничем иным – заведена.
А нас все меньше с каждым годом –
Вдруг остановится она?..

Есть у Ивана азарт к работе на земле, но даже таких, как он – «мастеровых» – мало. А надо, полагает старый крестьянин, чтобы выросло у земли новое поколение, на него все надежды:

И вот тогда-то вашим ходом
Пошла бы матушка-земля.

Сбудутся ли такие надежды?.. Сказать трудно, ведь меняется не только характер труда, а весь уклад жизни, а вместе с ним и тип работника на земле, его психология. Этот процесс, в целом положительный и неизбежный, несет в себе и отрицательные моменты...

Труд – как у мастерового: нет праздничности, которая всякое дело венчает. И телевизор с его весельем на каждый день праздничности не добавляет – активное начало в духовной жизни уходит, отступает. Даровое веселье становится будничным, и – неожиданное следствие, хотя причина эта не единственная, – вино становится обыденностью тоже. А это уже с неизбежностью – пьянство.

Интересны и горьки мысли нашего героя. Рядовой факт побуждает его размышлять о жизни по большому счету. «Что, ветрено, ребята?» – увидел старик подвыпивших, и в лад ему звучит ответ: «Ой, дедко, ветрено опять». В двух поговорочного типа репликах нам откроется

картина, мы почувствуем усмешливость старика и веселую – исключаящую самооценку – виноватость ребят. Потому справедливы стариковы слова о том, что «заботы стало мало о положении своем». Это тревожит его, тут не до шуток: «вино столь многих в жизни заблудило, что уж командует оно».

Поругание человеческого достоинства больно ранит душу старика. Выношенные убеждения труженика, привыкшего уважать себя и других, звучат в его словах о том, что «в тени стакана... не виден человек». Зная цену труду, он глубоко понимает и смысл отдыха, праздника: «Веселье – что же это значит? Лишь разве то, что на столе?» – и есть горькая правда в стариковском брюзжании:

...Раньше сердце веселилось,
А ныне сердце-то болит.
Болит – кого ты ни спросил бы,
Ну, хоть свою жену и мать.
Болит, поди, у всей России...

Нет, «жизнь интересна не вином, а трезвым делом», – утверждает старик. По-государственному значительны, зовущи его слова:

А мы и так-то сотой доли
Того от жизни не берем,
Что дать она соблаговолит
В большом радушии своем.

Герой А. Романова – старый, мудрый деревенский человек... Это человек переломной эпохи, когда бурно складываются новые традиции. Но прочность и сила нового – в опоре на все лучшее, что дано в опыте прошлого. И главное в наследии – трудовые традиции русского крестьянства. Единство исторической жизни национальной традиции утверждает А. Романов своей поэмой:

Я, может быть, в глазах того нелеп,
Кто говорит: не хлебом, мол, единым...
Но что без хлеба?..

За словом «хлеб» – целый и цельный комплекс социальных и нравственных представлений, сложившихся веками и сейчас для нас вовсе не безразличных. Поэт полемичен, но утверждает он не единственность материального фактора, когда спорит с формулой «не хлебом единым». Нет, он подчеркивает духовную сущность самого понятия «хлеб», как оно сложилось в народе, его нравственное содержание.

Хорошие люди в небогатых деревенских избах дали многое понять Александру Романову, и он не оказался неблагодарным. Доверительность к читателю-единомышленнику, сердечность к старику-рассказчику определяют сквозную интонацию в настроении поэмы. И слова признания и любви срываются словно бы сами собой:

Куда ни гляну – врублены деревни
Сплеча, с размаху в русский горизонт.
Они стоят бесхитростно и просто
И доживают век великий свой.
Деревни – родовые наши гнезда –
Омыты грозовой синевой.
Но сердце ничего не позабыло,
И я поклоном кланяюсь земным
И слово древнерусское «спасибо»
Произношу всем существом своим.
И, сорванное с губ зеленым ветром,
Подхваченное кликом журавлей,
Осыпанное белоцветьем вербным,
Оно летит над родиной моей.
Летит, летит и набирает силу
Других, душе созвучных голосов:
– Спасибо, деревянная Россия,
За колыбель,
Науку,
Хлеб
И соль!

Александр Романов последователен в интересе к стране своего детства, оказавшейся в последние десятилетия ареной больших перемен. Широко распахивает он двери родного ему старого дома: смотрите! – а пойдете в новое, лучшее жилье – не забудьте прихватить с собою то, что в прежнем было дорогого для души. Не надо отмахиваться: в прошлом остается не только хлам! И поэма А. Романова «Черный хлеб» стала закономерным итогом развития его творчества в последние годы.

«Не всегда вровень со зрелостью возрастной идет зрелость творческая, и когда они смыкаются, лучшего нельзя пожелать поэту», – писал однажды А. Т. Твардовский. Совпадение зрелости возрастной с творческой как раз и являет «Черный хлеб» Александра Романова, произведение сильное и самобытное, отмеченное свежей мыслью и подлинною поэтичностью.

«Степень родства», 1977





Советский писатель
МОСКВА

1987





СОЧЕТАЯ ПРЕКРАСНОЕ И ВЕЧНОЕ

ПОЭТ, ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ.
О ЛИРИКЕ НИКОЛАЯ РУБЦОВА



Мир поэзии Николая Рубцова просторен и светел, холодноват и чуть призрачен – такими бывают обыкновенно дни «бабьего лета»....Висит паутина, посеребренная солнцем, и расходятся от нее невидимые струйки воздуха, создавая впечатление зыбкости окружающего, даже сказочности. Воздух прозрачен, и чистота его открывает безграничность далей. И тишина... Обязательно тишина, ничем не нарушаемая, исполненная грустного и высокого значения.

Необычен этот мир, созданный поэтом Николаем Рубцовым. Необычен и прост – так бывает проста и необычна истина, открывающаяся нам неожиданно.

Они грустны, стихи Николая Рубцова, но грусть легка и серьезна. В них господствует не тоска с ее томительной удушливостью, а чувство, что приходит в минуты раздумий о большом, о главном, когда все мелкое, суетное отступает, исчезает, и остаются один на один – человек и мир.

I

Когда мы говорим о творчестве Николая Рубцова, сразу поражает одно обстоятельство: он не был в обычном смысле начинающим поэтом. Каких-то пять-шесть лет светилась звезда его поэзии – от первого печатного отзыва до большого общественного признания. Но уже стихи, появившиеся в 1964 году, сразу заявили и своеобычность поэтического облика, и профессиональность мастерства. Тогда же в основном определились тематика и излюбленные при-

вязанности поэта, его мотивы и образы. Отношение к классической традиции и понимание поэзии как вечного служения тоже сложились уже в пору дебюта.

Стихи на темы истории русской культуры – «Левитану», «О Пушкине», «Дуэль», «Приезд Тютчева» – свидетельствуют не о случайности выбора, а о глубине интереса, из которого в творчестве Рубцова определилась самая жизненная традиция.

С первых самостоятельных шагов в поэзии Николай Рубцов проявил такую широту творческого кругозора, которая позволила ему оценить не только Ф. Тютчева или А. Фета, А. Блока и И. Бунина, но и С. Есенина, Д. Кедрина, А. Яшина. Он учился у многих, но ничьих следов непосредственного влияния в поэзии Рубцова мы, пожалуй, не обнаружим. Влияния, источники поэзии, по мнению Гёте, роли особенной не играют: «Суть в том, чтобы иметь душу, которая любит истину и воспринимает ее там, где находит». Так ведь и складывается живая традиция – не во внешнем подражании, а во внутреннем родстве, за счет каких-то духовных связей.

Уловить традицию помогло Николаю Рубцову глубокое изначальное чувство родины, а уже потом закрепили ее и родственность лирического мироощущения, и определенные переключки в отношении к действительности, к современности. Но чувство родины – исходное, и зазвучало оно уже в своеобразии русского пейзажа, в котором Н. Рубцов нашел возможность выразиться глубоко и сильно, решая самые несхожие темы.

Вот одно стихотворение – «Ночь на родине». В нем зрительный и музыкальный ряды сливаются воедино с рядом душевных движений, в целом образуя богатую лирическую тему – тему единства с родиной.

Высокий дуб. Глубокая вода.
Спокойные кругом ложатся тени.

Общий набросок картины уже есть – без уточнений, без лирической окраски, и рождается мелодия – тихая, ровная, задумчивая. «И тихо так...» – поэт развивает мотив тишины, в котором чуть-чуть пробивается мажорная струйка светлой радости, идущей от миротворящей настроенности пейзажа. А пейзаж постепенно детализируется. Где-то в легком тумане прорисовались крыши деревенских изб, которые «не слыхивали грома», – и глубокое ночное небо раздвинулось, и поле зрения тоже: «не встрепенутся ивы у пруда, и на дворе не зашуршит солома...».

Картина завершена, но в ней еще мало жизни. И вот он, последний штрих, звуковой: «И редок сонный коростеля крик...». Становится ясным, что все видится поэту не безжизненным, а умиротворенным. На этом фоне определеннее ощущается душевное состояние поэта, он прощается с пережитым: «Вернулся я – былое не вернется!».

Как ни грустно, но ведь это естественно, и все-таки трудно примириться поэту с необратимостью времени. Врачующе действует этот миг, «когда души не трогает беда и тихо... как будто никогда уже не будет в жизни потрясений...» В этом миге едины поэт и мир. Рубцов дальше, нераздельнее скрепляет эти слова до полного слияния, как бы последним аккордом сводя воедино развивающиеся параллельно до сих пор ряды:

И всей душой, которую не жаль
Всю потопить в таинственном и милом,
Овладевает светлая печаль,
Как лунный свет овладевает миром.

Она во всем, любовь поэта к родине, но, заметим, никогда не декларируется.

Поэт избегает попыток рационалистически истолковать свое чувство родины. Нет, это вовсе не умопостигаемое чувство, а какая-то потаенная, необъяснимая связь.

Чудный месяц горит над рекою,
Над местами отроческих лет.
И на родине, полной покоя,
Широко разгорается свет...
Этот месяц горит не случайно
На дремотной своей высоте,
Есть какая-то жгучая тайна
В этой русской ночной красоте!
Словно слышится пение хора,
Словно скачут на тройках гонцы,
И в глуши задремавшего бора
Все звенят и звенят бубенцы...

(«Тайна»)

Призрачная таинственность картины, когда собственно и картины-то нет, а есть сердечный трепет плененного красотой родины поэта, напомнит нам романтическую эстетику А. Фета. Соответственно ей, «именно те душевные состояния особенно близки поэзии, которые наиболее далеки от рассудочной стороны человеческой души» (В. Бухштаб. «Русские поэты»). С отчетливостью открываются связи Рубцова с Ф. Тютчевым и Я. Полонским. Скажем, например, как Полонский, так и Рубцов избегают, кажется, яркого солнца, оба питают пристрастие к полутеням. Обоим введомы тоска одиночества и печаль созерцания бескрайности родного пространства, которая так удивительно схвачена в «Дороге» Я. Полонского:

Глухая степь – дорога далека.
Вокруг меня волнует ветер поле,
Вдали туман – мне грустно поневоле,
И тайная берет меня тоска...

Картины лета, весны и зимы рисует порою Николай Рубцов, и знойный день иногда увлечет его внимание. Однако осень с дождями и ветром, увядание – ближе душе поэта, задевает самые сокровенные струны в ней. Краски он использует сдержанные, нередко позволяя себе писать стихи, так сказать «в черно-белом исполнении» (как пример, «лошадь белая в поле темном вскинет голову и заржет»). Интонация в его лирике преобладает грустная, в бесконечном разнообразии вариаций: «Всего прочнее на земле – печаль...» – мог бы повторить Рубцов вслед за Анной Ахматовой. Однако Н. Рубцов вовсе не пессимист по натуре, хотя оптимистической его поэзии я не рискнул бы назвать, – просто эти слова, в силу своей полярности, плосковаты и не могут отразить многообразия возможных типов мироощущения.

Вот, кажется, посетила поэта печаль: «По родному захолюстью в тощих северных лесах не бродил я прежде с грустью, со слезами на глазах...». Прежде... Захолюстье это – до боли дорого, и поэт словно предупреждает – по поговорке: что имеем – не храним, потерявши – плачем. И в том, что дорого, убеждают неяркие краски, сдержанные слова: небеса – «холодные», «дремотные», голоса «приглушенные», леса «тощие» и места «невеселые». Только здесь поэт может бродить, «наслаждаясь ветром резким», тревожась таинственной неизвестностью будущего: «что же, что же впереди?».

В свой черед приходит, однако, и чувство радости: «Выпал снег – и все забылось, чем душа была полна!» Не только городок «красотою древнерусской обновился», но и сам поэт, сердце которого «проще вдруг забилося». Ему любо видеть вечность жизни в том, как «снег летит на храм Софии, на детей, а их не счесть...». В смене впечатлений стяхнул поэт тяжесть дум, надо полагать, не очень веселых, и находит желанное умиротворение: «Снег летит – гляди и слушай! Так вот, просто и хитро, жизнь порой врачует душу... Ну и ладно! И добро».

Мил Николаю Рубцову образ бескрайнего российского простора с пустынностью наших лесов, болот и полей. Романтической таинственностью полон этот образ, в котором грезится что-то сказочное, прозрачное. Впечатление создается не пластически, а намеком, музыкой, настроением. Поэт идет обычно от немногих реальных примет пейзажа: вот, скажем, ветер, замерзающая вода, пустой сенной сарай под елкой на высоком берегу – не только ширь, но и глубина картины схвачена, и открыт простор воображению («Ночь на перевозе»):

От безлюдья и мрака хвойных
Побережий, полей, болот
Мне мерещится в темных волнах
Затонувший какой-то флот.
И один во всем околотке
Выйдет бакенщик-великан
И во мгле промелькнет на лодке,
Как последний из могикан...

Излюбленные образы Н. Рубцова зыбки, как видения, хрупки, как все прекрасное. Нет, проза жизни не пугает поэта, но беззащитность красоты перед ней ему ведома, – философский смысл обретает подтекст в стихотворении «Цветы».

По утрам, умываясь росой,
Как цвели они, как красовались!
Но упали они под косой,
И спросил я: – А как назывались? –
И мерещилось многие дни
Что-то тайное в этой развязке:
Слишком грустно и нежно они
Назывались – «Анютины глазки».

Горестное чувство утраты и близкое ему сознание недостижимости мечты нередко посещают поэта. Прекрасна привычность родного края, но все равно тревожит неизведанное: ведь «где-то есть прекрасная страна, там чудно все – и горы, и луна, и пальмы...» («Пальмы юга»). Живя радостью встречи с отчей стороной, будучи убежден, «что мир устроен грозно и прекрасно, что легче там, где поле и цветы», поэт тем не менее с болью чувствует:

Но даже здесь... чего-то не хватает...
Недостает того, что не найти.
Как не найти погаснувшей звезды,
Как никогда, бродя цветущей степью,
Меж белых листьев и на белых стеблях
Мне не найти зеленые цветы...

Элегическую настроенностью, мечтою о недостижимом Н. Рубцов созвучен не только А. Фету или Я. Полонскому, но и Бунину:

Ту звезду, что качалась в темной воде
Под кривую ракитой в заглохшем саду, –
Огонек, до рассвета мерцавший в пруде,
Я теперь в небесах никогда не найду.
В то селенье, где шли молодые года,
Где я счастье и радости в юности ждал,
Я теперь не вернусь никогда, никогда...

Созвучность настроений побуждает Н. Рубцова обращаться к традиционным средствам поэтической выразительности.

Если он меньше увлекается изобразительностью, чем И. Бунин, то музыкальность стиха роднит их вполне, – как принцип. «Для меня главное – это найти звук. Как только я его нашел – все остальное дается само собою», – говаривал Бунин. Звук, напевность, мелодический строй стиха часто оказывается организующим началом в лирике Рубцова. Он мог бы вслед за Фетом вполне

принять его завет: «Что не выскажешь словами – звуком на душу навей». Но в характере музыки Рубцова больше сходства с мелодикой Я. Полонского и С. Есенина – оба они во многом идут от городского романса. «Песня», «Прощальная песня», «Над вечным покоем» и некоторые другие стихи Н. Рубцова идут несомненно от этой традиции.

Думается, песенностью объясняется и пристрастие Рубцова к повторяющимся образам, характерное, впрочем, и для романтизма Тютчева, Фета, Полонского. Таковы образы звезды, мерцающей во мгле, ромашек... Эти образы нередко символичны у Рубцова: завявшие «красные цветы мои» – символ утраченных юношеских надежд, поздние георгины олицетворяют глубокую осень в жизни человека; лодка, догнивающая на речной мели («В горнице», «Я буду скакать...»), осознается как образ необратимо уходящего времени.

Символическое в стихе у Рубцова живет, однако, рядом с реальным и как реальное, тем самым стирая грань поэтически условного. Ведь жизнь не очень считается с условностью романтических грез и надежд, поэтому важно их сохранить. Отсюда, порою, – как самозащита и с той же целью избежать условного, – звучит своеобразная детская наивность: и в том, как поэт представляет себя, и в том, как он реагирует на действительность («На осенней земле, в этом городе мгlistом я по-прежнему добрый, неплохой человек» или «Закатился закат, закричал паровоз – это он на меня закричал»).

Николая Рубцова словно бы смущает поэтическая условность романтизма, и порою он сам трезво сознает это. Поэт сам слегка подтрунит над собою, предстанет вдруг то ироничным, то наивным. Но не может он не говорить о том, что его больше всего волнует: человек в его историческом бытии и вечная жизнь природы...

«Ищу я в этом мире сочетанья прекрасного и вечного», – заявлял когда-то Иван Бунин. В новых исторических условиях той же целью живет поэзия Николая Рубцова. Достигая ее, поэт должен был стать публицистом или мечтателем. Знамя публицистики не отвечало складу лирического дарования Рубцова. Романтической мечтой поверяя жизнь, он звал современников к совершенству.

Удивительно гармоничен поэтический мир, созданным Николаем Рубцовым, потому что, по его мнению, человек – дитя природы и слит с ней неразрывно. Сам поэт – частица этого мира, и потому во всем, что пишет он, нет ни тени нарочитости, – стихи Рубцова всегда безыскусны в своей простоте. Их настроение и интонация естественны как дыхание, как все, что ни есть в природе, потому что талант природен. Правомерно рождаются строки Рубцова, в своей глубине родственные тютчевским:

...утром солнышко взойдет –
Кто может средство отыскать,
Чтоб задержать его восход,
Остановить его закат?..
Вот так поэзия: она
Звенит – ее не остановишь!
А замолчит – напрасно стонешь!
Она незрима и вольна...
Прославит нас или унизит,
Но все равно возьмет свое,
И не она от нас зависит,
А мы зависим от нее.

«Не мы выбираем поэзию как профессию, а поэзия выбирает нас из тысяч и тысяч и отмечает своим перстом», – писал однажды Александр Яшин. До удивительного совпадают по мысли стихи Рубцова и слова Яшина, наверное, потому, что за ними – правда. Поставив всю жизнь свою на службу таланту, дарованному ему природой, Н. Рубцов добивался редкого – выявления сложного в простом и простого в сложном, на что способны только очень талантливые люди. Простота подлинного и естественность даются нелегко, а достигаются на пути преданного до конца служения – не форме, моде или успеху! – но самой поэзии.

Жить сложнейшими переживаниями, остро чувствовать трагическое в жизни и переплавлять в душе своей в гармонически пленительные строки стихов – таков был удел поэта Николая Рубцова. Сурова судьба – «высекать огонь из слова», но – это знал Николай Рубцов – творческий порыв есть великое счастье:

...труд ума,
Бессонницей больного, –
Всего лишь дань
За радость неземную:
В своей руке
Сверкающее слово
Вдруг ощутить
Как молнию ручную!

II

С первых появившихся в печати стихов Николая Рубцова заметно двойственное отношение его к дню бегущему: с одной стороны – внимание и несомненный интерес, с другой – какая-то крайняя сдержанность, когда дело касается освоения современности в стихе. Чувствовалось: поэт знает живые будни и умеет их выразить в стихе, но избегает пересказа. Хотя его и радуют

перемены в жизни, он их только отмечает («теперь в полях везде машины и не видать худых кобыл...»). Ему весело «общественный вопрос решать с утра в толпящемся народе», но он не станет (скажем, вслед за С. Викуловым) описывать, как это происходит. Он ищет какие-то общие приметы, отражающие не событие, но явление:

Идут, идут
Обозы в город
По всем дорогам без конца, –
Не слышно праздных
Разговоров,
Не видно праздного лица...

Или:

И слышен смех
В тени под ветками,
И песни русские слышны,
Все чаще новые, советские,
Все реже – грустной старины...

Уже эти, из ранних, стихи Николая Рубцова показывали, что он умел отличать временное, преходящее от значительности настоящего, подлинного, но лишь постепенно, с освоением классической традиции, поэт нашел и свою проблематику, и свою точку зрения на явления современности.

Произошло это тогда, когда для Рубцова вполне сложился «образ прекрасного мира», начало которому поэт обретает в природе, – в поэтическом мире, открытом еще Пушкиным и Кольцовым, находит он свои черты. Это не есть «опрокидывание» в прошлое: человек и природа остались и надолго должны остаться для поэзии, сохраняя свою актуальность. Но время, волею человека – хотя и иногда вопреки ему, – берет свое... Вот тут и родилась тревога, определенная грусть в интонации многих стихов Н. Рубцова: дорогой ему образ «сжимается», оттесняется веком. Судьба поэзии серьезно беспокоит поэта:

Теперь она, как в дымке, островами
Глядит на нас, покорная судьбе, –
Мелькнет порой лугами, ветряками –
И вновь закрыта дымными веками...
Но тем сильнее влечет она к себе!

Поэт тревожится, «чтоб этот вид безвестный хотя б вокзальный дым не заволок!». Тревожится, сознавая бесполезность своего ропота, но и не желая смиряться с суровой неизбежностью. При этом видит и знает, что время захватило в свою орбиту всех и каждого:

Железный путь зовет меня гудками,
И я бегу... Но мне не по себе,
Когда она за дымными веками
Избой в снегах, лугами, ветряками
Мелькнет порой, покорная судьбе...

Уйти от века нельзя, бесполезно противиться движению времени. Это поэт сознает («и я бегу...»), но почему же ему «не по себе»? Потому что утрата поэтического равносильна растрате души... Такова программа Н. Рубцова, заявленная в стихотворении «Поэзия». Программа, которую он и реализует в своих стихах, обращаясь к природе, благословляя покой, тишину и раздумчивость, тревожа тончайшие струны человеческой души.

Не единственным пришел Николай Рубцов к подобной тенденции современности. Но только он один почувствовал здесь сквозную для его творчества тему, чреватую напряженным драматизмом и острой противоречивостью.

Развитие, только спокойное и неторопливое, – как в природе, – Н. Рубцов принимает. Но он же знает, что человек живет в движущемся мире, что современность и успокоение для большинства живущих, понятия несовместимые. Поэтическая концепция «человека в современном мире» реализована Н. Рубцовым в стихотворении «Поезд».

Легко почувствовать, что особой приязни поезд, который мчится «с грохотом и воем», «с лязганьем и свистом», любителю тишины Николаю Рубцову не внушает. Скорее вызывает недоверие, как все чуждое и непонятное, – и несется поезд «с полным напряжением мощных сил, уму непостижимых». Даже опасенья вызывает, мчась навстречу огням «перед самым, может быть, крушеньем». Мгла, желтый рой огней и грохот поезда «в дебрях мироздания», скорость, которая не дает разглядеть явления... Картина складывается впечатляющая. Движение подхватывает все, вот уже и поэт вовлечен в общий поток. Поезд

...глазом огненным сверкая,
Вылетает... Дай дорогу, пеший!
На разъезде где-то, у сарая,
Подхватил меня, понес меня, как леший!
Вместе с ним и я в просторе мгlistом
Уж не смею мыслить о покое...

«Подхватил меня, понес меня, как леший» – здесь неизбежность, почти мистическая. Человек находится в плену у времени, которое втягивает человека на пути свои, не спрашивая у него желаний.

Подхвачен движением человек, «загадка мироздания», – но не как песчинка: осталась способность мыслить. Грохот и лязг не утихли, и не исчезло беспокойство о возможности крушения. Но

человек не один в этом движении, и это по-новому направляет раздумье. Резко обрывает поэт свои сомнения:

Но довольно! Быстрое движенье
Все смелее в мире год от году;
И какое может быть крушенье,
Если столько в поезде народу?

Поэт не снимает своих оценок, но и не отрицает закономерности современного мира. В стихотворении нашла место уверенность в том, что цивилизация не подомнет человека, проявилась вера в людей: множество, человечество не захочет пойти навстречу своей гибели.

Движение, стремительность века приняты и не приняты: как тенденция – да, как характер – нет. Поэт «приводит в гармонию слова и звуки, потому что он – сын гармонии», писал А. Блок, определяя гармонию как «согласие мировых сил, порядок мировой жизни». В «Поезде» Н. Рубцов и пытается в ужасе перед дисгармонией найти гармоничность, которая должна же быть и в современном мире. В ощущении сложности бытия сближается Н. Рубцов с Ф. Тютчевым. Удивляясь и даже пугаясь «странности мира», Николай Рубцов хочет и понять его. Очевидно, что жизнь второпях – «посреди явлений без названья» – для поэта вовсе не жизнь.

Оставаясь в родной тиши, одолеваемый грустным настроением, другу поэт желает: «чтоб гудели твои пароходы, чтоб свистели твои поезда». Он знает – это жизнь, без движения нет ее, а в движении она приоткрывается в чем-то самом сокровенном. Вот шофер подхватил поэта ночью на дороге:

За мною захлопнулась дверца,
И было всю ночь напролет
Так жутко и радостно сердцу,
Что все мы газуем вперед.

Что все мы, почти под кюветом,
Несемся все дальше стрелой,
И есть соответствие в этом
С характером жизни самой...

Что это, восторг, торжество? Стоит обратить внимание на начальные строки: «Какая жестокая трасса! Какая суровая быль!..». Не слишком ли высоки? Не риторичны ли? Нет, в переключке с последней строфой все стихотворение обретает особый смысл. Характер жизни – «стрелой... почти над кюветом» – открывается в дороге. Дорога открывает и народную жизнь.

В самой малой малости можно порою видеть то, чем щедро дарует человека родина. Но, кажется, новое поколение уже и не видит, не хочет видеть прекрасного вокруг себя. В элегической грусти стихотворения «Купавы» надорванной струной звучит и это.



Николай Рубцов
во время
военной службы
на Северном
флоте
(1955 - 1959)



Николай Рубцов



Николай Рубцов





Николай Рубцов

«Бегут себе, играя и дразня, я им кричу: – Куда же вы? Куда вы? Взгляните ж вы, какие здесь купавы!» – взывает поэт и в безнадежности отступает: «Но разве кто послушает меня»... А вот находит поэт уголок, где царят покой и тишина («В старом парке»), но умиротворения нет – есть тревожная картина запустения. Нет, не барина – владельца парка, доживающего свой век на чужбине в тоске по родине, пожалел поэт. Грустно, что «ничей приход не оживит картины», что никому не нужна эта красота.

Подует ветер!
Сосен темный ряд
Вдруг зашумит,
Застонет, занеможет,
И этот шум
Волнует и тревожит,
И не понять,
О чем они шумят.

Как же можно не сберечь ценности, крайне необходимые для воспитания души? Прямо таким вопросом поэт не задается, но уйти от него – нельзя.

Николай Рубцов – по натуре не домосед, напротив. Бывший матрос, «сын морских факторий», он знал море и «памятью полн о той бесподобной работе на гребнях чудовищных волн». Валерий Дементьев справедливо отмечает, что «в своем зрелом творчестве он как бы подразумевал те невзгоды, причалы, штормовые ветры, которые остались позади, в бедовой юности. Он оставлял их «за кадром»... Но помнить об этих невзгодах и странствиях необходимо, ибо в противном случае может быть неверно понята эмоционально-нравственная атмосфера рубцовской лирики». В зрелости привлекательно для Рубцова не преодоление необозримых пространств, а странствование. Еще в стихотворении «Подорожники» появляется пеший человек на лесной дороге, открывающий бесконечность родного края:

Приуныли нынче подорожники,
Потому что, плача и смеясь,
Все прошли бродяги и острожники –
Грузовик разбрызгивает грязь.

Приуныли в поле колокольчики,
Для людей мечтают позвенеть,
Но цветов певучие бутончики
Разве что послушает медведь....

Прекрасная бесконечность родного мира, почти остановленного человеком... Да за что же он, человек, себя опустошает?! Не по-

жалеть бы потом... И шагает поэт, обретая вновь утраченные было ценности, которые лежат вот тут, рядом, – и для всех.

III

Человек радуется и грустит, страдает и любит, всегда живет бесконечным разнообразием мыслей, чувств, побуждений. Но время накладывает свой отпечаток и на психологический склад личности. Чувства как бы дробятся в неудержимом мельтешении жизни, мельчают. Страсть, овладевающая всем существом человека, всеми его помыслами, становится редкостью, – но только в ней полно и глубоко может проявиться человеческая сущность. Чувства молчаливые, но глубокие уважает Николай Рубцов в человеке и умеет угадать самое сокровенное в переживаниях.

Осень для Н. Рубцова – особо грустная пора, и «когда в окно осенний ветер свищет и вносит в жизнь смятение и тоску» («Вечерние стихи»), поэт идет к людям. Уют и спокойствие ресторанчика на реке его пленяют: здесь приходит умиротворение, хорошо думается о большом и вечном – «о сложном смысле жизни на земле», а в разговорах с друзьями оживают Пушкин и Вийон, Есенин и Лермонтов. Полночные страхи отступают, и поэт искренне может сказать: «Я не боюсь осенних помрачений! Я полюбил ненастный шум вечерний, огни в реке и Вологду во мгле...». Чувство дружества несет успокоение поэту, и он, даже будучи один, часто вспоминает друзей. Радуюсь красоте родного края, он сожалеет: «Мне грустно от того, что знаю эту радость лишь только я один: друзей со мною нет...» («В глуши»). Он знает, что «весь на свете ужас и отравы тебя тотчас открыто окружают, когда увидят вдруг, что ты один» («Осенние этюды»).

Хорошо бродить по родным окрестностям «с хорошим давним другом, который сам не терпит суеты» («Зеленые цветы»), но своего одиночества поэт не променяет на суетность пустых людей. Привлекает Н. Рубцова мудрое спокойствие, сдержанность душевной силы («Последний пароход»), неназойливая благожелательность. И очень характерны строки, посвященные памяти поэта Николая Анциферова: «Он нас на земле посетил, как чей-то привет и улыбка». Анравственное кредо Николая Рубцова, определяющее характер отношений с людьми, отчетливее всего выражено в стихотворении «Русский огонек»: «За все добро расплатимся добром. За всю любовь расплатимся любовью...». Здесь не декларация, а норма поведения поэта, который с любовью относится ко всему живому, не только к людям, но и к зверям, птицам. В этих последних случаях Н. Рубцов особенно своеобразен: учась у природы нехитрой мудрости, поэт зовет к добру, но изъясняется не всегда прямо, видимо боясь быть нравоучительным. Так и возникают стихи, напоминающие притчу, «Воробей», например:

Чуть живой. Не чирикает даже.
Замерзает совсем воробей.
Как заметит подводу с поклажей,
Из-под крыши бросается к ней!
И дрожит он над зернышком бедным,
И летит к чердаку своему.
А гляди, не становится вредным
От того, что так трудно ему...

Простенькая картина – с натуры зарисована, ничего лишнего, привходящего. Но увидена она человеческим глазом поэта, и в ней – иносказательное размышление о человеческой природе. И в других случаях находит Н. Рубцов самые обыденные поводы, меньше всего морализуя при этом. Вот, скажем, выпал из гнезда птенец («Ласточка») или напугал человек зайца веселым криком («Про зайца») – что ж из того? А вот детям «что ж из того» в подобном случае не скажешь – не захотят понять.

В стихах Рубцова живет именно какая-то детская непосредственность. «Ласточка! Что ж ты, родная, плохо смотрела за ним?» – концовка, полная наивной укоризны, оставляет удивительное впечатление, может быть, потому, что укоризна неожиданна и упрек потрясающе прост. И заяц вздыхает, что «друзей-то у него после дедушки Мазая не осталось никого...». Просто, но смысл стихов обретает подлинно поэтическое и нравственное значение, более широкое, нежели буквальный смысл.

В этике Николая Рубцова своеобразно отразились нравственные представления трудовой России. Из глубины веков идут привычные нам слова – «добрый человек», «добрый молодец», в своей нерасторжимой слиянности проявляющие непогрешимость моральной нормы.

Нравственный идеал Н. Рубцова – размеренная жизнь в мире труда и повседневных человеческих забот – реализуется так или иначе во всех его вещах, но, может быть, особенно последовательно в таких, как «Жара», «Острова свои обогреваем», «Седьмые сутки дождь не умолкает...», «Тот город зеленый...», «Жар-птица»...

Николай Рубцов не делает тайны из своей поэтической работы, он будто и не знает никаких тайн. Просто все кругом полно для него значения, а он должен только понять, проникнуть в существо жизни своим духовным зрением. Кажется, поэт вовсе и не заботится о стройности и выверенности своих созданий, а пишет – «как бог на душу положит». Вот взгляд поэта остро выделил картину: задремавшее стадо среди семейства берез на холме за рекой, тут же пастух, наблюдающий «игру листопада», который «лениво сидит и болтает ногой», – все это четко, без излишней детализации. Далее картина композиционно уточняется, вписывается «маленький домик в багряном лесу», определяется перспектива – «а дальше, за лесом, большая деревня» и – в беспредельность: «дерев-

ни, деревни вдали на холмах, меж ними село с колокольнею древней»...

Обычный для Н. Рубцова нерасчленный образ Руси, трогательный в своей немногословности. Может быть, вот эта сдержанность и позволяет поэту легко, незаметно перейти от рисунка к раздумью по его поводу. Мысли его неторопливы и неназойливы. «За всех говорить не берусь», – замечает поэт и все-таки убежденно утверждает: «В деревне виднее природа и люди». Более того. «Виднее над полем при звездном салюте, на чем поднималась великая Русь». Чтобы это почувствовать, не нужно домыслов – просто надо видеть мир доброжелательным взглядом, так, как его видит сам Рубцов: «Галопом колхозник погнал лошадей, а мне уж мерещится русская удаля, и манят меня огоньками уюта жилища, мерещится, лучших людей».

Поэт – человек много поездивший, многое повидавший и передумавший – и «все же, и все же домой воротился». Об этом говорит Николай Рубцов в нескольких строчках, не связанных, казалось бы, с предыдущими, которые тоже, на первый взгляд, весьма слабо сцеплены. Но есть жесткая художественная логика в стихотворении. Поэт улавливает душевные движения, которые владели им в то время. Не надо полагать, что все подряд, – совершался какой-то отбор во имя основной цели, может быть, смутно захватившей поэта.

Перебирая впечатления, Николай Рубцов приходит к мысли, подсказанной опытом, что нечто главное в жизни – здесь, дома. Но мысль еще неясная, неформившаяся... А затем стихийно, без перехода возникает разговор со стариком-пастухом: «Старик! А давно ли ты ходишь за стадом?» Воспринимается это никак начало, но как продолжение разговора. Так могут вступать в беседу люди давно знакомые, судя же по вопросу – собеседники не знакомы. Просто это люди одного корня, духовно близкие друг другу и чувствующие эту близость. Потому доверительно говорят они сразу о самом существенном, самом главном: о том, как идут дела, как жить человеку на земле.

– Так что же нам делать? Узнать интересно...

– А ты, – говорит, – полюби и жалея

И помни

хотя бы родную окрестность,

Вот этот десяток холмов и полей...

– Ну, ладно! Я рыжиков вам принесу...

Теперь понимаешь, что ответ старика и есть то главное, ради чего стихотворение писалось. Становится ясно, что нет здесь ни одной лишней строки и что, к слову, странно было бы, не заговори со стариком поэт, помотавшийся по миру и не обретший смысла бытия в шумной суете торопливого века.

Нравственный, душевный опыт трудового человека более всего интересует Николая Рубцова. Уважение к этому опыту – в любом штрихе. Даже в переходе от обращения «ты» («давно ли ты ходишь за стадом»), сказанного доверительно, запросто, к «вы» («Я рыжиков вам принесу»), в котором доверительность сохраняется, но подчеркнута почтением.

Поэт старикову мысль понял глубоко и по существу. В наивной конкретности его реакции – убедительность, а внешняя содержательность вовсе и не нужна. Поэт не суесловит – это чрезвычайно важно. Ведь старик неотделим от мира, так любимого поэтом. Вспомните начало стихотворения и попробуйте представить поэтический рисунок без пастуха – неполнота, незавершенность будут очевидны. Голос старого пастуха – голос этого мира, и он внятен поэту, который сам делится усвоенными нравственными ценностями.

Стихотворение оставляет впечатление светлой прозрачности, умиротворенной тихой радости, оттененной «бывшей печалью». Живет в нем чувство духовной высоты, – в сдержанности и достоинстве, с какими ведется беседа, в искренности интонации и точности поэтического видения. Радует взыскательная скупость изобразительных средств, когда выверено каждое слово. Отмечу хотя бы «игру листопада» – там, где только «семейство берез» и «прекрасная глушь листопада» в «багряном лесу». Настолько меняется картина только из-за одного слова! Поэту все мило, – ведь не случайно и жар-птица не где-нибудь – здесь живет...

Люди дороги Н. Рубцову своим скромным трудолюбием, перед которым ничто не устоит. «Взгляни, – взывает поэт, – с какою-то дьявольской силой все вынесут люди одни!». Летний ли зной, когда звери прячутся и травы никнут, – делают люди дело, а «когда и жара изнеможет, гуляют еще, веселясь!». И непогодь их не загонит по измам. Вот рисует поэт мрачноватую картину разбушевавшейся стихии. Зловещие детали необычайно густо использованы, и, как общий контур, «безжизненная водная равнина, и небо беспроекторное над ней». Все залило вокруг нескончаемым ливнем:

Холмы и рощи стали островами.
И счастье, что деревни на холмах.
И мужики, качая головами,
Перекликались редкими словами,
Когда на лодках двигались впотьмах,
И на детей покрикивали строго,
Спасали скот, спасали каждый дом
И глухо говорили: – Слава богу!
Слабеет дождь... вот-вот... еще немного...
И все пойдет обычным чередом.

Как видим, люди живут строго и деятельно, не теряя надежды. Даже осенью, когда «темнота, забытость, неизвестность у ворот,

как стража на посту», они могут скромно и просто сказать о себе: «Острова свои обогреваем и живем без лишнего добра, но всегда с огнем и с урожаем, с колыбельным пеньем до утра...». Н. Рубцову мила неторопливость и простота бытия с ясною осмысленностью забот, с приветливыми земными поклонами людей друг другу. «Вечно пусть будет все это, что свято я в жизни любил», – заклинает он, тревожась, не останется ли вскоре только воспоминанием «сей образ прекрасного мира»:

Тот город зеленый и тихий
 Отраднo заброшен и глух.
 Достойно, без лишней шумихи,
 Поет, как в деревне, петух
 На площади главной... Повозка
 Порой громыхнет через мост,
 А там, где овраг и березка,
 Столпился народ у киоска
 И тянет из ковшика морс,
 И мухи летают в крапиве,
 Блаженствуя в летнем тепле...
 Ну что там отрадней, счастливей
 Бывает еще на земле?..

Дело не только в том, что милая привычность такого городка будит трогательные воспоминания о юности. Наблюдая будни народной жизни, всего сильнее Николай Рубцов желает, чтоб «всегда светила нам, не унывая, звезда труда, поэзии, покоя, чтоб и тогда она торжествовала, когда не будет памяти о нас». Право на вечность, таким образом, заявлено со всею напряженностью поэтической страсти, проступающей сквозь спокойную медлительность веских в своей торжественности слов.

IV

Заявить права на вечность в чем бы то ни было – еще мало, их надо утверждать и отстаивать. В выполнении своей поэтической миссии Николай Рубцов вполне последователен: то, что идет из глубины веков, привлекает пристальное внимание поэта. Скажем, рисуя Вологду, он выделяет «пейзаж, меняющий обличье». Пейзаж сегодняшнего города точен «документально», в деталях: так, как он открывается с правого берега реки между мостами – Красным и 800-летия Вологды. Современен пейзаж, но не сразу узнается.

Рубцов и тут остался самим собой: он будто остановил мгновение, и облик города явился «во всем таинственном величье своей глубокой старины». Выделился «темный, будто из преданья, квар-

тал дряхлеющих домов», «желтеющие зданья» потерялись «меж зеленеющих садов». Торопливо отмечены «за рекою свалка бревен, подъемный кран, гора песка», «архитектурный чей-то опус среди квартала... Дым густой»... Внимательнее взгляд поэта остановился на женщинах, занятых вековой, такой же, как и триста лет назад, работой – полосканием белья с плота.

И перспектива четко завершена:

...обрывает панораму
Невозмутимый небосклон.
Кончаясь лишь на этом склоне,
Видны повсюду тополя,
И там, светясь, в тумане тонет
Глава безмолвного кремля...

Не разрушая правды целого, Н. Рубцов оживляет былое. Он рисует пейзаж вечерний – это определило характер картины. Днем уже не почувствуешь «таинственного величия» и не заметишь главы «безмолвного кремля»: кран заворочается, бревна загрохочут, солнце съест туман и таинственность. А Рубцов остался верен себе и смог органично слить прошлое с настоящим. Не отказываясь от стройки, – он знает, что за ней будущее! – поэт тревожится, чтоб стремительное наступление цивилизации не заслонило былого величия: ведь в нем открывается нам история народа. Справедливо пишет Сергей Залыгин, как редко «...удачное сочетание в талантливой личности прошлого с будущим, традиции с новаторством, сочетание, которое и создает для этой личности ее творческое настоящее». Такое сочетание обнаруживает поэзия Николая Рубцова.

Лирика Николая Рубцова рождена на нашей древней северной земле, в русской деревне. Сам переживший раннее сиротство, Н. Рубцов умел чутко улавливать эти противоречия жизни, видеть, как они отражаются в сердцах человеческих. И это обеспечивало его стихам и глубину переживания, и широту исторического кругозора.

Поэт снова и снова чувствами своими и помыслами возвращается к родной деревне, вспоминая школу деревянную, «поле, холмы, облака», «избушки и деревья, словно в омут, канувшие в ночь», «пустынные стога». Николай Рубцов открыто говорит о своих привязанностях. Ивы, река, соловьи, деревянная школа – все, с чем ассоциируется понятие «родина», дорого для него само по себе, но прислушаемся и еще к одному горькому признанию поэта: «Мать моя здесь похоронена в детские годы мои...». Потому не декларацией, а поэтической истиной принимаются его слова:

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

Звезда полей, что «горит, не угасая, для всех тревожных жителей земли», – ее вспоминает поэт «в минуты потрясений», – «только там, над родственным пределом... восходит ярче и полней»... Грусть, проникающая в стихи, оправдана, некогда устойчивый мир деревни теперь, кажется, безнадежно пошатнулся, тесный городом.

Проблема очень серьезна, а в ее поэтических решениях нередки крайности, самая распространенная из которых – противопоставление города деревне. Николай Рубцов далек подобной наивности: звезда полей горит, «своим лучом приветливым касаясь всех городов, поднявшихся вдали». Сам поэт мужал «на твердой рабочей земле», но все-таки и для него деревушка, этот забытый уголок, – «мать России целой». Простые заботы деревенского бытия предстают у него как нечто вечное. Сам он живет близостью к родным истокам, а юному земляку, что рвется из отчих краев, предвещает: «Когда ж повзрослеет в столице, посмотрит на жизнь за границей, тогда он оценит Николу, где кончил начальную школу...» («Родная деревня»).

Детали исторического прошлого мало занимают поэта – он видит былое как реально существующее. «Что-то божье в земной красоте» увидел некогда древний зодчий, и однажды из грезы – «как трава, как вода, как березы» возникло «диво-дивное в русской глуши» («Ферапонтово»).

В дальнем поселке, где с упоением внимает Рубцов сказанью старинных сосен, ему «слышен глас веков» («Сосен шум»). Живейшее волнение будит и болото, «на сотни верст усыпанное клюквой, овейное сказками и былью прошедших здесь крестьянских поколений» («Осенние этюды»).

Дыхание вечности слышит Н. Рубцов всюду. На древних дорогах о ней напомним то полусгнивший овин, то «хуторок с позеленевшей крышей». А что представится, когда «по холмам, как три богатыря, еще порой проскачут верховые»?.. Видения обретают реальность в приметах пейзажа, того же, что и в древности: облака над дорогой – «в пыли веков мгновенны и незримы», «по сторонам – качаются ромашки, и зной звенит во все свои звонки, и в тень зовут росистые леса»...

Отблеск вечного видел поэт в этих холодных далях с журавлями да коновязями, – и тем прекраснее они становились для него. Вечное и прекрасное сочетает Николай Рубцов в пленительности неповторимого образа родины: вечна красота отчизны и прекрасен дух народа, вынесенный из всех потрясений его тысячелетней истории.

Широко по Руси предназначенный срок увяданья
Возвращают они, как сказание древних страниц.
Все, что есть на душе, до конца выражает рыданье

И высокий полет этих гордых прославленных птиц.
Широко на Руси машут птицам согласные руки.
И забытость болот, и утраты знобящих полей –
Это выразят все, как сказанье, небесные звуки,
Далеко разгласит улетающий плач журавлей...

«Журавли» в медлительности плавной торжественной музыки – как захватывающая оратория, печальная и светлая. А вот романтическая сказка, безудержная в фантазии, мощная по напряженности духовной жажды, бьющейся в ней, – «Я буду скакать...»

О, сельские виды! О, дивное счастье родиться
В лугах, словно ангел, под куполом синих небес!
Боюсь я, боюсь я, как вольная сильная птица,
Разбить свои крылья и больше не видеть чудес!
Боюсь, что над нами не будет возвышенной силы,
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом,
Что, все понимая, без грусти пойду до могилы...
Отчизна и воля – останься, мое божество!

Не в прошлом, а в вечном идеал прекрасного Николая Рубцова. Утверждая прекрасное и вечное, на котором складывается нравственный мир личности, поэзия Николая Рубцова служит будущему.

Безвременно ушел из жизни самобытный русский поэт Николай Рубцов, и горестно вспоминаются слова Д. Веневитинова: «Как знал он жизнь! Как мало жил!» Трудную, исключительно напряженную жизнь прожил он. Сжигаемый поэтической страстью, которая владела им безраздельно, в обыденности был Рубцов человеком неуютным. Незнакомым мог показаться резким и грубым, а не встречая с их стороны взаимопонимания – усугублял это впечатление о себе.

Впрочем, меньше всего заботился Н. Рубцов о том, какое впечатление производит на окружающих. Он служил им проникновенным стихом честно и преданно – до конца, хотя и не все это понимали.

Глупец кричит: «Куда, куда?
Дорога здесь!» – но ты не слышишь,
Идешь, куда тебя влекут
Мечты невольные. Твой труд
Тебе награда...-

необходимость для любого поэта и воля его быть самим собой выражена А. С. Пушкиным с предельной ясностью. Власть этой

воли и необходимости Н. Рубцов чувствовал по себе. И потому его поэзия нужна людям, он доставит им еще немало мгновений приобщения к вечному и прекрасному, не менее чем хлеб необходимому в наши дни.

«Степень родства», 1977





Северо-Западное
книжное издательство
АРХАНГЕЛЬСК

1988





НАСЛЕДСТВО ЧУДО-РОДИНЫ

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДИЦИИ В ПОЭЗИИ ОЛЬГИ ФОКИНОЙ



...Шумят ели, журчит речка, стремясь к другой, которая плавно несет свои воды, невозмутимая и спокойная, а где-то недалеко – «гулкое лесное кукованье под шорох созревающих полей». Они бесконечны в своем разнообразии, эти «простые звуки родины». Под стать им и «простые краски северных широт» и любимый говор «людей, вспоенных Северной Двиной»...

Все просто, непритязательно и живописно. Вот поэтому даже самый рядовой читатель, может быть, вовсе и не знакомый с поэзией, оценит прозрачную ясность стиха Ольги Фокиной и близость мыслей, чувств, настроений, выраженных в нем, его думам и настроениям. А кому не известно, что только такая созвучность делает творчество поэта близким читателю, позволяет ему освоить, обжить мир, созданный поэтом.

I

Уже самые ранние стихи заявляли о постоянстве привязанностей Ольги Фокиной:

Мой край родной, мой Север милый.
Ты дал мне крылья, волю, силу.
Ну как мне не любить тебя?!

Эту мысль в разных вариантах поэтесса повторила не раз. И здесь не просто декларация. Север – ее родина, и истоки творчества поэтессы идут оттуда, из тихих сельских мест. Скромная природа дала ей краски. Речки говорливые да тайга приучили слушать мир и открыли

тайну звукописи. Народ наделил богатством – словом точным и емким, напевной выразительной речью.

Как рождался поэтический характер Ольги Фокиной? Чтобы представить это, надо, видимо, обратиться к самым ранним впечатлениям поэтессы. Глухая деревушка – несколько десятков человек, досконально знающих «всю подноготную» друг друга. Тихие лесные просторы, необширные поля, речки. Вот этой близостью с природой, точнее – единством, да взрослым окружением – матерью, прежде всего, и определяются самые ранние, особенно важные для воспитания души, впечатления.

Знарок русского фольклора Борис Шергин в предисловии к первой книге Фокиной отмечал, что «любовь к матери-земле – свойство для каждого художника изначальное, доброкачественное» и что поэтесса «одарена чувством природы». Дитя своего родного края, она смотрит на окружающий мир влюбленными глазами, перед которыми все оживает – будь то речка, деревья, грибы... Именно это сообщает стиху особую непосредственность.

...Двое над обрывом стоят:
Темная осанистая елка,
Подальше от края – елка-мать
Держит за подол свою девчонку,
Пушистую,
Ершистую,
Ту, что к самому краю
Подбежала, играя,
И притихла на краю,
Свесив ноженьку свою...

Обычно для зрелого человека одушевление растений и животных в поэзии – прием, не более. Не то – у Ольги Фокиной. Убедительность интонации, стиха в целом у нее объясняется тем, что прием скрыт за образом, вернее – с образом слит воедино.

Мы видим, как она по-свойски чувствует себя в лесу, дружески относится к деревьям, и их мы уже воспринимаем как живые существа: «Жму лапу елке», – здесь метафора очень легко укладывается в сознании читателя и в чувственном представлении затруднений не вызывает. Точно так же мы воспринимаем и другой аналогичный образ – «елочка с насмешливым участием поворошила волосы мои».

Для поэта, имеющего постоянную прописку в каком-то единственном уголке земли, особенное значение имеет всегда образ матери. Припоминаются стихи Сергея Есенина, Александра Яшина, например. В них открывается нечто большое, важное: мать-крестьянка для них – мерило нравственной ценности.

И во многих стихах Ольги Фокиной с нежностью поминается имя матери. «Я матери сказала что-то резкое (Характер – дрянь! Ведь что-

бы промолчать!)» – здесь скорее осуждение себя за несдержанность. В другом случае – «головой, как у мамы, седой сокрушенно качает уборщица». Или вот еще:

Как полено в печку кинет
мать, – счастливо подгляжу.
Подгляжу, прильнув к окошку...

Отношение к матери – оселок, на котором познаются отзывчивость души, способность понимать людей, чуткость к ним. А ведь так легко ошибиться! Ошибка же неминуемо сказалась бы на характере в целом. От образов близких людей – матери, отца – Ольга Фокина смогла перейти к освоению более широкого поэтического плацдарма. Навсегда сохранился у нее интерес к природе, но ее видение углубилось в связи с тем, что сельский мир постепенно открывается взору поэтессы в трудностях и противоречиях, понятых изнутри. Это и есть стержневое в мироощущении поэтессы – единство жизни с народом, среди которого она выросла, вместе с которым еще маленькой девочкой переживала трудности военных лет.

Не в семье ли хлебороба я
Серп научена держать,-

с тайной гордостью сказано в стихотворении «Вишь, ведь как тебя изнежили...». Да если бы только этому научили ее в крестьянской семье!

Народ умеет ценить самые, казалось бы, незначительные радости. И в характере поэтессы это свойство изначально. До сих пор «в цветной бумажке розовое мыло» напоминает суровые военные дни. Им также посвящены «Черемуха» и «Подснежники», многие другие стихи и поэма «Аленушка». Устойчивый интерес к недавнему прошлому закономерен. Именно тогда утвердилась жизнестойкость, умение держаться в трудностях, не роняя своего достоинства («Про картошку», «Островок», «Березы», «Ива»). Характер складывается твердый, неуступчивый, но с развитой способностью искреннего сочувствия к людям, понимания их душевных движений.

Ольга Фокина рано усвоила, «как июльский заморозок ранний убивает нежный цвет гороховый». Та же мысль отразилась и в стихотворении «Кузнец угрюмый прогонял ребят». Прогонял, когда они хотели видеть, как он каленым железом клеймил жеребят. Прогонял, потому что понимал ранимость детских душ:

Ребятче сердце ходит нагишом,
Где взять ему какие оболочки?
И горе выжгло прямо на живом
Слова и строчки.
Резинка-время не стирает их,
От ясных дней они не выцветают...

Вот где образное объяснение обостренной впечатлительности, которая буквально с первых стихов сказывается едва ли не во всем, что пишет О. Фокина. И хорошо, что это свойство, без которого немислим поэтический характер, распространяется не только на собственную персону. Оно позволяет в равной мере проникновенно рассказать о своих личных настроениях, переживаниях по тому или иному поводу, и о драме женщины-доярки, для которой условия сельского быта не открыли среднего пути между успехом в общественном труде и удовлетворением в семейной жизни (поэма «Сыпь, снежок»).

Более того, прямая причастность к народной судьбе дала гражданскую силу и личным убеждениям поэтессы. Она поняла и сердцем и умом свою кровную привязанность к родине, о чем с большой выразительностью свидетельствует стихотворение «Не знаю, что тебе писать...». Это как бы раздумье над листом бумаги. И как разговор с глазу на глаз – требует откровенности, обязывает не забывать о собеседнике. Мы хорошо понимаем обоих. Внешне позиции того и другого не очень различаются, хотя очевидно, что двое понять друг друга не в силах. А разговор о самом главном – о привязанности к родному краю, которая для поэтессы имеет вполне определенные истоки:

Воспоминанья хороня,
Мы мало в памяти оставили,
Но луг от смерти спас меня
Своими клевером и щавелем,
А лес и раннею весной
(Не говорю про дань осеннюю)
Без говорильни показной
Бывал не раз моим спасением...

Это высокое, граждански сильное чувство родства со своей землей открывает характер русской женщины, гордой и независимой даже в горе: «Насильно милые – жалки, в насильно милые не просимся». При всей откровенности лирического выражения – исключительная сдержанность чувств: «...я дитя моей реки, озиминка из этой озими». Вот поэтому-то поэтесса Тамара Жирмунская, подчеркивая общенациональное (в противоположность областническому) существо поэзии Ольги Фокиной, писала о ней: «...Поэзия ее вне географических пунктиров. И когда она говорит: «Ты осмеял мои леса, в них дичи не добыв на вареве», – это отнюдь не пререкания с жителем степной полосы. Это позиция человека, который никогда не примирится с убогим утилитаризмом души».

Думается, что творческая зрелость пришла, когда поэтесса сумела органично переплавить полученное от чудо-родины наследство с достижениями современного стихосложения. Знаменательно стихотворение Фокиной «В дороге». В нем содержится признание того, что и ее,



Ольга Фокина и Евдокия Пылаева



Ольга Фокина



Ольга Фокина



На совещании молодых литераторов Вологды. Ноябрь 1983 года.
Руководители семинара: А. Романов, А. Бобров, О. Фокина, С. Шуртаков,
В. Оботуров, В. Коротаев, В. Кочетков. Участники совещания - молодые
прозаики и поэты: А. Грязев, Р. Балакшин, М. Карачев, В. Кокорин, В. Белков



О. А. Фокина - лауреат Государственной премии РСФСР



Вологодское педучилище. Ольга Фокина, Василий Оботуров, Глеб Текотев

как многих других поэтов, тревожат образы Есенина и Маяковского (неважно, что в ее стихах мы не увидим отчетливо выраженного влияния ни того, ни другого). Они приходят даже во сне. Интересно, что досмотреть сон помешал разговор двух женщин-крестьянок. Однако обаяние сна не кончилось и досада на крестьянок прошла:

Я снова долго-долго слушать рада
Людей, впоенных Северной Двиной.
Но над моею тайною улыбкой
Опять кружится тот прекрасный сон...

Сон и явь едины и живы. Краски и колорит народной речи и традиции советской поэзии одинаково близки Ольге Фокиной. Их единство составляет ее особую силу. Такого качества дарование – редкость у нас в поэзии.

II

Особенности народно-поэтической выразительности, эстетика фольклора вошли в сознание Ольги Фокиной вместе с северорусским языком и через мелочи своеобразного бытового уклада деревни еще с младенческих лет. И существует фольклор для нее не как нечто внешнее, а как особое качество ее мирозерцания. Определеннее всего это качество отражается в общепонятности, демократичности ее чувств, переживаний, размышлений.

В этом смысле стихи Фокиной фольклорны насквозь, независимо от того, следует ли она открыто и определенно какому-либо из жанров народно-поэтического творчества или не следует, использует какие-либо средства народно-поэтической выразительности или не использует. Но и в том случае, когда ясно открывается следование фольклорной поэтике, чаще всего это не подражание, а трансформация, переосмысление и, в чем-то существенном, преодоление условности застывших фольклорных форм.

Особенно часто Ольга Фокина обращается к частушке, жанру, до сих пор живому, активно бытующему в крестьянской среде. Но также мы найдем у нее мотивы сказки, сказа и даже изредка обрядовой поэзии.

Стихотворение «Весеннее» – вроде бы лирический пустячок, оформленный на бойком ритмическом рисунке. Есть в нем что-то от частушек-прибауток, частушек-нескладушек:

У крыльца – лужица,
В лужице – опилок
Вертится, кружится.
Думаю о миллом.

Прочтите бойкой скороговоркой – и ничего кроме не вычитаете: ну при чем тут лужица, опилок и милый! А прислушайтесь внимательно

но к интонации, и вы уловите в этих коротеньких строчках не только точные приметы весны, но и настроение человека задумавшегося, который, как говорят, усталился в пустое место («в лужице – опилки вертятся, кружатся») и этим выдает свою думу.

А дума – светлая, потому что обращена к милому. И слова, с которыми она обращается, бытеевски простые, но полные ласки, сочувствия и уверенности в нем: «Тоже небось не весна, а слезы тебе без меня...». И верится, что он ей хоть «и не родня, а вроде самый близкий». И образ девушки, душевно открытой и смелой, сродни прекрасному светлему миру, где она – хозяйка, в силах которой – все:

Река широка!
 Большое небо!
 У меня в руках
 Солнце, как репа:
 Хочу – откушу,
 Хочу – утоплю...
 Приеду – скажу,
 Что тебя люблю.

Чувствуется здесь что-то от В. Маяковского (в фамильярно простецком отношении к солнцу), но оно в начале где-то, а образная структура у Фокиной – своя: не «солнца масса», а нечто близкое очень, доступное. Отсюда раскованность лирического «я», его свобода, которая позволяет вот так просто признаться в большом чувстве.

Удивляет очень уместное сочетание энергии стихотворения и мягкости лирической интонации. Поэтесса сумела преодолеть жанровую и структурно-стилистическую ограниченность частушки и создать цельное по мысли и чувству стихотворение.

С ним интересно сопоставить другое, выполненное в привычных литературных традициях. В нем, казалось бы, нет ничего ни от частушки, ни от фольклора вообще. Разве что заглавная строка «Тебя обманут первого апреля...» – идет от шуточного народного обычая, бытующего и по сей день. Но здесь – та же раскованность, та же свобода лирического переживания. В нем безошибочно узнается то самое лирическое «я», что в стихотворении «Весеннее».

Поэтика сказки последовательно используется в стихотворении «Я сюда хожу неспроста...». Внутренний сюжет у поэтессы свой – острая тоска от того, что милый изменился, стал другим, чужим: «...колдун на бессрочный срок в волчью шкуру тебя облек». А для реализации замысла пригодились мотивы, переходящие из сказки в сказку, о превращении героя в волка серого, о том, как добывается тайна злобного колдуна и как на дне реки ждет девица своего избавителя, посылает ему наказания:

Ты об этом узнай, узнай!
 Дни и ночи живи без сна.
 От печали не ешь, не пей,

Но на выручку мне успеи.
Никого не води сюда,
Сам закидывай невода,
Будет невод с пустой водой,
Будет невод с густой травой,
Не печалься! На третий раз
Будет невод со мной как раз.
С трех березок рясу росы
На лицо мое отряси,
Щедро радуйся! Свято верь:
Ты отныне уже не зверь...

Интересна трансформация народной поэтики в песне Ольги Фокиной – жанр, к которому поэтесса пришла, казалось бы, случайно. Она сама рассказывала однажды на встрече с читателями, что для нее было неожиданностью услышать песню на слова стихотворения «Я вчера, уезжая учиться в Москву...». И все-таки случайности в этом нет.

Поэтесса выросла в песенной среде северорусского крестьянства. Через посредство песни, что сопровождала ее с колыбели, познала она многие явления. Песня – это ее, в известном смысле, поэтическое видение. И требовался толчок: случай, о котором рассказывала поэтесса, таким толчком и явился.

Разумеется, не каждая из первых песен стала удачей. Скажем, «Песня о Ломоносове» – заявка, не более. Лирического ключа к ней не найдено, а набор подходящих к случаю фраз дела не спасает. А ведь в «песенном творчестве» нередко этим и ограничиваются поэты. Качество песенных текстов желает много лучшего. Снова и снова идут разговоры об этом, но они, кажется, ни к чему не ведут – и плохих песен меньше не становится, и не очень растет число хороших.

В призывах – нет спасенья. Но, думается, что вопрос в значительной мере объясняется нашей бесхозяйственностью. Творчество Ольги Фокиной – живой тому пример. Нет, вниманием композиторов поэтесса не обойдена, но сколько еще стихов у Фокиной, которые пока не стали песнями, но сами будто просятся на музыку, заключая в себе готовый музыкальный рисунок: «Грустная песенка», «И в словах, и в глазах...», «В городе сегодня дождь, дождь...», «Ты давно пытался выпытать...». И многие другие ее стихи ждут еще своего часа зазвенеть песней.

Мастер советской массовой песни М. В. Исаковский писал: «Есть люди, которые считают, что для создания хорошей песни достаточно использовать приемы старой народной песни... и все будет в порядке... Однако это нельзя назвать творчеством. Это просто-напросто имитация, подделка... Поэт, разумеется, вправе использовать фольклор, но делать он это должен творчески, то есть таким образом, чтобы создать принципиально новое, свое» (М. Исаковский. О поэтах, о стихах, о песнях. «Советский писатель», Москва, 1968, с. 65).

В песенном творчестве Ольги Фокиной мне как раз и видится пример открытия нового, своего. Ей удалось слить воедино тради-

ции старой народной лирической песни и песни современной. Сошлюсь для примера на одну из первых песен поэтессы «Наматрись, зорька, в реченьку...». В ней реализовано вполне современное содержание – переживания девушки перед проводами любимого в армию. И особая роль принадлежит параллелизму. Причем если для старой лирической песни в этом приеме «движения чувства выясняются бессознательным уравнением с каким-нибудь сходным актом внешнего мира» (А. И. Веселовский), то для Ольги Фокиной – это художественно осозанный прием, обостряющий выразительность переживания:

Наматрись, зорька, в реченьку,
Пока речка не вымерзла,
Пока ива над реченькой
Зеленым-зелена...

Ты, хорошая девушка,
Наматрись на любимого,
Скоро милому в армию.
Скоро будешь одна.

Искренность лирического выражения достигнута потому, что прием используется не механически. То общее, что есть в движении того и другого образа, развивается, углубляется от куплета к куплету, уже в третьем – сливаясь:

Ива трогает за косы –
Не грусти, не грусти!

В искреннем сочувствии девушке – светлая уверенность в добром конце, подкреплённая мягкой, задушевной интонацией.

О несостоявшейся любви говорит песня «Здравствуй, речка Паленьга». Художественная выразительность ее несомненна:

Стыла ночка белая,
Стыла молчаливая,
Холодами камушки
У воды...
Стыли, сиротелые,
Два следочка рядышком,
А потом – не рядышком
Те следы.

Образ зрительный – «два следочка» – осмыслен как образ лирический. Он в композиционном центре песни, а повторы слов, несущих основную нагрузку, довершают замысел, создают впечатление достоверности переживаний.

Уже в этой песне нельзя не отметить одну особенность, свойственную для стихов многих современных поэтов, но в песнях – редкую: раз-

ностопность строчек внутри куплета, выделение одного слова в строке. Здесь уже не может быть речи о привычной для старой русской песни протяжной мелодии. Песня, народная по своему характеру, по структуре образов, сближается с эстрадной.

Еще отчетливее такая тенденция проявляется в песне «В городе сегодня дождь, дождь...». О ней, хотя еще и не положенной на музыку, стоит говорить подробно. Песня проста по сюжету: парень идет к девушке, в чем-то перед нею виноватый. Но насколько шире поэтическое содержание! И нельзя не уловить всю глубину переживания, заложенного в песне, потому что композиция в ней предельно четкая, открытая для выражения лирического чувства.

В тексте – описание обстановки («В городе сегодня – дождь, дождь. Ежятся от стужи лужи»), выражение неудовольствия («Ты идешь и не выбираешь, где посуше», «у дверей звони не звони – открывать тебе не буду...»), а в подтексте – совершенно другое – раскрывается она в глубокой привязанности («зачем идешь по дождю?», «ну, хоть воротник-то подними, холодно же, чудо-юдо...»). И самораскрытие чем дальше – тем полнее, и вот уже целиком заполняет все. Такой двуплановости не знает народная песня, а в современной психология – нечастая гостья.

Настроение песни – едино, но единство противоречиво. Именно это сообщает песне особую выразительную силу. Нравственная требовательность к любимому и нежность, захлестывающая и прощающая, великодушие и вера в него и оправданность веры – очень сложное, контрастное развитие чувства определяет не только движение сюжета и композицию стиха, но и его мелодию, быструю, как развитие чувства, лукавую и мажорную в своем основном ключе.

Это тем большая удача, что в песне, как признается исследователями, «трудно достичь тонкой индивидуализации образов, характеристичности портретных и пейзажных зарисовок, дифференциации в передаче многообразных, особенно – противоречивых, конфликтных явлений внешней, и внутренней жизни человека» (А. Сохор. Русская советская песня. Л., 1959, с. 15). Ольга Фокина, как видим, добилась и того и другого. Ее песня наглядна, сценична. А это – признаки эстрадности, которая ничего общего с мелкотемьем и пустопорожностью не имеет, а обеспечивает стилистическую и художественную свежесть, ритмическое разнообразие.

В песне синтезируются слово и музыка. Слово у Фокиной зрительно, хотя нет перегруженности зрительными образами – это песне противопоставлено. В ней, что весьма, существенно, поэтесса живет мыслями и чувствами своих современников. Она умеет организовать свой стих так, что уже подготавливает «почву» для композитора. Всегда у нее психологически оправданы повторы, ритмические перебои, нет ничего, что затрудняло бы эмоциональное развитие темы.

Итак, в словесном содержании – общедоступный значимый смысл, а в ритмико-интонационной структуре – свобода для переживания

лирического «я». Думается, актуальность и сдержанность – наиболее важное достижение Ольги Фокиной в песенном творчестве на пути следования народно-поэтической традиции, которая не терпит украшательства и излишеств.

III

К необходимости выхода вовне из внутреннего мира своей души Ольга Фокина пришла рано, однако в первых стихах настроение остается главным средством выразительности, а это еще стихия лирического: уйти от себя, даже при желании, не так-то просто. Можно понять замысел стихотворения «Он не уехал из колхоза...». Благороден его герой, но тема раскрыта по лобовому, в прямом монологе, никак не подготовленном психологически.

Трудности освоения темы успешно преодолеваются в «Письме матери». Нет в стихотворении ничего лишнего. Верись, это действительно письмо крестьянки. Только она так может написать: «Приезжай, моя доченька, хоть на два-три денечика». Только она может так бесхитростно «улещать» простыми деревенскими радостями («похрусти снежком сахарным, сбегай к проруби с ведрышком») и звать, звать, сладко и жалостно представляя встречу.

Естественна напевность стиха с переборами в интонации, свойственными только для народной разговорной речи. Уместны каждое слово, каждая фраза: отвечая теме письма, они несут объемную дополнительную информацию о семье, ее укладе и быте. Особая роль принадлежит диалектизмам («братина», «денечика», «баски»). В них не только содержится речевая характеристика матери, но они создают впечатление документальной точности стихотворения. И в безупречно интонированном словесном потоке рождается душевный образ женщины-крестьянки так отчетливо, что, кажется, вот-вот увидишь воочию и ее самое.

Опыт освоения поэтики фольклора, постоянный интерес к народной жизни открыли перед Ольгой Фокиной возможность взяться и за крупные вещи – это поэмы «Аленушка» и «Сыпь, снежок».

Первая из них, правда, не представляет собою цельного законченного произведения, каким обещает быть: поэма еще пишется и публикуется пока отдельными частями. В каждой из частей мы наблюдаем формирование личности сельской девчонки, ее духовного мира.

По богатству бытового колорита, по событийной и эмоциональной насыщенности, по способам отражения действительности первая часть – как большая развернутая глава незаконченного романа. Иногда и сама манера письма кажется романической – обстоятельной до расточительности, какую вряд ли можно позволить в поэме. Ольга Фокина бережно и трогательно пишет об Аленкиных радостях: о первой

встрече с букварем, о радужных снах («взаправдашний, живой, стоит и смотрит на тебя убитый батька твой...»). И ни в чем ни одной фальшивой ноты!

Утешение в своих недетских горестях девочка все-таки находит. Целительное действие оказывает на нее природа своим фантастическим и вместе с тем реальным обаянием:

В час, когда восходит солнце,
В этой заводи молчащей
Раскрываются кувшинок
Беломраморные чаши.
И на заводи забытой
Наяву творится чудо –
Солнце плавится и каплет
В эту славную посуду...

Даже налимы, потрогав «чаши» носами, плывут обратно «с золочеными усами». После этого веришь и в реальность сказочной золотой рыбки, которая «одна на страже ходит», когда «засыпают рыбы стаи». Мир природы светел, солнечен, полон жизни и движения. От него исходит на Аленку радость, отсюда – оптимизм, жизнеутверждение.

Но есть и еще один источник стойкости и нравственного здоровья Аленушки – это ее взрослое окружение. (Помните: «Аленка, видать, не в тетку, не в мать?..»). И если содержание второй и третьей частей исчерпывается моментами жизни девочки, то первая гораздо богаче, многомернее. В ней вырисовывается образ русской женщины, крестьянки и солдатки, в ней своеобразно представлен и быт русской деревни в его эстетической значимости.

У матери учится девочка душевной чуткости. Тетка Акулина – пример самоотверженности в труде: «Она и в день воскресный не сядет отдохнуть, а только тянет песню...».

А ягодиночку убили,
Не поставили креста!
Его общая могила
Человек четыреста.

А я на Содонгу-реку
Ходила умывалася,
Кабы не Содонга-река,
Куда-нибудь девалася!

А неужели это будет.
Неужели я дождусь:
Хлеба досыта наемся,
Чаю с сахаром напьюсь?..

Я не берусь утверждать, с голоса ли записала Ольга Фокина эти частушки или сама сочинила, только они даже в своих «стилистических

погрешностях» народны, причем хорошо уживаются в общем контексте со стихами самой Фокиной.

Главное, разумеется, не в этом, а в способности с помощью прямого использования частушки открыть сложность жизни и характера. Горьки, грустны песни тетки Акулины. Но «грусть русской души, писал В. Г. Белинский, – имеет особенный характер: русский человек не расплывается в грусти, не падает под ее томительным бременем, не упивается ее муками с полным сосредоточением всех духовных сил своих. Грусть у него не мешает ни иронии, ни сарказму, ни веселию, ни разгулу молодечества: это грусть души крепкой, мощной, несокрушимой». Конечно, какой уж тут «разгул молодечества» (хотя и за мужика на пашне «ломить» приходится), но в поэме Ольги Фокиной ясно видятся источники душевной силы русской женщины, которая выдерживает огромную ношу горя и страданий.

Поэма, безусловно, самобытна – нет у нас в поэзии ничего подобного, однако первая часть так и осталась самой важной, другие же, менее значительные, с ней даже связаны очень слабо, и все-таки можно, видимо, ожидать со временем интересной вещи.

Написанная на современном материале поэма «Сыпь, снежок», напротив, отличается цельностью и законченностью. Фабула поэмы – посещение еще недавно знаменитой доярки корреспондентами и ее рассказ о своей жизни, о судьбе.

Поэма проста по композиции. Утро доярки, визит корреспондентов – первая, повествовательная часть и вторая – рассказ Евдокии о себе. Образа поэта как такового нет в поэме, нет даже привычных лирических отступлений от автора. И все-таки «Сыпь, снежок» – поэма по преимуществу лирическая, и своеобразное место заняла в ней частушка. В бытовании своем она, как правило, содержит намек, а не обязательное прямое раскрытие темы, поскольку рождается в узком кругу и понятна без расшифровки. Эти свойства частушки, сохраняя присущие ей параллелизм, повторы, структуру в целом и использует Ольга Фокина. Частушка, всего четыре строчки, брошенные на открытие поэмы как бы произвольно, вне прямой связи с последующим текстом, стала своеобразным прологом, лирическим ключом к раскрытию темы:

Сыпь, снежок, растаивай,
Ох, да падай снова!
Я была Пылаева,
А теперь – Смирнова...

«Сыпь – растаивай – падай снова»... – образ уходящего времени, более того – желание поторопить его, опостылевшее. Такое желание возникает не от радости. А две последние строчки, безжизненно спокойные, не однажды повторяются, как бы концентрируя общее настроение героини.

Так что же, одну фамилию, девичью, сменила на другую, мужнюю,

и сожалеет – история о неудачном замужестве? Да, похоже, но не то. Поэма – о том, как человек обретает крылья, а потом утрачивает их. Такое – всегда драматично.

Была она обычной крестьянской девушкой, работающей и веселой. Немного требовалось ей для счастья. Окрыляло внимание близких, помогало в работе («и на ферму побегу, дак опять вприсядку!»). И это осознавалось как большое полное личное счастье. Милого взяли в армию, но любовь к нему придавала силы: «хорошо пойдут дела – ужогу ему-то». И вот сразу два рекорда – по молоку, по спорту. Только этим девушка не угодила милому. Наоборот. Ей кажется, что воротился он «другой», не тот, не прежний. Он теперь иначе представляет отношения и не обычной девчонкой видит ее. Отсюда и его решение порвать («у тебя теперь пойдут совещанья, съезды, нынче – там, а завтра – тут – не согреешь места! Через это – ужогу...»).

Конечно, просто судить его за то, что решил подавить живое чувство, ушел. Но Дуня выбирала, чтоб был «живой да боевой». А такой не будет ломать свой характер, не сможет быть «прилагательным» при жене-знаменитости. Что ж судить! Человек просто избавил и себя и любимую от более пошлой драмы, сумев вовремя разрубить жесткий узел.

И Евдокия умеет быть стойкой в беде, но драма оказалась слишком тяжелой, непосильной. Было потом и широкое общественное признание, Звезда Героя, было даже – «с Катериной Фурцевой русского плясала». Вернулась, казалось бы, былая удаля. Появился потом и муж (Смирнов Ваня), о котором Евдокия может сказать только хорошее, доброе, которого она уважает, ценит. Но все это не дало, не вернуло былого сознания счастья, нет ощущения радостного полета:

Только я – как инвалид,
Ноет что-то где-то.
И расти уж не расту,
Юность памятуя,
И на новую Звезду –
Нет, не претендую.

Крылья надломились, надломилась душа. И страшно потерять, «юность памятуя», то маленькое, неполное счастьеце, которое есть, это сдерживает, это остановило на высшей точке полета и, значит, сбросило вниз. Вряд ли сама Евдокия понимает причину своего горя. Ольга Фокина сочувствует ей, пытается понять истоки драмы и, как может, открывает их, осмысливая конфликт личного и общественного начал в жизни женщины-колхозницы, каких немало у нас сегодня в каждой деревне (и многие знают ту же самую драму).

Перевоплотившись в свою героиню, Ольга Фокина смогла ее личные чувства и переживания передать как свои собственные, не утрачивая

ничего в их противоречивости. И, думается, поэтому поэма остается лирической, несмотря на то что героем ее является не сама поэтесса (как должно в лирике).

Оценка происходящего – в образной ткани поэмы. В том, как жизненно убедительно ведется рассказ, насколько герои верны своим характерам и как сами они понимают ситуацию. В том, наконец, как используются частушечные образы, играющие особо важную роль.

Дважды звучит в устах героини одна и та же частушка с небольшими изменениями. В них-то и суть.

В начале поэмы Евдокия – обычная крестьянская девушка:

Дроби-дроби выдроблю,
На кругу смела я!
Дролю-дролю выберу –
Какого желаю!
Сапожок разношенный
Так стучит, что с платья
Сыплются горошины –
Есть кому собрать их...

Потом – Герой Труда, человек, уже переживший драму:

Туфельки неношены!
Новехонько платье!
Сыплются горошины –
Некому собрать их...

Горошины, что «сыплются с платья» в задорной пляске в первом случае – символ полноты счастья, во втором, – надрыва, затаенного горя. Внешний, казалось бы, озорной частушечный образ становится обобщающим, психологически наполненным. В контексте поэмы он глубоко и естественно, с высокой эмоциональной напряженностью обнажает суть конфликта и художественно сцепляет все произведение.

Обращаясь к народной жизни, Фокина осталась лириком по преимуществу. Это не повело, однако, к субъективизму и произволу по отношению к изображаемой действительности. Напротив, способствовало усилению эмоциональной напряженности поэм, более острому выявлению существенного в жизни.

«Жизнь всякого народа, – писал В. Г. Белинский, – проявляется в своих, ей одной свойственных формах, следовательно, если изображение жизни верно, то и народно». Это – одна из первоначальных предпосылок народности, но уже потому, что Ольга Фокина рисует жизнь своих героев в точных бытовых приметах, можно говорить о ее народности. Но главное, разумеется, в способности проникнуть в характер и заботы героя, пережить их как свои собственные, в умении убедить каждого в их особой важности.

IV

Дарование Ольги Фокиной – незаурядно. Дело не только в том, что талант ее многокрасочен, богат интонационно, а в том, что это талант не версификатора, но поэта, кровно связанного со своим народом. Две прочные нити скрепляют эту связь – о них речь шла выше, – верная память об отчем доме и родных местах и народнопоэтическая традиция. Роль их не одинакова и может меняться с развитием творчества Ольги Фокиной.

Надо иметь в виду, что, как и многим уроженцам деревни, судьба повелела ей стать городским жителем. Своеобразный драматизм положения определил направленность творчества поэтессы: привязанность к родному северному краю, ставшую для нее животворной; надежность, стойкость характера, воспитавшегося, так сказать, в естественных условиях северорусской природы и нелегкого, но доброго крестьянского труда; сложность судьбы и психологического склада лирического героя стихов – человека, кровно связанного с деревней, но, в силу многих причин, главная из которых есть время, – полуоторванного от «малой» родины. Правда, есть и плюсы такого положения – «посередине», между двумя полосами («Есть у меня два полюса...»):

Лишь с высоты да издали
Солнышка взгляд не пристальный,
Только на расстоянии –
Северное сияние.

Позиция эта не выдуманная – она стала мироощущением поэтессы, что заметно сказывалось в первых книгах и теперь заявляет о себе все отчетливее. Примечательно одно из ранних стихотворений – «Моя муза», написанное вскоре после расставания с родным домом, уже в Москве. Мечта уносит поэтессу обратно, туда, где «над лугами звенит сенокос, тихой песней звенит по дорогам», потому что перемена в образе жизни дается очень не просто. Ее муза, которая «на милых лесных просторах была весела и смела», в Москве пропала. Стихи убедительно передают состояние душевной и творческой растерянности:

Я блуждала в Москве с тоскою,
Я пыталась себя найти.
Там, меж чистыми родниками,
Было просто себя находить,
Но холодный асфальт и камень
Не умеют следы хранить.
Свежий снег, закрывая камни,
Мне пытался в беде помочь,
Но его вопреки желаньям
Увозили с рассветом прочь...

Муза, конечно, вернулась. Но интересна откровенно выраженная здесь верность теме деревни, чувство близости к природе, осознание себя поэтом не городским по характеру своих привязанностей. Снег – единственный помощник, посредник, напоминающий о деревне, и тот увозится, – образ, надо признать, очень выразительный. Муза вернулась, так как поэтесса сумела преодолеть свою растерянность, потому что поняла, что нужно и можно жить вдали от «чудо-родины» – для нее, для «чудо-родины».

И все-таки снова и снова рождаются противопоставления:

Скорый поезд – не рыжий рысак,
Дальний город – не луг для ночного...

Или:

Чок-чок-чок, чок-чок-чок, чок-чок-чок!
Не копыта – колеса. Но все же...
И горит в потолке ночничок,
На звезду голубую похожий.

Контраст в каждой детали. И не скажешь, который полюс притягательнее. Казалось бы, не поезд и не город, но ведь, с другой стороны, Фокина знает и прозу жизни, знает, что бывшее не вернешь: «уже никогда-никогда не сойду я на Станции Детства».

Такого характера мироощущение могло бы нести в себе признаки надрыва, если б, живя в городе, Ольга Фокина не чувствовала живого родства к тому миру, которому она обязана своим творчеством. Для нее поэзия Страны Детства, что там осталась, за лесом, и сегодня делает мир близким и милым. И до сих пор – мыслью ли; сердцем – поэтесса Ольга Фокина всегда там, где «самый светлый дом».

Но вот вопрос, смогут ли сохраниться и углубиться эти связи, не займет ли тема раздвоения слишком большого места в поэзии Фокиной? Такая опасность есть, а бесплодно мятущихся подобной раздвоенностью у нас в поэзии и так слишком много. Думается, однако, что эту крайность Ольга Фокина легко сумеет изжить. И добрую роль для нее может и должна сыграть фольклорная традиция. С ней она уже вполне освоилась. Допустим, активное использование народно-поэтических приемов могло бы увлечь в сторону архаизации стиха. Могло бы, но стихи Ольги Фокиной близки нам по мысли, по настроению. Современная поэтическая культура и способность поэтессы выразить народное мироощущение – вот что определяет успех ее лучших стихов, их естественность и самобытность.

Близость поэтического строя стихов О. Фокиной созданиям народной поэзии, разнообразие интонаций, свежая ясность языка определили жизненность характеров, созданных поэтессой, богатство их чувств и переживаний. Пришла к этому она не случайно, поскольку настойчиво искала свой путь в поэзии. И в однообразии мотивов Фокину не упрекнешь. А определенность направления имеет вполне осознан-

ную цель. Она, мне думается, опосредованно открывается в центральном образе частушечного стихотворения «Льдиночка-снежиночка». Наивен поступок девчушки, подсмотренный матерью, но и понятен:

...А я льдинку со снежинкой
В холодильник прятаю, –

однако так не спасешь красоту. Радуюсь за дочку, мать успокаивает:

– Можно льдинку не расплавить,
И снежинку не сломать...

Поможет в этом деле кружевное ремесло...

Не так ли поэзия наших дней должна сохранить хрупкие создания народной поэзии, напитываясь их полнозвучием и душевным богатством?..

* * *

«Дорога не запоминается, пока идешь за кем-то вслед», – пишет Ольга Фокина. И читателям не запоминаются стихи тех поэтов, что идут вслед за кем-то. А Фокина прочно определилась как самобытный мастер, со своим видением мира, со своим почерком. При этом важно, что средства народно-поэтической выразительности, как правило, органично находят свое место в структуре фокинских стихов и способы использования фольклорной поэтики весьма разнообразны. А главное, поэтесса нашла своеобразные приемы, следование которым может привести к новым интересным находкам. Есть, однако, особого рода трудность в том, что народная крестьянская песенность, родившая талант Ольги Фокиной, уходит в былое. И поэтесса не лукавит, когда пишет о том, как трудно пробиться к песенному роднику:

Я мало пировала,
Мне негде песен знать,
Родимая знавала,
Да стала забывать:
Военные години,
Послевоенные
В негашущую льдину
Все сокровенное
Давно оборотили,
И надо лед долбить,
Чтоб песню, сказку или
Пословицу добыть...

Конечно, не просто «как молодую заставить маму петь»; и то верно: «мороженная песня – не ласточка в груди». И как не согласишься горестному признанию поэтессы: без песни «распеться я тоже не могу». Тем значительнее достижения Ольги Фокиной на трудном пути освоения поэтических сокровищ, что оставила ей в наследство чудо-родина.

«Степень родства», 1977





ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Как бесконечна жизнь в своем развитии, так же точно и поэзия в движении не знает ни остановок, ни перерывов. Разумеется, один этап литературного развития отличается от другого, однако это дела не меняет. Судьба одного поколения людей не похожа на жизнь другого, но это не значит, что между ними пропасть непонимания: времена взаимосвязаны. Тем более в нашем противоречивом веке явления самые непохожие, казалось бы, уживаются запросто. Бревенчатые избы и небоскребы из стеклобетона, навозные вилы и ядерный реактор... Такой ряд параллелей из сегодняшней жизни можно продолжать без конца, а ведь посудите: рядом, одновременно будто бы столетия пятнадцатое и двадцатое!..

Конечно же, не каждый человек свыкается с новым. Найти свое место в меняющихся жизненных условиях, приспособиться к ним помогает человеку поэзия.

Литературная Вологда... Началась она в глубине веков и, надо полагать, будущее ее зависит от судеб общества. Прощаясь со вчерашним днем, мы думаем о тех, за кем будущее.

Золотой век изящной словесности на Вологодчине, к тому же обладающий силой боевого оружия, остался в недалеком прошлом. Однако и день бегущий, нынешний, подтверждает, что талантами наша земля не обделена. Только жить им пришлось в других условиях, в «новой реальности»...

1977, 2008

СПИСОК ТРУДОВ В. А. ОБОТУРОВА И ЛИТЕРАТУРЫ О НЕМ

В список включены основные работы В. А. Оботурова и литература о его творчестве. Более подробно сведения о его работах включены в библиографические указатели «Литература о Вологодской области» за 1965 – 1993 гг. (Вологда, 1967 – 1997).

КНИГИ

«... На земле живу»: очерк творчества поэта С. Викулова. – Вологда: Сев.-Зап. книж. изд-во, 1973. – 132, [2] с.

Рец.: Родная почва / Ю.Ратников // Крас. Север. – 1973. – 12 дек.; Обретение зрелости / В.Меженков // Наш современник. – 1978. – № 12. – С.186 – 187.

Степень родства, или О традициях, творящих поэтический облик современности. – М.: Современник, 1977. – 206 с.

Рец.: Родство / В.Елесин // Вологод. комсомолец. – 1978. – 15 февр.; Народные истоки современной поэзии / Ю.Дюжев // Крас. Север. – 1978. – 16 марта; Север. – 1978. – № 9. – С.122-124.

Неповторимое, как чудо: очерк творчества А. Яшина. – Архангельск: Сев.-Зап.кн.изд-во, 1978. – 158 с.: портр.

Рец.: Проба жизнью / Э.Смирнов // Вологод. комсомолец. – 1979. – 6 апр.; Серьезное исследование / И.Кабанова // Крас. Север. – 1979. – 15 апр.; Живые уроки / С.Педенко // Лит. Россия. – 1979. – 26 окт. – С.14; Книга об Александре Яшине / А.Хайлов // Север. – 1980. – № 6. – С.126-128.

Костры на ветру: поэзия С. Орлова. – Архангельск: Сев.Зап. кн.изд-во, 1982. – 270с.

Рец.: Белков В. // Крас. Север. – 1982. – 7 сент.; Единство поэзии и жизни / А.Хайлов // Север. – 1983. – № 8. – С.116-117; Поэты одного поколения / С.Педенко // Вопросы лит. – 1984. – № 2. – С.215-221.

Сергей Викулов: страницы жизни, страницы творчества. – М.: Современник, 1983. – 238с.: портр., 8л. ил. – (Литературные портреты). – Библиогр.в примеч.: с.233-237.

Рец.: Жизнь и слово поэта / И.Полуянов // Крас. Север. – 1984. – 13 июня; Постоянство / С.Захаров // Север. – 1986. – № 10. – С.118-120.

Искреннее слово: страницы жизни и поэтический мир Н. Рубцова. – М: Сов.писатель, 1987. – 254с.: [8]л.ил.: портр.

Рец.: В.Белков // Крас. Север. – 1987. – 10 июля; Горит звезда его полей / М.Котов // Коммунист. – Череповец, 1987. – 14 авг.; Живая душа поэта / Л.Журов // Вологод. комсомолец. – 1987. – 14 окт.; Шестью шесть? / И.Шайтанов // Лит. обозрение. – 1988. – № 11. – С.29-35.

В буднях: Вологда литературная за 25 лет: [Сборник]. – Архангельск: Сев. – Зап. кн. изд-во. Вологод. отд-ние; Вологда, 1988. – 318, [1]с.: [16]л. ил.

Рец.: «По праву руку – бумаги лист...» / Ю.Мацнев // Вологод. комсомолец. – 1988. – 8 июня; Вологда литературная / В.Сергеев // Крас. Север. – 1988. – 28 окт.

Заложники: (по поводу крестьян. трилогии Василия Белова «Час шестый»). – Вологда: Вологодская писательская организация: Полиграфист, 2003. – 51, [2] с. – (Вологда, XXI век).

СТАТЬИ, РЕЦЕНЗИИ

... Ты вся началась с деревень: [о творчестве С.Викулова] // Север. – 1965. – № 2. – С.114-117.

Имена становятся отчеством // Крас. Север. – 1966. – 22 сент.

Две поэмы Ольги Фокиной // Крас. Север. – 1966. – 25 дек.

Над чем смеетесь?: [о спектакле облдрамтеатра] // Вологод. комсомолец. – 1967. – 14 апр.

«Песни у людей разные...» : [о песнях О.Фокиной] // Вологод. комсомолец. – 1967. – 21 июля.

Проба на вечность // Мол. гвардия. – 1967. – № 7. – С. 295-299.

Рец. на кн.: Алиева Ф. Резьба на камне. – М., 1966.

Мельпомена не прощает: (к итогам 118-го сезона Вологод. облдрамтеатра // Вологод. комсомолец. – 1967. – 30 авг.

«Трехгрошовая опера» // Крас. Север. – 1968. – 9 июня.

Сила утверждения // Лит. Россия. – 1968. – 9 авг. – С. 20.
Рец. на кн.: Викулов С. Избранное. – Архангельск, 1967.

Память поколений: [о творчестве А.Романова] // Мол. гвардия. – 1968. – № 8. – С. 305-308.

Встреча с прошлым // Крас. Север. – 1968. – 25 дек. Рец. на кн.: Железняк В.С. Отзвеневшие шаги. – Вологда, 1968.

«Не в семье ли хлебороба...»: (портреты поэтов-вологоджан) // Крас. Север. – 1969. – 3 авг.

«По жестким травмам века...»: [о творчестве В.Коротаева] // Наш современник. – 1970. – № 9. – С.125-127.

Мир, в капле явленный: творческий портрет [Н.Рубцова] // Крас. Север. – 1970. – 14 окт.

Наследство чудо-родины: [о творчестве О.Фокиной] // Север. – 1971. – № 5. – С.103-110.

Глубина пережитого: [о Н.Рубцове] // Крас. Север. – 1971. – 18 дек.

«Дань за радость неземную...» // Крас. Север. – 1972. – 19 янв.
Рец. на кн.: Рубцов Н.М. Зеленые цветы. – М.: Сов. Россия, 1971.

«На целой земле один...»: [природа в творчестве вологод. поэтов] // Крас. Север. – 1972. – 12 мая.

Заметки в пути // Крас. Север. – 1972. – 17 авг. Рец. на кн.: Астафьев В. Затеси: (книга коротких рассказов) // М.: Сов. писатель, 1972.

Становление: [о творчестве В.Устинова] // Мол. гвардия. – 1972. – № 8. – С.278-282.

Поэзия в движении: (литературный обзор, предлагаемый вниманию читателей, подводит некоторые итоги развития поэзии на Вологодчине за последние полтора десятилетия) // Вологод. комсомолец. – 1973. – 17, 24, 31 янв.

С веком наравне: [о творчестве вологод. поэтов] // Аврора. – 1973. – № 1. – С.62-63.

Сквозь годы: [О поэмах А.Романова] // Красный Север. – 1973. – 15, 16 февр.

Над светлой водой: пьеса Василия Белова на сцене народного театра в Череповце // Крас. Север. – 1973. – 12 мая. – (Лит. страница).

От иллюстрации – к исследованию: заметки о прозе А.Петухова // Север. – 1973. – № 6. – С.113-116.

«Как хорошо родиться на земле...»: (заметки о поэзии А.Романова) // Север. – 1973. – № 11. – С.115-121.

Талант и почва: [творчество поэтов-северян] // Север. – 1974. – № 7. – С.110-117.

Путь к себе: [о С.Викулове] // Вологод. комсомолец. – 1974. – 22 дек.-(Вологжане – лауреаты России).

Горожане: [о творчестве В.Алексеева и В.Шугаева] // Молодые о молодых. – М., 1974. – С. 55-80.

«Дань за радость неземную...»: [предисловие] // Рубцов Н.М. Избранная лирика. – Вологда, 1974. – С.148-156.

То же. – 2-е изд., испр. – Архангельск, 1977. – С.148-156.

Отблеск вечного: поэт и время в лирике Н.Рубцова // Вологод. комсомолец. – 1976. – 28 марта; 2 апр.

Истина и душа: [традиции русской классики в лирике Н.Рубцова] // Вологод. комсомолец. – 1976. – 30 мая.

Набирая силы: [обзор альманаха «Поэзия»] // Лит. обозрение. – 1976. – № 5. – С.17-20.

Цельность бытия: (человек в лирике Н.Рубцова) // Вологод. комсомолец. – 1976. – 25 июня.

Среди людей: (нравственный облик современника в поздней лирике А.Яшина) // Север. – 1976. – № 7. – С.115-123.

Новый день: (о поэзии Ольги Фокиной) // Вологод. комсомолец. – 1976. – 26 дек.

«Храни родные родники»: [о творчестве О.Фокиной] // Лит. газ. – 1978. – 19 апр. – С. 6.

У Белого озера: литературные чтения памяти С.С.Орлова // Лит.Россия. – 1978. – 25 авг. – С.4.

Пульс дня: проблемы Нечерноземья в прозе и публицистике журн. «Север» // Наш современник. – 1978. – № 12. – С.156-162.

Мир, открытый для всех // Рубцов Н. Стихотворения. – М., 1978. – С.5-12.

[Предисловие: к публ. «Октябрьские ветры»] // Сов. Россия. – 1979. – 18 февр.

Земные хлопоты: обзор публицистики журн. // Лит. обозрение. – 1979. – № 11. – С.17-21.

И придет пора...: Молодая проза Череповца // Север. – 1980. – № 5. – С.113-119.

«Бог и леса не уравнил...»: [о поэзии Севера] // Север. – 1980. – № 7. – С.119-128.

В суровом и теплом мире: Шундику – 60 лет // Октябрь. – 1980. – № 7. – С.217-218.

По правде и совести // Лит. Россия. – 1980. – 15 авг. – С.20. Рец. на кн.: Рогощенков И. Воля творить жизнь. – Петрозаводск, 1979.

Пути и перепутья: (ранние страницы жизни поэта [Н.Рубцова]) // Вологод. комсомолец. – 1981. – 4 янв.

Путиами века: (заметки о творчестве В.Белова) // Крас. Север. – 1981. – 7 нояб.

Слово есть дело: к 60-летию С.Викулова // Север. – 1982. – № 5. – С.109-115.

Предисловие // Воспоминания о Рубцове: / [составители В.А.Оботуров, А.А.Грязев]. – Архангельск, 1983. – С.17-20.

[Послесловие] // Рубцов Н. Посвящение другу. – Л., 1984. – С.244 – 249.

«Не могу я без Севера...» // Кванин О.С. Годы: стихи разных лет. – Архангельск; Вологда, 1984. – С.5-12.

Пусть станет деятельным слово...: заметки критика // Вологод. комсомолец. – 1985. – 29 мая

Александр Тарасов и его проза; Комментарии // Тарасов А.И. Будни: повести и рассказы. – М., 1985. – С.3-16, 424-431.

Огонь из слова; Комментарии // Рубцов Н. Стихотворения. – Архангельск, 1985. – С.5-16,178-188.

«Труды земные тяжки...»: (по страницам книги стихов О.Фокиной «Матица») // Крас. Север. – 1987. – 20 сент.

Память неизбывна: [штрихи к портрету Д.Балашова] // Лит. Россия. – 1987. – 13 нояб. – С.11.

Земля отцов и дедов // Вологодские зори. – М., 1987. – С.355-361.

То же // Вологодский собор: лит.-худож. альм. писателей-воложан. – Вологда, 1995. – С.185-192.

С точки зрения здравого смысла: проблемы публицистики на страницах журнала «Наш современник» // Лит. обозрение. – 1988. – № 7. – С.18-24.

От составителя // Земляки помнят: Александр Яшин в воспоминаниях северян. – Архангельск, 1988. – С.17-18.

Еще и еще о тридцатых... // Лит. газ. – 1989. – 17 мая. – С.4. Рец. на кн.: Волков О. Горстка праха: из кн. воспоминаний «Погружение во тьму» // Юность. – 1989. – № 3.

В контексте времени: [поэту А.Романову – 60 лет] // Крас. Север. – 1990. – 17 июня.

Позицию не меняем: [Беседа с отв. секретарем Вологод. отделения Союза писателей РСФСР] / Записал В.Елесин // Крас. Север. – 1990. – 13 дек.

Против течения: [к 30-летию областной писательской организации] // Крас. Север. – 1991. – 22 авг.

К читателю – от редактора // Драчев А.Сон: повесть и рассказы. – Вологда, 1993. – С.5-6.

Драма несказанного слова : О судьбе рукописного наследия Вл.Железняк-Белецкого // Русский огонек. –1994. – 5 янв.

И все же зреет песня...: (артистка Берта Чумичева на вологод. сцене – 25 лет) // Красный Север. –1995. – 4 июля.

Во имя доброй памяти: (книгу [«Сильнее судьбы»] представляет составитель) // Русский огонек. –1995. – 29 сент. –5 окт.

Предисловие: составитель о замысле и значении этой необычной книги // Сильнее судьбы: Владимир Степанович Железняк-Белецкий. – Вологда, 1995. – С. 5-8.

Слушая время... невластное над мужеством, совестью и подвижническим творчеством // Там же. – С. 128-151.

Драма несказанного слова: от составителя – о судьбе рукописного наследия Вл. Железняк-Белецкого // Там же. – С.263-268.

Возвращение к себе: [Предисловие] // Свистунов М. Под северным грозным сияньем: стихотворения. – Вологда, 1999. – С. 5-6.

Служение: К 70-летию Феликса Кузнецова // Крас. Север. – 2001. – 24 февр. – С. 3.

Пули на излете // Цветков А. Взросление: стихотворения. – Вологда, 2001. – С. 4-6.

Слово – годы – книги: [Предисловие] // Железняк В. С. Любовь моя, Вологда: повести, новелла, этюды / Вл. Белецкий-Железняк. – Вологда, 2003. – С. 3-6. – (Вологда, XXI век. Память сердца).

Слово – годы – книги : сто лет Владимиру Белецкому-Железняку // Красный Север. – 2004. – 14 янв. – С.7.

Начинается строгая жизнь...: о повестях Анатолия Петухова // Петухов А.В. Избранное: повести для детей и юношества. – Вологда, 2005. – С.5-8.

По огненному знаку: Фронтовая эпопея Сергея Орлова // Вологодский ЛАД. – 2008. – № 2. – 104-116.

Солнце в зените: [о творчестве поэта А.Романова] // Русский Север. Пятница. – 2008. – 21 мая. – С.16.

Нравственные искания современника: [о поэзии А.Яшина] // Красный Север. – 2008. – 5 июня. – С.23.

О ТВОРЧЕСТВЕ В. А. ОБОТУРОВА

[Б.п.]. Творчество В.Оботурова в журнальной критике // Вологод. комсомолец. – 1988. – 25 мая

Сергеев В. Фантазия о критике / В.Сергеев // Вологод. комсомолец. – 1988. – 29 мая.

Романов А. Взыскательное служение литературе: Василию Оботурову – 50 лет / А.Романов // Крас. Север. – 1988. – 2 июня.

Шириков В. Неюбилейные раздумья: Василию Оботурову – 50 лет / В.Шириков // Крас. Север. – 1988. – 2 июня.

Елесин В. В мире искренних слов : Василию Оботурову – 60 лет / В.Елесин // Красный Север. – 1998. – 2 июня

Оботуров Василий Александрович // Вологодская литературная школа: крат. биобиблиогр. спр. / Составитель В.Н.Бараков. – Вологда, 2003. – С.10.

Чупринин С. И. Новая литература: мир литературы : энциклопед. слов.-справ.: В 2 т. / Сергей Чупринин. – М., 2003. – Т. 2. – С.153.

Огрызко В. Оботуров Василий Александрович // Огрызко В.В. Русские писатели. Современная эпоха, Лексикон: эскиз будущей энциклопедии / Вячеслав Огрызко. – М., 2004. – С.355.

Оботуров Василий Александрович // Рожденные Вологодчиной: Энцикл. словарь биографий / Составитель М.В.Суров. – Вологда, 2005. – С.464: портр.

Оботуров Василий Александрович / В.Н.Бараков // Вологодская энциклопедия / Гл. ред. Г.В.Судаков. – Вологда, 2006. – С.355.

Оботуров Василий Александрович / [Ред. ст.] // Вологодский ЛАД. – 2008. – № 2. – С.117: портр.

Памяти Василия Оботурова: 2 июня исполнилось 70 лет со дня рождения известного вологодского писателя, литературного критика Василия Оботурова / Вологод. писатели; ред. газ. // Крас. Север. – 2008. – 5 июня. – С.23. – (Люди и время).

Составитель Э. А. Волкова

СОДЕРЖАНИЕ

СКАЗАННОЕ СЛОВО

Вместо предисловия

Автобиография..... 5

Пролог 8

РОДИВШИЕСЬ ЗАНОВО...

Лирическая трилогия Александра Яшина 9

Становление..... 12

Поэт и время в лирическом измерении 19

Нравственные искания современника..... 50

ПО ОГНЕННОМУ ЗНАКУ

Фронтная лирика Сергея Орлова 77

ЧЕЛОВЕКУ – НА ЗЕМЛЕ

Сельские поэмы Сергея Викулова 129

НА САМОЙ ГРАНИ

Крестьянская сага Александра Романова..... 173

СОЧЕТАЯ ПРЕКРАСНОЕ И ВЕЧНОЕ

Поэт, история и современность.

О лирике Николая Рубцова 197

НАСЛЕДСТВО ЧУДО-РОДИНЫ

Фольклорные традиции в поэзии

Ольги Фокиной..... 219

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Послесловие 239

СПИСОК ТРУДОВ В. А. ОБОТУРОВА

И ЛИТЕРАТУРЫ О НЕМ 240

Г. Н. Оботурова благодарит
за помощь в издании книги
Губернатора Вологодской области В. Е. Позгалева
и Департамент культуры и охраны объектов
культурного наследия Вологодской области

Василий Александрович Оботуров
СКВОЗЬ МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ

Поэзия Вологодского края
второй половины XX века в ее вершинах

Составитель **Г. Н. Оботурова**
Редактор **А. А. Цыганов**
Художник **Э. В. Фролов**
Корректор **Н. В. Жукова**
Дизайнер **О. В. Малютина**
Ответственный за выпуск **Т. Ю. Прилежаева**

Формат 60х90/16. Печать офсетная. 15,5 п.л.
Подписано в печать 03.12.2010. Тираж 1000 экз.
Заказ 2218.

Издатель ИНП «ФЕСТ».
160009, г. Вологда, ул. Мальцева, 52.

Отпечатано: ООО ПФ «Полиграф-Книга».
160001, Вологда, ул. Челюскинцев, 3.

Фотографии

из семейного архива В. А. и Г. Н. Оботуровых



Церковь в д. Говорово (ныне ул. Новгородская г. Вологды), в которой был крещен в 1938 году В. А. Оботуров



Родители В. А. Оботурова:
Нина Степановна Оботурова
и Александр Александрович
Оботуров



Школьные годы (1945 – 1955),
школа № 9 СЖД, г. Вологда



Студенческие годы (1955 – 1960), Вологодский государственный
педагогический институт, историко-филологический факультет



В. А. Оботуров, г. Никольск. 1961 год



Г. Н. Оботурова (Кузнецова), В. А. Оботуров, В. В. Коротаев,
г. Никольск, 1962 год



В. А. Оботуров, Л. Н. Фролов, г. Никольск, 1963 год



В. А. Оботуров,
Г. Н. Оботурова,
г. Никольск, 1963 год.
Первые
совместные шаги



В. А. Оботуров, Г. Н. Оботурова, д. Дулово, 1982 год



В. А. Оботуров с сыном Алексеем. 1965 год



В. А. Оботуров
с дочерью Ольгой,
1974 год



Н. Кузин, Д. М. Балашов, В. А. Оботуров



В. Оботуров, А. Грязев, В. Кожин, В. Белов. 1981 год



Вечер, посвященный двадцатилетию Вологодской писательской организации (август 1988 года), открывает В. А. Оботуров. В числе членов президиума – В. А. Жуков, В. В. Коротаев, Н. И. Тряпкин, М. А. Дудин



Выездной совет по поэзии Союза писателей РСФСР в Вологде в мае 1984 года (слева направо): В. Оботуров, В. Шарыпов, Б. Чулков, А. Грязев, С. Чухин, В. Коротаев, А. Бобров, Н. Агеев, В. Карпенко, В. Боков



В. А. Оботуров,
В. А. Елесин,
1977 год



В. А. Оботуров



В. Крупин, В. Оботуров, В Шириков



В. Оботуров, Ю. Леднев, С. Багров



В. А. Оботуров



Н. В. Железняк. Портрет В. А. Оботурова. 1982 год



Ю. Воронов. Портрет В. А. Оботурова



Б. Кураго. Портрет В. А. Оботурова

